



ЮНОСТЬ



10

1968



Фрагмент картины Б. Иогансона, В. Соколова, Д. Тегина,
Н. Файдыш-Крандиевской и Н. Чебакова.

Выступление В. И. ЛЕНИНА
на III съезде комсомола



ЮНОСТЬ

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

*Коммунистическая
партия, советский народ
гордятся героической
полувековой историей
Ленинского Комсомола,
славными делами
нашей молодежи...*



год издания
четырнадцатый

10

[161]

ОКТЯБРЬ

1968

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА» МОСКВА

• В НОМЕРЕ • В НОМЕРЕ • В НОМЕРЕ •

Евгений ТЯЖЕЛЬНИКОВ. Комсомольское
пятидесятилетие 2

• ПУБЛИЦИСТИКА

Комсомольский билет № 1830. Артур
Спрогис 60

А. ИВАНОВА, П. ЖУК, И. ДЕМИЧЕВ,
Л. ГУРВИЧ, В. ГАНЧУК. «Наш паровоз,
вперед лети!» (Страницы героиче-
ской истории) 65

Виктор БУХАНОВ. Ave, София! 77

Комсомольский билет № 18373991. Вла-
димир Комаров 87

Теодор ГЛАДКОВ. Вьетнам, 1968 88

Анастас МИКОЯН. Бакинское подполье
при английской оккупации (1919 год)
(Продолжение) 92

• ПОЭЗИЯ

Борислав СТЕПАНЮК. Ульяна и Демон.
Поэма. Перевод с украинского
Л. Смирнова 9

Бахтияр ВАГАБЗАДЕ. «Откликнись, стро-
на, словно эхо...». Ответ. Карусель.
Перевод с азербайджанского
В. Лугового и А. Ахундовой 11

Фикрет САДЫК. «Вдыхаю солнце, воздух
пылю...». Тропа. Самолет. Перевод с
азербайджанского И. Тимо-
шенкова 12

Борис СЛУЦКИЙ. «Россия увеличивала
нас...». «Брали на обед по три вто-
рых...». Родной язык. Светлые окна.
Погоня. Дом. Величие души. «Поэты
подбирают, как ходюна...». «Скамейка

на десятом этаже...». «Ответственные
повествования...» 56

Роман СОЛНЦЕВ. Барьер Урала. «Грозы
отошли за Мекки и за Ниццы...».
«Ждал унижения, что ли...». «В лесу—
чудес, как синих клякс вокруг стола...» 58

Виктор БОКОВ. У моря и у гор: Абхазия.
Не просто мне. В ущелье. Терек 59

• ПРОЗА

Владимир ОРЛОВ. После дождика в чет-
верг. Роман 13

Тамаз ЧИЛАДЗЕ. Жатва. Рассказ. Пе-
ревод с грузинского А. Бе-
ставашвили 62

• ПОГОВОРИМ О ПРОЧИТАННОМ

Вяч. ИВАЩЕНКО. И передай товарищу! 82

Григорий МЕДЫНСКИЙ. Честность и му-
жество 84

• СПОРТ

Олег СПАССКИЙ. Комсорт сборной 104

• ПЫЛЕСОС

Тысяча и одна Галка Галкина 108

В. СТРОНГИН. Футбол и степень 110

А. ТРУШКИН. Пишите нам, пишите по
разным адресам! 111

На 1-й странице обложки — фрагмент линогравюры Г. КРОЛЛИСА,
на 4-й странице — линогравюра В. ТЕРЕЩЕНКО.

Дорогие читатели!

С 1 сентября открыта подписка на журнал «Юность».
Подписка принимается без ограничений всеми отделениями «Союзпечати»,
конторами и отделениями связи, общественными распространителями печати и орга-
низаторами подписки на предприятиях, в учреждениях, воинских частях и учебных
заведениях.

О всех случаях отказа в приеме подписки сообщайте в редакцию.

Художественный редактор Ю. Цишевский.

Технический редактор Л. Зябкина.

Адрес редакции: Москва, Г-69, ул. Воровского, 52.

Тел. 255-17-83.

Рукописи не возвращаются.

А 09588. Подп. к печати 30/IX 1968 г.

Формат бумаги 84×108^{1/16}.

Объем 12,18 усл. печ. л.

17,62 учетно-изд. л.

Тираж 2 000 000 экз.

Изд. № 1833.

Заказ № 2221.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина.

Москва, А-47, ул. «Правды», 24.



КОМСОМОЛЬСКОЕ ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕ

— Пятидесятилетие ВЛКСМ — событие большой общественной и политической важности. Это и яркий этап истории Ленинского комсомола, и значительная дата в жизни нашей Родины, воспитавшей героическую и верную коммунистическим идеалам молодежь, и знаменательная веха в истории международного молодежного движения.

Не могли бы Вы рассказать, как встречает Ленинский комсомол свой юбилей!

— В сердцах всех поколений советских людей — и тех, кто прошел школу подполья и Октябрьской революции, и тех, кто сформировался в борьбе за сохранение и упрочение завоеваний первой в мире республики Советов, и тех, кто, как эстафету, принял героические традиции советского народа и несет их в будущее, — пятидесятилетие комсомола вызывает волнующее и гордое чувство.

Сто миллионов советских людей прошли в комсомоле первую школу коммунистической закалки. Среди них многие, чьи имена стали символом нашей юности, ее беззаветной преданности Революции. Люрик Люсинова, павшая на баррикадах Остоженки от пули жандармов. Николай Островский, чья судьба и жизненный подвиг стали легендарными. Паша Ангелина, первая девушка, севшая на трактор. Александр Матросов, закрывший грудью амбразуру фашистского дзота. Борис Гайнуллин — Корчагин нашего времени, строитель Братской ГЭС...

Комсомол 60-х годов — плоть от плоти революционеров-ленинцев, — идя к своему юбилею, несет в сердцах ту же преданность родной Коммунистической партии, то же замечательное чувство патриотизма, что вели в бои гражданской войны наших дедов, поднимали наших отцов с гранатами в руках навстречу фашистским танкам, заставляли старших братьев покидать городские квартиры и ехать в дальние края Сибири, в целинную степь.

Комсомол встречает свой юбилей успехами в формировании у молодежи идейной убежденности, классовой непримиримости, готовности с честью выполнить свой патриотический и интернациональный

долг. Приобщение молодежи к сокровищнице ленинской мысли, ленинской принципиальности, ленинской диалектике мышления, ленинским чертам характера — традиция комсомола, которая сегодня получает новое развитие.

Советская молодежь встречает свой праздник ударным трудом миллионов на новостройках и колхозных полях, на заводах и фабриках, в научных лабораториях и учебных аудиториях — всюду, где проходит передовая линия борьбы за коммунизм.

В эти дни, подводя итог достигнутому, мысли и взоры комсомола обращены к партии коммунистов. Наша молодежь благодарна партии за ее большую заботу о подрастающем поколении. Наша партия верит в молодежь, в ее революционные силы, а юношество, со своей стороны, стремится оправдать это доверие самоотверженным трудом на благо Родины.

Творческий труд рождает все новые и новые начинания. У ленинградцев организовано соревнование за отличное качество выпускаемой продукции. Комсомолцы Новомосковского химического комбината, Тульской области, решили к 7 ноября 1970 года закончить выполнение пятилетнего плана. Строители и монтажники Красноярской ГЭС обязались к 50-летию ВЛКСМ поставить под нагрузку четвертый агрегат. На Конаковской ГРЭС даст ток шестой комсомольский энергоблок. И так на каждом предприятии, в каждой области и республике.

Нет смысла сегодня перечислять патриотические почины, с которыми выступает молодежь, и трудовые победы в честь 50-летия ВЛКСМ. Об этом много говорится во всей нашей печати. Хотелось бы подчеркнуть главный итог, с которым идет ВЛКСМ к своему пятидесятилетию, — это воспитанные партией и комсомолом замечательные советские юноши и девушки, истинные патриоты нашей великой Родины.

Вспоминаю советскую делегацию на IX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Софии. Молодые рабочие и студенты, колхозники и ученые, инженеры и комсомольские работники, представители столичных городов и самых отдаленных окраин страны, — это был монолитный по своей идейной

Интервью
первого секретаря
ЦК ВЛКСМ

**Евгения
Тяжельникова**
журналу «Юность».



убежденности, трудовому энтузиазму, верности делу отцов отряд советской молодежи.

Я могу с радостью и гордостью сказать: это прекрасные, удивительные ребята! Колхозница Люба Молдаван с Украины и Олег Табаков, известный артист театра и кино из Москвы, Феликс Ходаковский, Герой Социалистического Труда, главный инженер строительно-монтажного поезда с Усть-Илима, и ленинградец Олег Матюхин, кораблестроитель, монтажник Балтийского завода. Всех не перечислить, а сказать надо бы о каждом...

Ведь у каждого из них своя яркая и в то же время типичная биография. Люба Молдаван... Семнадцать лет, в 1959 году, она возглавила комсомольское кукурузоводческое звено. Все девчата вместе учились в средней школе, вместе работали в ученических бригадах, а потом, получив аттестаты зрелости, остались в колхозе. Упорно трудились, изучали лучший, передовой опыт. И в итоге уже на третий год добились высокого урожая — почти 70 центнеров пшеницы с гектара. Девчата стремятся распространить свой опыт. Свыше семидесяти выпускников местной школы прошли в звене своеобразный университет рекордных урожаев.

Люба Молдаван закончила агрономический факультет сельхозинститута в Каменец-Подольском. Теперь эта энергичная, симпатичная девушка — главный агроном колхоза «Красный партизан». Дел много, а Люба еще и комсомольский активист. Она секретарь комсомольской организации колхоза, член Центрального Комитета ВЛКСМ. За отличный труд, за большую общественную работу она награждена орденом Ленина.

Очень понравился мне спокойный, уверенный в себе и в своих товарищах Феликс Ходаковский. Рабочая, трудовая закуска в нем так крепка, что и на фестивале он никак не мог отвлечься от любимого дела. Находясь в Софии, он давал указания, советы своим товарищам по стройке, волновался, все ли у них в порядке. Строительно-монтажный поезд № 266, в котором Феликс прошел путь от мастера до главного инженера, сейчас на ответственной

участке будущей дороги — Хребтовая — Усть-Илимская, ударной комсомольской стройки.

Несмотря на молодость, у многих из делегатов советской молодежи за плечами большой жизненный опыт. Студент Николай Колесник прошел и такую школу, как война. В составе группы советских военных специалистов он помогал учиться нашим вьетнамским братьям. Николай видел, как американские бомбы разрушают школы и дома мирных жителей, видел, как напалм сжигает джунгли. И он учил вьетнамских друзей поражать любые цели с первого выстрела.

Верность идеалам коммунизма для советской молодежи не слова, а сама жизнь. Запомнилась фраза, которую сказала Люба Молдаван в споре со своими зарубежными оппонентами о будущем. В этой фразе, на мой взгляд, четко проявился характер девушки, ее жизненное кредо:

— Мы верим в наше завтра, потому что знаем его во многом уже сегодня. Наше будущее — еще более счастливый труд и еще большее уважение к человеку труда, как к личности.

— Вы рассказали о прекрасных молодых людях. Даже буржуазная пропаганда не может скрыть, что в нашей стране воспитаны миллионы юношей и девушек, преданных идеалам коммунизма. Характерно, однако, что, говоря о советской молодежи, некоторые западные идеологи пытаются противопоставить ей старшие поколения. В чем, на Ваш взгляд, прежде всего проявляется преемственность поколений в нашем обществе?

— Конечно, наши идеологические противники заинтересованы в разногласиях между поколениями советских людей.

Громадный, хорошо технически оснащенный пропагандистский аппарат специально брошен на то, чтобы, не гнушаясь никакой клеветой, извращением фактов, игрой на национальных чувствах и, наконец, прямой военной угрозой, приуменьшить интерес молодежи мира к жизни Советской страны, к нашему юношеству, к Ленинскому комсомолу.

Буржуазные идеологи рассчитывают не только на то, что нынешнее поколение советской молодежи не прошло школы классовой борьбы, что сегодня размежевание сил по обе стороны баррикад не так явственно, как это было в первые годы революции. Они стараются опорочить, принизить такие качества молодежи, как стремление к честности, принципиальности, гуманизму, спекулируя при этом высокими понятиями свободы, демократии, прогресса. Сегодня этим целям подчинены 33 западных «голоса» различных тембров и оттенков, которые пытаются вбить клинья между поколениями советских людей. Пустое занятие: никому и никогда не удастся этого сделать.

За годы Советской власти выросли поколения людей с высокой политической сознательностью, новым отношением к труду, воспитанных в духе коллективизма и товарищества, советского патриотизма и пролетарского интернационализма. Это непреходящая ценность, главное завоевание социализма, этим гордится и дорожит каждый советский человек.

На IX Всемирном фестивале вместе с молодыми посланцами были ветераны. Генерал-полковник Н. М. Хлебников — бывший солдат легендарной Чапаевской дивизии; Л. Т. Космодемьянская, мать двух героев — Зои и Александра; Мелитон Кантария, водрузивший знамя Победы над рейхстагом. Эти люди прошли большую школу жизни, они участвовали в делах страны с первых дней Советской власти. Но

показательно: их слова, мысли, чувства, обращенные к юности мира, были пронизаны теми же идеями, заботами, с которыми приехали на фестиваль советские парни и девушки. Иначе и не могло быть, так как все поколения советского народа едины, у них одна цель. Современной молодежи близок и понятен революционный дух, владевший первыми бойцами за народную власть.

По моему глубокому убеждению, духовный облик советского молодого человека определяется прежде всего сознанием, что он — полноправный наследник и хозяин нового мира, рожденного Октябрьской революцией, продолжатель дела отцов. Поэтому интересы борьбы за построение коммунизма одинаково дороги и тем, кто шел на штурм Зимнего и брал Перекоп, и тем, кто сражался под Сталинградом, и тем, кто сегодня по комсомольской путевке едет на ударные молодежные стройки.

Весной этого года в Ульяновске, на родине Владимира Ильича, стартовала Всесоюзная эстафета учащихся профтехобразования. Перед памятником вождю юноши и девушки — те, кто завтра станет в ряды рабочего класса, — дали торжественную клятву бережно хранить все, что завещал великий Ленин, и своим трудом ускорить построение коммунизма.

А разве не ярким свидетельством единства поколений является Всесоюзный поход по местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа? Этот поход с полным правом можно назвать университетом советского патриотизма. Благодаря ему миллионы молодых людей личным своим участием приобщаются к героическим страницам истории нашей Родины. Этот поход помог узнать имена безымянных героев, создать музеи боевой и трудовой славы, установить памятники, обелиски и мемориальные доски на местах сражений и трудовых подвигов.

Конечно, время идет вперед, страна делает гигантские шаги в развитии экономики, науки, культуры, а следовательно, и развитие людей не может оставаться на одном уровне. Многое изменилось в условиях жизни, быта, в уровне образования молодежи, повысилась роль молодых в строительстве нового мира. Если двадцать лет назад в рядах комсомола было только 62 тысячи специалистов с высшим и средним образованием, то теперь их больше миллиона. Почти половина научных работников в стране — молодежь!

Но здесь, вполне естественно, может возникнуть иной вопрос: не технократы ли эти «деловые люди»? Ведь именно такой взгляд пытаются навязывать сегодня буржуазные пропагандисты.

Опять возвращаюсь к фестивалю. Там был наш молодой экономист-международник Николай Ливенцев. Попробую рассказать о нем языком цифр: в семнадцать лет — золотая медаль за десятилетку, в двадцать два — диплом экономиста с отличием, в двадцать семь — кандидатская диссертация и первая книга, к двадцати восьми — знание пяти языков — наверное, для того, чтобы снимать барьеры перед своей экономической любознательностью. А за этими цифрами и дипломами — превосходный парень, активист, эрудит, прекрасный товарищ, великолепный пропагандист марксизма-ленинизма.

Наука для нашей молодежи — надежный инструмент совершенствования производства, повышения благосостояния народа, роста могущества Родины. Молодежь овладевает экономикой, чтобы еще сильнее и богаче стала наша страна. Вдохновенный труд на заводах и фабриках, на полях и в научных лабораториях, ударные комсомольские стройки и студенческие строительные отряды, походы «бережли-

вых» и штабы «прожектора» — вот сегодняшние «рабфаки», в которых миллионы юношей и девушек учатся коммунизму в общем труде вместе с рабочими и крестьянами, как завещал Ильич.

Сущность сегодняшнего молодого поколения — в его коммунистической убежденности, романтической окрыленности, жизнерадостности и оптимизме, в стремлении как можно больше сделать для социалистического общества, для родной страны. Именно ради этого в единстве со старшими поколениями молодежь вдохновенно трудится, выходит на коммунистические субботники, создает общественные конструкторские бюро, разрабатывает планы НОТ, ведет общественную работу.

— Вы упомянули о романтической окрыленности молодого поколения. Не кажется ли Вам, что в наши дни «комсомольская романтика», как мы о ней привычно говорим, несколько видоизменилась в соответствии с требованиями времени? Иными словами, какое развитие претерпело это чувство, несомненно присущее молодости, за годы развития ВЛКСМ?

— Романтика — это великая сила утверждения нового, постоянное стремление к лучшему, поиск неизведанного, жажда открытий.

Молодые советские люди — романтики по своей природе, как и их отцы, зачинавшие романтику социализма. В основе этого романтического отношения к жизни — чувство, присущее подлинным борцам, — преобразование мира и жизни, в котором понимание предстоящих испытаний сливается воедино с благородным порывом успешно их преодолеть собственным трудом, упорством, знаниями.

Стремление к подвигу — чувство не мимолетное; оно базируется и на революционном оптимизме, и на осознанном убеждении, и на знании законов общественного развития. Такое стремление не просто двигает людьми, умеющими презреть «грошевой уют», но и зовет туда, где быть действительно труднее, но зато важнее для Родины, где человек получает наивысшее удовлетворение, познавая счастье борьбы и самоутверждения.

Хочется привести как пример жизнь, прекрасно начатую Николаем Горбачевым — парнем с калужской станции Думиничи. По комсомольской путевке он, вчерашний десятиклассник, уехал в Сибирь на строительство дороги Абакан — Тайшет. С десятком таких же, как он сам, ребят высаживался «десантами» на новые участки трассы в суровые февральские морозы, в глухой, непроходимой тайге и начинал там жизнь, что называется, с первого колышка. Когда же трасса подходила к обжитому участку, снова уходил вперед, потому что знал: там, на очередном переднем крае, он стоит двух, а то и трех новичков. И вот после завершения строительства дороги Абакан — Тайшет Николай переезжает на новую трассу — дорогу Хребтовая — Усть-Илим. Здесь он уже руководит комплексной бригадой, кавалер ордена Ленина и высшей комсомольской награды — Почетного знака ВЛКСМ. Но, все тот же романтик сердцем, он продолжает свои «десанты».

Таких трасс подлинного мужества более чем достаточно в любой отрасли нашего производства, науки, техники, культуры, в службе быта. Творческим трудом тысяч юношей и девушек на карте Советской страны вырастают новые города и промышленные центры, дороги и нефтепроводы. С годами, как убеждает жизнь, «чувство переднего края» у нашей молодежи отнюдь не ослабевает, а еще более крепнет. Мне

бы хотелось в этой связи привести пример из студенческой жизни — студенческие строительные отряды. За десять лет после первого старта студенческий отряд увеличился в десятки раз — в этом году в нем было 270 тысяч человек! Я назвал студентов, потому что они трудятся во время летних каникул, никто и никогда не принуждает их ехать на целину и на стройки. Конечно, молодыми людьми руководит в этом случае прежде всего глубокая идейная убежденность, стремление своим трудом крепить могущество Родины. Но нельзя забывать и о романтике целины, студенческих строительных отрядов.

Наша романтика по природе и по сути своей активна и действенна. Это романтика дела, созидания. Жажда открытий, порыв к неизведанному входят в нее лишь составной частью, хотя и очень важной.

Кстати, как мне кажется, все сказанное о комсомольской романтике наших дней вполне относится и к романтике прошлых лет. Если и есть какое-то различие, то оно вытекает из самого существа нашей жизни. Сегодня любой молодой человек имеет все возможности для свершения своих планов, для осуществления романтической мечты. Комсомольское поколение шестидесятых множит романтику на глубокие знания, на творческий поиск и научный расчет.

— Вы уже говорили о том, что советская молодежь активно участвует в создании экономической базы коммунизма. Какие новые задачи в этой связи решает Ленинский комсомол?

— Как вы знаете, еще 50 лет назад, намечая программу действий Российского Коммунистического Союза Молодежи, I съезд комсомола выдвинул главной задачей активное участие молодежи в революционном строительстве Советской России.

Комсомол и ударное строительство можно по праву назвать ровесниками. В 1918 году на берега Волхова пришли посланцы ячеек РКСМ, чтобы заложить фундамент первенца ГОЭЛРО — Волховской ГЭС. Потом были Сталинградский тракторный, Турксиб, Московское метро, Кузнецкстрой. Комсомол был инициатором социалистического соревнования и ударничества. Он объявил массовый призыв молодежи на стройки пятилетки: уже в 1929 году по путевкам комсомола пришли на стройки 350 тысяч добровольцев. Спустя три года первый комсомольский десант высадился на берегу Амура у села Пермское. С этого начинался Комсомольск.

Прошли годы. Поседали ветераны. Выросли их дети и внуки, не видевшие войны, голода, разрухи. Но их также манят неизведанные края, походная палатка и разметка будущих городов в знойной степи и глухой тайге. Это стремление, говоря языком медиков, по праву можно назвать наследственностью, но наследственностью революционной. Символично, что именно из Комсомольска-на-Амуре через четверть века после его основания вышел в тайгу отряд комсомольцев, чтобы заложить новый город, Амурск, и соорудить гигант дальневосточной индустрии — целлюлозно-картонный комбинат.

За последние годы только в Сибири и на Дальнем Востоке при участии молодежи построены 22 новых города и 140 поселков. Среди них Дивногорск, Братск, Шелехов, Мирный.

Ударное строительство приобретает новые, неизвестные ранее черты, иную масштабность. Комсомол шефствует, например, над освоением нефтяных богатств Тюмени. Этот район по своим размерам превышает площадь многих государств мира.

Но, вполне понятно, одним ударным строительством далеко не исчерпывается участие комсомола в

коммунистическом созидании. Хотелось бы особо подчеркнуть, что комсомол никогда не рассматривал труд как самоцель, а всегда видел в нем важнейшее средство воспитания молодежи в духе коммунизма.

Трудовое воспитание юношей и девушек — процесс сложный. Подготовка к самостоятельному творческому труду начинается в школе. Школа — начальная ступень — должна стать научно обоснованной, глубоко продуманной системой профессиональной ориентации подростков, и многое уже делается в этом плане: детские технические кружки, станции юных техников и конструкторов и многое другое. Над ними шефствует комсомол.

Ежегодно на заводы, фабрики, стройки приходит несколько миллионов выпускников школ и профессионально-технических училищ. И наша важнейшая задача — дальнейшее развитие и совершенствование знаний и навыков, которые ребята получили в школе.

Самой широкой поддержки заслуживает опыт комсомольских организаций, которые внимательно и поделовому относятся к новичкам, помогают им практически, создают, например, университеты технических и экономических знаний для молодежи или школы передового опыта.

Недавно Бюро ЦК ВЛКСМ одобрило начинание ветеранов предприятий Горьковской области, взявших шефство над отстающими молодыми рабочими. Ценность этой инициативы не только в том, что передовики труда учат молодежь эффективно работать. Они передают молодым и свой жизненный опыт и увлеченность профессией, воспитывают в них гордость за результаты собственного труда.

Без глубоких экономических и технических знаний, без овладения высотами профессионального мастерства немалым дальнейшим ростом молодого рабочего, превращение его в подлинного новатора и творца.

А возможности у нас для этого богатейшие. Нынешним летом, к примеру, открылась выставка технического творчества учащихся профтехобразований. Уникальные металлорежущие станки и приборы, действующие модели машин и механизмов, обучающие машины — а ведь конструкторы машин еще только учатся! Можно не сомневаться, что, став у станков, они внесут немалый заряд творческой энергии и увлеченности в цехи заводов и фабрик.

Или вспомните всесоюзный конкурс «Юбилею Октября» — мастерство и поиск молодых». В нем участвовало почти два миллиона человек, а результат их поиска, экспериментов — более миллиона рационализаторских предложений.

Большое внимание уделяет комсомол и технической учебе сельской молодежи. Механизаторский и агрохимический всеобуч, школы передового опыта, шефство опытных механизаторов над молодыми — все это прочно вошло в жизнь.

С недавнего времени у сельской молодежи обретают заслуженную популярность конкурсы профессионального мастерства, где меряются своим умением, знаниями, опытом, навыками люди одной профессии. Широкий размах получил Всесоюзный смотр культуры производства и условий труда на животноводческих фермах, объявленный ЦК ВЛКСМ. В нем участвовало около 30 тысяч комсомольско-молодежных коллективов.

Если попытаться кратко ответить на ваш вопрос, то комсомол видит свою задачу в том, чтобы готовить молодежь к труду, труду активному, сознательному, творческому. А в этом деле, как, впрочем, и в любом другом, требуется система, целый комплекс проверенных жизнью мер. Нам нужно воспитывать у молодежи сознание, что сегодняшняя героика проявля-

ется в организованности, творчестве, в поиске самых рациональных решений. Нужна высокая политическая сознательность каждого, будь то молодой рабочий, инженер или ученый.

— Следующий вопрос: традиции и новаторство в Ленинском комсомоле. Не могли бы Вы коротко рассказать, как сочетается опыт прошлого с новыми, выдвигаемыми жизнью формами и методами комсомольской деятельности!

— От поколения к поколению передаются славные традиции Ленинского комсомола: всегда откликаться на зов Родины, быть там, где трудно, во всем следовать за партией. Могучая сила революционных традиций ярко проявляется в практических делах комсомола. Новаторство — это умение использовать традиции творчески, с учетом конкретных условий и обстановки. Традиции и новаторство в деятельности комсомола находятся в неразрывном единстве.

Марксизм-ленинизм учит всегда исходить из конкретных условий, сложившихся в тот или иной период времени, творчески осмысливать происходящие процессы и явления, постоянно искать новые формы работы и совершенствовать методы руководства. Эти незыблемые положения имеют прямое отношение к комсомолу, его кадрам и активу.

Вы, конечно, знаете — в последние годы хорошо зарекомендовали себя новые, более действенные формы организационной и политической работы: общественные комиссии при комитетах комсомола, советы, штабы по различным аспектам комсомольской работы. Вначале эти комиссии появились лишь в нескольких организациях, таких, как московская, ленинградская, свердловская, и некоторых других. Опыт показал, что это хорошая форма привлечения широких слоев комсомольцев к работе: «пассив» сократился, а актив значительно возрос. Теперь такие комиссии получили самое широкое распространение: их права закреплены Уставом ВЛКСМ.

Еще пример. Несколько лет назад в отдельных комсомольских организациях стало практиковаться проведение отчетов-информаций о деятельности комитетов в период между конференциями и отчетными собраниями. Сейчас это тоже становится нормой жизни. Все шире практикуются социологические исследования. И это не дань моде, а веление времени — они позволяют не только конкретизировать многие выдвигаемые жизнью проблемы, но и находить лучшие пути их решения. Для успешной работы важно, чтобы документы комсомола — постановления, обращения, обязательства и т. д. — разрабатывались с максимальным учетом мнений комсомольцев и чтобы те знали о реализации их предложений. В результате возрастает активность молодежи: на прошедших отчетно-выборных собраниях, конференциях и съездах выступило около 3 миллионов человек.

Критерием новаторства была и остается практика. Если новшество помогает успешнее решать задачи коммунистического воспитания молодежи, то оно заслуживает распространения и поддержки. Комсомолу по самой его природе чужды консерватизм, инертность, штампы.

— В понятие «традиции» входят и исторический опыт Ленинского союза молодежи и живые люди, вожаки комсомола на разных этапах его развития. Как обстоят дела с изданием комсомольской литературы? Готовится ли научная история комсомола?

— В пропаганде среди молодежи героической истории КПСС и Советской Родины, славных традиций нашего народа в революционной борьбе, социалистическом строительстве, защите Отечества важное место занимает широкая популяризация истории ВЛКСМ. Тысячи революционных, боевых и трудовых подвигов, совершенных комсомольцами, стали притягательной силой, своеобразным нравственным компасом для подрастающего поколения. В период становления политической зрелости и формирования характера они играют решающую роль в воспитании патриотических и бойцовских черт молодого поколения.

Советская молодежь, пионеры и школьники проявляют большой интерес к истории ВЛКСМ, к жизни и подвигам героев комсомола. Они изучают боевой путь комсомола в кружках системы политического просвещения «Наш Ленинский комсомол», в историко-революционных клубах, участвуют в походах по местам комсомольской славы, раскрывают неизвестные страницы героической летописи комсомола, встречаются с ветеранами. Учитывая огромный спрос, книги по истории ВЛКСМ и о его героях выпускаются массовыми тиражами, неоднократно переиздаются. Большое внимание этим вопросам уделяет молодежная пресса, радио, телевидение.

Знать историю своего Союза, глубоко понимать закономерности его развития, выработки организационных и идейных принципов деятельности, форм и методов участия в государственном, народнохозяйственном, культурном строительстве, коммунистическом воспитании молодежи — значит привлечь исторический опыт комсомола к решению сегодняшних задач.

Знакомство с историей ВЛКСМ имеет и международный аспект — не только в плане международной и интернациональной деятельности комсомола, что тоже крайне интересно и важно, но и в плане изучения его опыта братскими союзами молодежи, прогрессивными организациями мира.

Все эти обстоятельства и определяют наши задачи по изучению и пропаганде истории ВЛКСМ. Эта работа предполагает не только создание научной истории нашего Союза, отдельных ее героических страниц, осмысление тех или иных теоретических проблем, но и написание ярких публицистических и художественных произведений о комсомоле.

Наше издательство «Молодая гвардия» неоднократно издавало такие важнейшие учебники жизни, как «КПСС о комсомоле и молодежи», «В. И. Ленин о молодежи». Тремя изданиями вышли очерки по истории ВЛКСМ «Ленинский комсомол». В сборниках «Славные традиции», «В кольце фронтов», «Марш ударных бригад», «Огненные годы», «Организация удешевляет силы» опубликованы важнейшие документы и материалы о деятельности ВЛКСМ.

Выпущены фотоиллюстрированные летописи, альбомы. В этом году выйдет третья тетрадь истории комсомола в иллюстрациях. В связи с юбилеем комсомола появятся новое издание очерков «Ленинский комсомол», ряд альманахов, сборников, продолжение известных книг «Звезды первой величины». В скором времени мы увидим первый номер альманаха, в котором будут публиковаться научные работы и материалы по истории комсомола, выйдет в свет и двухтомник важнейших документов комсомола «ВЛКСМ в резолюциях». Очень отраднo, что многие издательства выпускают книги, посвященные истории местных комсомольских организаций, их практической работе.

Опубликованы солидные труды, интересные монографические работы по истории комсомола. Этой

теме посвящено более 300 кандидатских и докторских диссертаций. ЦК ВЛКСМ совместно с Академией наук СССР и Министерством высшего и среднего специального образования провел научную конференцию «Социализм и молодежь». Эта работа продолжается: в связи с 50-летием ВЛКСМ пройдет Всесоюзная юбилейная научная конференция, а также ряд зональных и областных конференций. Следует сказать и о ставших традиционными всесоюзных конкурсах среди студентов на лучшую работу в области общественных наук, истории комсомола и международного молодежного движения. Создана кафедра истории ВЛКСМ и международного молодежного движения в Центральной комсомольской школе. В издательстве «Молодая гвардия» недавно выделена специальная редакция литературы по истории комсомола.

— Раз уж зашла речь о литературе, — каковы, по Вашему мнению, ее заслуги в деле коммунистического воспитания советской молодежи? В чем ее роль пока недостаточна?

— Наши литература и искусство всегда воспитывали подрастающее поколение в духе преданности идеям Революции. Вот, скажем, роман «Молодая гвардия». 143 издания, почти десять миллионов экземпляров, а интерес к героям Краснодона все растет год от года. Достаточно сказать, что сейчас в издательстве «Молодая гвардия» лежит заявка почти на миллион экземпляров этого романа. Олег Кошевой, Ульяна Громова, Сергей Тюленин так же, как Павел Корчагин и Алексей Мересьев, стали повелителями сердец многих поколений советских людей.

Мне могут возразить, что, мол, не всегда жизнь дает достаточный материал для создания образов Корчагинских наших дней. Что, мол, гражданская и Отечественная войны были полны героизма — только пиши... А попробуй отыщи героическое в самых что ни на есть обычных рабочих буднях штукатура или зоотехника! Но, скажем прямо, это довольно обывательская точка зрения. Думается, редакция вашего журнала, опубликовавшая повесть В. Титова «Всем смертям назло», убедительно опровергла доводы сомневающихся. Герой повести, шахтер, совершил подвиг сегодня, на своем рабочем месте, в своем собственном доме. Но это настоящий подвиг!... Мы встречались с Владиславом Титовым этим летом во время IX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Софии. Скромный, застенчивый и обаятельный человек — лауреат нашего литературного конкурса имени Н. Островского, — это Корчагин сегодня, и, уверен, у него будет учиться наша юность и неиссякаемому оптимизму, и упорству в достижении цели, и бескомпромиссной честности, и, не боюсь этого слова, героической силе воли. Вот такие книги, как повесть Титова, будут звать молодых читателей — и советских и их зарубежных братьев — на подвиг во имя жизни!

Возникает такой вопрос: всегда ли верен наш подход к героическому как непременно чему-то необыкновенному? Ведь и героизм человека, и цельность его характера, и чистота сердца проявляются — да еще как! — в самых обыденных делах. И справедливо молодежь обращается к литературе и искусству как к своим помощникам в труде, учебе, в быту и ищет, но, увы, далеко не всегда находит в них образы, достойные подражания.

Я хотел бы напомнить проверенную жизнью аксиому: в литературе, театре, кино, изобразительном искусстве, музыке, архитектуре заключается огромная сила, формирующая политическое, эстетическое

и философское кредо молодого человека. Поэтому поддержка молодых писателей и деятелей смежных искусств, товарищеская оценка их творчества, постоянное тесное содружество и помощь в создании художественных произведений — все это давно стало традицией комсомола.

Не так давно ЦК ВЛКСМ учредил премии Ленинского комсомола. Обкомы, крайкомы, ЦК комсомола союзных республик тоже установили свои премии. Причем вот еще что очень важно: комсомольские организации все чаще становятся своего рода «заказчиками» произведений о молодежи. Отсюда расширение практики творческих командировок молодых деятелей искусства. Так, в связи с подготовкой Всесоюзной художественной выставки, посвященной 50-летию комсомола, во все края нашей страны выезжало более 200 молодых художников. Мы стремимся широко пропагандировать творчество лучших молодых писателей, художников, композиторов, кинематографистов, организуя выставки, семинары, творческие встречи, фестивали и дискуссии.

Сейчас проводится Всесоюзный театральный фестиваль. Установлен приз ЦК ВЛКСМ «Алая гвоздика» за лучший детский фильм года. Первый лауреат — героическая комедия «Неуловимые мстители».

Определяя свои позиции в том или ином вопросе, связанном с искусством, мы стремимся руководствоваться ленинскими указаниями. Владимир Ильич поддерживал систематическое, планомерное, целеустремленное руководство развитием советской культуры, боролся не только против либеральной маниловщины, унижающей, кстати, настоящих художников, против политической бесхребетности в оценке как содержания и направлений в развитии искусства, так и непосредственных результатов художественного творчества.

Есть у нас и пожелания к работникам литературы и искусства. Возьмите, например, актуальную задачу создания в литературе образа комсомольского вожака. Вы знаете, как часто такой вожак — энергичный, действительно ищущий молодой человек — совсем иным предстает со страниц книг и экранов кино: бесцветным, произносящим прописные истины.

А разве не пример для самых глубоких писательских раздумий и обобщений, скажем, комсомольский комитет строительства Братской ГЭС? Молодые ребята, по зову сердца пришедшие на эту величайшую стройку, столкнулись с решением сотен инженерных и просто человеческих проблем. И все им предстояло делать впервые в истории: в сложнейших условиях Сибири, в непроходимой тайге создать небывалую плотину, построить уникальную ГЭС. Только в борьбе с трудностями из этих ребят смогли вырасти замечательные вожаки молодежи и хозяйственные руководители. Алексей Шохин — ныне начальник строительства Зейской ГЭС, Аркадий Морозов — главный инженер строительства Братского алюминиевого завода, Спартак Губайдуллин — главный технолог строительства лесопромышленного комплекса.

Мы за то, чтобы вскрывать недостатки, показывать, как с ними бороться, но мы не за героя-нытика, мы за героя-борца, трезво воспринимающего жизнь, настоящего героя нашего времени, оружием которого являются не слова, а дела.

К сожалению, некоторые писатели ограничивают свою творческую лабораторию изучением отрицательных черт и явлений, о которых можно похлестче написать, да и слова употребить покрепче. Мелкие предметы: они подчас рассматривают лупами крупных калибров. Это, в конечном счете, и приводит к

той художественной кривизне, которая, как зеркала в комнате смеха, дает искаженные изображения людей.

Вспомните знаменитые слова М. Горького: «Всем хорошим в себе я обязан книгам». Мы хотим, чтобы наша литература учила молодежь только хорошему. Вот почему я начал разговор о литературе с таких книг, как «Молодая гвардия», «Как закалялась сталь», «Всем смертям назло». Пусть всегда будет подлинным героем советской литературы настоящий советский человек.

— И последний вопрос: каким Вы представляете себе комсомольского вожак, так сказать, в идеале? Хотелось бы услышать конкретные имена и биографии.

— Комсомольская работа — это прежде всего постоянное решение сложнейших проблем. Ее итоги порой сразу не увидишь, всходы даются нелегко. Значит, сеятель должен быть терпеливым и, главное, трудолюбивым, творческим человеком.

Можно, конечно, попытаться смоделировать обобщенный образ, несущий в себе характерные черты современного вожак. Комсомольский вожак прежде всего должен обладать необходимыми политическими и деловыми качествами. Он немыслим без идейной убежденности, большой эрудиции, душевной чуткости, организаторских способностей.

Но разговор о комсомольском вожак я начну, если вы не возражаете, с одного любопытного документа. Это десять заповедей комсомольского работника. Их автор — секретарь Тихорецкого горкома комсомола Тамара Олейникова. Вот они:

«Секретарь райкома идет вровень с комсомольцами и впереди них.

Секретарь райкома не должность, а призвание.

Если тебя все нахваливают, значит, ты плохой секретарь.

Если можешь не послать директиву в первичную организацию, не посылай ее.

Нужно уметь водить мотоцикл, машину, трактор, быть инженером, учителем, агрономом, уметь любить и ненавидеть, но самое главное — нужно быть секретарем райкома.

Не стремись объять необъятное: даже комсомольская работа имеет свои границы.

В комсомоле нет «простых» и «рядовых» — есть бойцы и товарищи по общественному делу.

Увидел недостаток — исправь его, а уж потом ищи виновных.

Комсомольские начинания не придумывают — их выращивают.

Не ной, если трудно, — от этого тебе не станет легче».

Наверное, какие-то из этих заповедей можно формулировать и иначе. Но главное вот в чем: только человек, который именно в комсомольской работе видит свое призвание, свое счастье, может стать наставником молодежи.

Во главе большинства комсомольских организаций стоят вожаки по призванию, сочетающие в себе черты и качества, о которых шла речь выше. Найти их нетрудно: поезжайте в любой район, область, край, республику, и вы их там встретите.

Если будете в Удмуртии, обязательно познакомьтесь с Леонидом Булгаковым. Более десяти лет он работает с комсомольцами. Прошел путь от токаря до первого секретаря обкома. Окончил Ижевский сельскохозяйственный институт, активно участвовал в жизни институтской организации. Потом работал секретарем Воткинского горкома комсомола, был на партийной работе. Своим отношением к делу, к людям он завоевал большой авторитет среди комсомольцев и молодежи, награжден орденом «Знак почета» и высшей наградой комсомола — Почетным знаком ВЛКСМ.

Или вот несколько обычных штрихов из обычной биографии секретаря райкома.

В ряду географических названий, овеянных романтикой покорения Севера, значится арктический порт Тикси. Его комсомольскую организацию возглавляет Артур Чилингаров, выпускник Ленинградского инженерного морского училища, коммунист. Край мужественных людей, суровых заполярных условий стал второй родиной южанина.

В Артуре Чилингарове чувствуют сердцем настоящего комсомольского вожак и оленевод, и сотрудник полярной станции, и рыбак, и школьник. Артур всегда среди молодежи. Он исколесил тундру, побережье Ледовитого океана, далекие острова...

Примеры можно было бы и продолжить. Живой и вечный источник их — жизнь и практика нашей комсомолки. Много хорошего должен нести в себе молодой человек, чтобы заслужить гордое звание — комсомольский вожак...

Я ответил на все ваши вопросы. Разрешите воспользоваться случаем, чтобы передать читателям «Юности» самые сердечные поздравления Центрального Комитета ВЛКСМ с 50-летием Ленинского комсомола.

—

Борислав Степанюк

УЛЬЯНА И ДЕМОН

«...Ульянка, ты ж знаешь мою
любовь, прочитай «Демона»,
как тогда, помнишь?..»

А. Фадеев
«Молодая гвардия».



Это было на пороге бессмертья,
Когда Грому Улю
Вот такие ж, как она, ясноокие

Попросили:
«Ульянка!
Ты немало стихов на память учила,
Прочитай хоть немного.
Прочитай про любовь,
А если не про любовь,
То про ненависть!»

Примолкли в камере девчата,
На Улю подняли глаза,
И вот взметнулась, как когда-то,
Ее крылатая коса.

И мигом расступилась темень,
И что-то дрогнуло в душе,
И он явился, грозный Демон,
В своем развихренном плаще.
Рыдала выюга под сурдинку,
Был миг прозрения тяжел.
И вдруг,

Готовый к поединку,
Поручик в камеру вошел.
Как эти судьбы, эти доли
Сплелись друг с другом навсегда!
А может, мир спасти от боли
Явился Лермонтов сюда!



**КОМСОМОЛЬСКИЙ
БИЛЕТ № 8928004**



Но Демону и дела нету
До болей времени.
Опять
Смеется он,
Земле и небу
Устав служить и сострадать.
О нет, не гостем прилетел он
И не подкрался, как змея...
Над миром наклонился Демон
И шепчет в ночь:
«Она моя!»

И отдавалось, как во храме:
«Моя!»
А ветер черных кос,
Казалось, между облаками
Куда-то к звездам
Улю нес.
А Демон был на полдороге.
И к девушке зывал: прости!..
Уже готовился в тревоге
На верность клятву принести.
И подавить в себе вампира,
И пробудить в себе дитя,
И бросить в ноги ей полмира,
И закричать:
«Люби меня!»
Но,
Повесть древнюю, ночную
Вдруг оборвав, как будто сон,
Ключ в скважину вошел дверную,
Как смертью посланный патрон.
И разрядились двери скрипом,
И дух морозный повалил...
И Демон ледяным изгибом
Над вечной пропастью застыл.

Потом враги, гремя ключами,
Пришли и Улю увели,
И тувельки ее стучали,
И смолкли в глубине земли.
И все глотали слезы немо,
И, со своих поднявшись мест,
Смотрели вверх.
Там плакал Демон,
Как несвершившийся протест.
Он видел, как она стояла
В мятежных отблесках зари
И как гестаповец устало
Хрипел в лицо ей:
— Говори!
Но не склонилось в час мучений,
Врагу не выдав ничего,

Не потемнело от сомнений
Ее высокое чело.
От оружейного бряцанья,
От злого лязганья зубов
Лишь дух холодный отрицанья
Ее наполнил до краев:
— Оставьте тщетные старанья,
Вы не дождетесь от меня
Ни жалобы, ни покаянья.
Вы бред!
Вас отрицаю я!

И градом сыпались побои
На тело Ули молодое,
Еще не знавшее любви.
И Уля стыла в забвении.
Ничей кулак не промахнулся,
Не пожалел, не замер вдруг.
И даже Демон отвернулся,
Снести не в силах этих мук.
Но дрожь насквозь ее пронзила
И страх, холодный, как металл,
Когда, ослабившись, верзила
С нее срывать одежду стал...
Когда ее, полуживую,
Швырнули в камеру, как сноп,
Когда на рану ножевую
Девчата глянули,—
Озноб
Прошел по всем сердцам
смертельный,
И оборвалось забвение,
И в первый раз в ночи метельной
Раздался слабый стон ее.
Утихла выюга на мгновение,
И тонкий луч в окно пролез,
И Демон, гордый дух сомненья,
Печальный, прилетел с небес.
Прошел он камерой ночью,
И с ним сомнение прошло,
И каждый чувствовал душою,
Как он вздыхает тяжело.
И он не выдержал, склонился
Пред этой мукою, гордец,
И, пряча слезы, усомнился
В своих сомненьях, наконец.
А на спине девичьей, белой,
Летя к потомкам сквозь года,
Кровоточила и горела
Пятиконечная звезда.

Перевел Л. СМЕРНОВ.



Откликнись, строка, словно эхо,
на гром и на шепот в толпе.
Возникни, строка, словно вежа
на чьей-то нелегкой тропе.
Не надобно благоуханья
нездешних загадочных роз —
прерывистой будь,

как дыханье
всех тех, кто к работе прирос.
Не лги, не жеманничай ломко
салонным красоткам под стать,
но девушкам — сборщицам хлопка
не дай раньше срока устать.
Будь в поисках неутомима,
и в твой сокровеннейший миг
яви мне

не каплю от мира,
но в капле
яви мне

весь мир!
Не бойся звучать из-за такта,
хоть нот и не больше семи.
Не будь констатацией факта,
будь фактом сама, черт возьми!
Круши

всю пустую породу,
тори свой особенный путь
и будь так любезна

народу,
народу любезною будь!
Стань, стих мой,

для тех
партбилетом,
кто Ленина

сердцем постиг,
и я не мечтаю об этом,
я требую, слышишь, мой стих!!



С азербайджанского

Строка,
в тебе — вся моя сила,
как в детях — вся сила отца.
Меня до конца ты вместила —
отдай же меня
до конца!

Ответ

Веры хочу, чтобы за веру
было и жизни не жалы!

Бохджет Камал Чаглар.

Что! Ищешь ты предмет служенья!
Я не ослышался ли! Нет!
Стал мастером стихосложенья —
еще не значит — стал поэт.
Постигший все в рифмовке, в слоге,
когда дела пошли на лад,
вдруг заметался ты в тревоге:
куда бы приложить талант!
Познавший бытие по книгам,
в себе ты хвалил мастерство,
а твой народ

стонал под игом
вне умозренья твоего!
А родина твоя горела,
так горько,

грозно так тиха,
но пламя то

не подогрело
в тебе ни строчки,
ни стиха.

В сердцах свобода тайным светом
сияла, как ни тщишься тать,
а ты молчал.

И смел поэтом
при всем при том себя считать!
К тебе не долетали ветры,
и все же ты в расцвете лет
уразумел: поэт без веры,
без убежденья — не поэт...
И пусть мой стих не совершенство —
ты б понял по нему, Чаглар,
какое грозное блаженство —
от убежденья черпать дар!
Твое прозренье было возле,
а я, Чаглар, стою на том,
что раньше честь,

а рифма после;
сначала вера, слог потом.

Перевел В. ЛУГОВОЙ.

Карусель

Как колесо, кружится карусель.
Как шар земной, заверчена она.
Кружатся дети... Кто из них успел
сесть на коня, кто оседлать слона.

Кружится карусель... И все кругом
уже кружится... И хохочут дети.
Им кажется, они стоят на месте,
а мы вокруг них ходим ходуном.

Ликуйте, дети, смейтесь веселей!
Так ходим ходуном не только мы:
вокруг Земли затеяв карусель,
так кружится над вами целый мир.

Ликуйте, дети, смейтесь!
В свой черед
и время кружит — карусель не эту...
Как мы над вами — вам пора придет
кружить, волнуясь за свою планету.

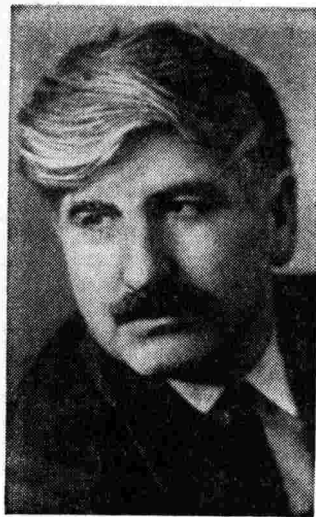
Но странно...
Я увидел в стороне:
малыш, сосущий вдохновенно палец,
на карусель кружащуюся пляся,
смеется...
Восхищаясь,
изумляясь,
смеется,
словно тоже на коне
иль на слоне катается со всеми
на этой развеселой карусели.
Сливались лица радостные их.
Он радовался радости других.

И боль вопроса родилась во мне:
а так же ли мы счастливы бываем,
когда другому — счастье на коне!
Когда другому — радость каруселью!
О, так ли кружит нас его веселье!

Перевела А. АХУНДОВА.

□ □ □

Фикрет
Садык



☆

Вдыхаю солнце, воздух пью
и горе-радость постигаю.
Дороги мира узнаю
и рад цветам в своем краю
и солнечному караваю.
А чем я миру заплачу!
Мечтою, что живет не праздно!
Ведь он зажжет мою свечу,
и я стремлюсь, и я хочу,
чтобы горела не напрасно.

Тропа

Я пробираюсь в высях гор
и сквозь ущелья коридор.
Направо — пропасть и река,
налево — лес стоит стеною.
Но одинока я пока.
Надолго ль! Годы за спиной.
Тропа, заросшая травой,
тоскую по душе живой.

Устал вперед стремиться взгляд.
Меня растения теснят.
Но не хочу исчезнуть я!
А как, забытой, мне не сбиться!
Кому нужна и жизнь моя,
когда мечте моей не сбыться!
Тропа, заросшая травой,
тоскую по душе живой.

Найди меня, народ, найди!
Пройди ты по моей груди,
чтоб, обреченная дотоль,
вдруг облегченно я вздохнула.
Шаги, верните сердцу боль,
чтоб эта боль мне жизнь вернула.
Тропа, заросшая травой,
тоскую по душе живой.

Самолет

Голубизной вселенной
спеленатый, плывет
над облаками пленный
обычный самолет.

Как темен путь воздушный!
Опасность велика.
Крепка там равнодушной
случайности рука.

А в этом самолете,
как на земле своей,
младенцев вы найдете,
влюбленных и детей.

И боль пережитого
и будущего боль,
несказанное слово,
несхожесть нужд и доля.

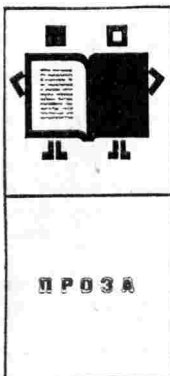
И радость в нем, и горечь,
и старости черты,
неначатая повесть,
надежды и мечты.

Один в великолепье
пожить мечтает всласть,
другие — сбросить цепи,
а третьи — не упасть.

А этот в оскуденье
душевном так глядит,
как будто под сиденье
припрятан динамит.

Все это тащит где-то
среди ночных высот
похожий на планету
обычный самолет.

Перевел И. ТИМОШЕНКОВ.



Владимир Орлов



ПОСЛЕ ДОЖДИКА В ЧЕТВЕРГ

РОМАН

Рисунки Г. Завьяловой.

Вокно смотрела лошадиная морда. Терехов отодрал голову от подушки. Он не удивился бы, если бы увидел, как по склону сопки, прямо перед их общежитием, под соснами, проехал, урча, трактор, или старенький воронежский экскаватор, или дребезжащий вагон трамвая. Даже если бы нырнул в распадок самодовольный сверкающий поезд метро, он и тогда глазом бы не моргнул, а продолжал спать, потому что благодухествовало воскресенье и можно было спать хоть до ужина. Но секунду назад он услышал конский топот, и звук этот в их поселке, привыкшем к машинам, так удивил его, что Терехов сбросил одеяло и соскочил с кровати.

Он натягивал выцветшие тренировочные брюки, спешил, никак не мог ногой попасть в левую штанину, злился, а по коридору уже бежал кто-то, хлопал дверьми, спрашивал Терехова, и кто-то кричал, указывая на третью дверь справа.

Дверь отворилась резко. Незнакомый приземистый парень лет тринадцати в допотопном меховом треухе, надвинутом на лоб назло дождливому июню,

в кирзовых сапогах, подошел к Терехову, буркнул что-то и сунул ему в руки аккуратный пакет, склеенный из газет.

— Вы Терехов? — спросил он запоздало.

— Я, — сказал Терехов.

— Он ответ просил... — сказал парень.

Пакет был от Ермакова. Вчера днем кофейная пронирливая «узка» с красными крестами увезла прораба Ермакова в больницу села Сосновки, на ту сторону Сейбы. Ермаков кашлял, ругался непривычно тихо: «Надо же, тридцать девять с половиной... прихватила, сушеная палка!..»

В пакет были вложены два листка бумаги в линейку и пять канцелярских кнопок.

По первому листку торопились крупные ермаковские буквы. «Ищут воспаление легких. К великой радости, начались еще и приступы язвы. Придется тебе командовать. Отсыпайся по воскресеньям. Кнопки посылаю для того, чтобы ты сегодня же мог пришить приказ к доске объявлений. Жму руку. Ермаков».

Приказ был отпечатан машинкой на втором листке и сообщал, что бригадир третьей бригады Терехов Павел Андреевич назначается исполняющим обязанности прораба участка Сейба.

«Ну вот, — подумал Терехов. — Не было печали!..»

Журнальный вариант.

Он расстроился, потому что все было некстати: и болезнь Ермакова, и это назначение, и вообще все было некстати. Он и сам не понял, что имел в виду под этим «вообще все», он только вспомнил, что вчера произошло что-то скверное и досадное, и выбросить из жизни это скверное и досадное было нельзя.

— Он просил ответ, — сказал парень.

Терехов сунул руку в ящик стола, вытащил толстый красный карандаш, подумал: «Начальственный, очень нужен для авторитета» — и написал на обороте листка в линейку: «Выздоровливай, Александрыч. Глотай таблетки. За нас будь спокоен».

Записка нырнула в карман синей кацавейки, парень повернулся молча и пошел к двери, стараясь быть взрослым и деловитым.

Терехову уже не раз приходилось сталкиваться с жителями Сосновки, села старого, кержацкого, выросшего, может быть, еще во времена протопла Аввакума, рядом со скитом, и он знал эту манеру всех сосновских, взрослых и пацанья, молчать и хмуриться при встрече с незнакомыми.

Терехов быстро натянул сапоги и, сам не зная зачем, пошел за парнем.

Голую спину и грудь его тут же исколол холодный дождь, он моросил всю ночь не переставая, и терпения у него оставалось еще, наверное, на несколько дней. Сопки, дальние и ближние, стояли мокрыми, и серые куски тумана, оторвавшиеся от серого неба — куски грязной небесной ваты, — лежали на них. Все: и длинные щитовые дома поселка, и штабеля досок и бревен, и деревья, поднимавшиеся от Сейбы к общежитиям, а потом выше, в серые куски ваты, — казалось потерявшим цвет и размытым дождем. И даже вода в ручье, бежавшем к Сейбе, обычно прозрачная, игравшая в радугу с солнечными лучами, летела мутной и грязной и била, суетясь, в камни на берегах и корни деревьев.

Терехов ежился, мотал головой, сбрасывая с коротких волос капли, ему хотелось сбегать в сонное тепло общежития, но парень подвел лошадь к ручью, и Терехов уже не мог оторвать от нее глаз.

Лошадь пила воду, шея ее напряглась, ноги, короткие и сильные, вросли в жижистую землю. Парень трепал ее по сытому заливку и шептал ей что-то ласково и таинственно, словно колдовал, словно только для нее и мог найти и слова и улыбку. Терехов смотрел на мокрые бока и спину лошади, коричневые, отмытые дождем, видел, как вздрагивали начиненные энергией мускулы, и завидовал сосновскому парню. Так и в детстве он, выросший в фабричном городке, завидовал деревенским мальчишкам, гонявшим коней в ночное на Острецовские и Ольговские луга. И каждый раз, когда он видел ребят, разъезжавших верхом, ему казалось, что он лишен чего-то извечного и прекрасного, и этого извечного и прекрасного не смогут заменить никакие радости, связанные с машинами, и что он потерял умение, переданное ему предками, и всегда в таких случаях он испытывал необъяснимую тоску и стыд.

Парень вывел лошадь на дорогу и тут же, словно кто-то невидимый подсадил его, оказался в седле. Терехов быстро пошел за ним, он решил наплевать на дождь и холод и облиться водой не из рукомытника в коридоре, как он делал обычно, а прямо из мутного ручья. Он плескал воду ладонями на грудь и на спину, она обжигала, и Терехов смеялся и фыркал от удовольствия.

Ему было радостно от этой ледяной, обжигающей воды и оттого, что он чувствовал себя здоровым, чувствовал каждый свой мускул, он разминал-

ся под соснами, сбрасывавшими тяжелые холодные капли, придумывал упражнения потруднее, нарочно, чтобы почувствовать еще резче, как сильны и эластичны его мускулы, а поделав упражнения, стал прыгать и бегать рывками вдоль общежития, и даже намочившие сапоги, к которым прилипла грязь, не мешали ему. Он смахивал ладонью со лба и нос дождевые капли, подпрыгивал, шлепал руками по сосновым веткам и прыгал снова, пока не вспомнил, что день вчера был дрянной и ничего не изменилось.

Он опустил руки и понял вдруг, что ему противен этот колющий, мерзлый дождь и противно сырое, тоскливое небо.

Событий вчера произошло много, и ничего, кроме огорчений, они ему не принесли. Но среди них одно особенно расстроило его и вот теперь не давало покоя. И он понимал, что его расстроило, и все же пытался обмануть себя, иначе объяснить свое дурное настроение.

Хорошего и впрямь случилось мало. Болезнь скрутила Ермакова, и Терехову было жаль прораба, человека пожилого, искалеченного в войну, уставшего в последние сумасшедшие недели. Без особой радости Терехов подумал о том, что теперь на его плечи взвалены хлопоты поселка, отрезанного от начальства и цивилизации тридцатью километрами размытой дороги.

Невеселой получилась и встреча с начальником поезда Будковым, неизвестно как сумевшим пробраться на Сейбу из своей таежной столицы. Будков был встревожен то ли болезнью прораба, то ли еще чем, подбадривал Терехова, таскал его на мост и просил за мостом следить. Будков, несмотря на их прежние стычки, Терехову нравился, и вчера Терехову хотелось сказать начальнику поезда что-нибудь доброе, успокоить его, но на шутки Будкова он отвечал ворчанием, и теперь ему было стыдно.

Тяжелый был вчера разговор с тремя парнями-дезертирами, сбегавшими в трудную пору со стройки. Парни были отличными рабочими, очень нужными сейчас, и все же они убегали, и никакие душещипательные разговоры не могли тут помочь.

Кроме всего прочего, Терехов повздорил с лохматым неудачником Тумаркиным, трубачом, которого он переносил с трудом. И мало приятного было сознавать, что хорошие рабочие уезжают, а остается Тумаркин, с длинными, костлявыми, ничего не умеющими руками и с трубой, надоевшей, как песня «Тишина».

Были вчера и другие события, вызвавшие у Терехова раздражение и досаду, а под вечер от Рудика Островского Терехов узнал, что Олег Плахтин и Надя решили «сочетаться законным браком» и подали заявление в Сосновский сельсовет. Олег и Надя были его лучшие друзья, самые близкие, все на Сейбе уже давно догадывались об их отношениях, и Терехов расплылся в улыбке, выслушав Рудика. Однако было странным, что новость эту ему пришлось узнать от Рудика. Сегодня Терехов уговаривал себя не думать об этом, и все же перед глазами стояло вчерашнее лицо Олега, вчерашнее, как будто незнакомое, и Терехов видел снова, как дергались левое веко Олега и его левая щека. «Ну и что! Что тут такого? — подумал Терехов. — Волновался человек...»

Он открыл дверь в свою комнату и увидел Олега. Плахтин стоял у этажерки и отбирал книги.

— Доброе утро, — улыбнулся Плахтин.

— Здравствуй, — сказал Терехов.

— Ты чего такой мрачный? — удивился Плахтин.



— Мрачный? — спросил Терехов. — Устал, наверное.

Он снял с гвоздика желтое вафельное полотенце и стал медленно растирать кожу. Кожа горела, и было приятно.

— Забираю вещи, видишь, — Плахтин показал на открытый чемодан, — книжки и еще кое-что... Знаешь, мы ведь решили с Надей пожениться... Заявление вчера подали...

— Слышал, слышал, — стараясь предупредить Олега объяснение, быстро сказал Терехов.

— Ты чем-то расстроен, — сказал Олег, — я ведь вижу...

— Ничем я не расстроен, — буркнул Терехов.

— Ты обиделся? — спросил вдруг Олег.

— На кого?

— На меня и на Надю... Мы ничего не сказали...

— Какие тут могут быть обиды!

— Я ведь вижу...

— Слушай, перестань! — раздраженно сказал Терехов.

Он даже сам удивился, что может говорить таким неприязненным, почти враждебным тоном с Олегом, как с чужим, и, смутившись, протянул ему ермаковский приказ.

Олег рассмотрел листок.

— Да-а-а... Большой начальник...

Терехов подошел к стулу и лениво стал надевать рыжую ковбойку. Ковбойка была сшита из грубой, шершавой ткани, годной на мешки для гвоздей.

— Вот и все. — Олег взял чемодан и пошел к двери. — Слушай, приходи к нам. И Надя просила. А то будешь скучать. — Он быстро открыл дверь и сказал уже с порога: — Я не прощаюсь. Ты заходи...

Терехов застегнул длинную молнию лыжной куртки, причесался и пошел в столовую.

2

Дождь усилился, и Терехов по армейской привычке двигался к столовой короткими перебежками — от сосны к сосне.

У домика конторы он остановился.

Метрах в пяти от него прибитая к двум планкам мокла доска объявлений. За стеклом, забрызганным дождем, желтели сводки и приказы прораба Ермакова.

Терехов, угрюмо сбывшись, нерешительно прошагал пять метров и отодвинул стекло. Он достал из кармана белый листок и канцелярские кнопки.

И тут он воровато оглянулся, словно делал что-то запрещенное или постыдное. «Вот ведь ты какой стеснительный», — подумал Терехов, — застенчивый какой». И все же он был рад, что никто не видел, как он прикрепляет приказ на самого себя, обошелся двумя кнопками, резко сдвинул стекло и прыжками побежал в столовую.

Столовая, теплая, шумная, светлая, пыхла, стучала ложками и ножами, выщелкивала куцые чеки, дымилась, посмеивалась над непогодой и угрюмыми ватными облаками.

Терехов потоптался на пороге, стяхивая холодные капли, взял поднос и встал в очередь.

Он здоровался со всеми, потому что незнакомых не было в этом теплом, сытном зале. Он кивал, говорил мрачно: «Привет... Доброе утро...», — тоном своим отбивая охоту перекинуться с ним привычными шутивными словами. И к подавальнице Варе он обратился мрачно, и черные Варины глаза удивились, и плечи ее дернулись, изобразили «вот тебе раз!».

Терехов отнес тарелки с хлебом, вареной теплой вермишелью, жареной печенкой, посыпанной луком, и два стакана кофе на свободный столик и уселся на желтое фанерное сиденье. Он загреб вилкой вермишель и тут понял, что у него нет аппетита и что зря он взял два вторых — обычную свою утреннюю порцию, вполне мог бы обойтись стаканом кофе и куском хлеба.

Он жевал лениво, нехотя, мял пальцами черный липкий хлеб, а когда поднял голову, увидел на стене лебедей.

Лебеди плыли парами, тянули свои лебединые шеи к белым кувшинкам, похожим на лотосы, отражались в черной болотной воде.

Лебеди были зеленоватые, как белок подтухшего яйца.

Мохнатые, склонялись над ними пальмы, и на их ветках танцевали мартышки, а за пальмами, облепив желтые стволы двух сосен, улыбался толстый и добродушный саянский медведь.

Вскочивший из-за голубых гор, спешил к лебедям красный паровозик с дымом, тянул по фиолетовой насыпи четыре игрушечных вагона — мышиный поезд из уголка Дурова, и машинист с чубом, по-



жим на паровозный дым, высунув голову из окна, курил трубку.

Розовое солнце, четырехугольное, похожее на флаг, выползало из-за голубых гор, предвещало теплую сонную одурь и всеобщее благолепие под пальмами и соснами.

Лебеди плыли, улыбался медведь, спешил паровозик, и так всегда, и Терехов, входя в столовую, старался не наткнуться глазами на пятиметровый саянский мираж, и все же каждый раз видел зеленоватых лебедей и розовое солнце.

Мираж был написан масляными красками на изнанке заурядной столовой клеенки. В тот день, когда прораб Ермаков притащил с абаканского базара это произведение искусства, Терехов стоял возле них долго, а потом зачем-то потрогал розовый четырехугольник. Солнце было шершавое, все в пупырышках. «Ну как?» — спросил Ермаков. Он ждал одобрения. «Ну...» — начал Терехов, а потом спросил: «Это ты, Александрыч, истратил деньги, которые положили на трансформатор?» «И свои еще добавил! — Ермаков махнул рукой. — Такое посчастливится встретить раз в год. В три года. Ни на одном участке нет, а у нас будут свои картины...» «Да, — сказал Терехов, — картины...» «А что?!» — обиделся Ермаков.

Он слыл упрямым человеком, этот Ермаков, и уж если что втемяшилось ему в голову, то, значит, дело было конченным и решенным. Терехов знал это прекрасно и потому робко посоветовал прорабу выкинуть клеенку подальше. «Ведь только подумай, — сказал Ермаков с сочувствием к неизвестному художнику второй половины двадцатого века, любителью мохнатых пальм и зеленоватых лебедей, — из чего он всю красоту добыл...» «У Пиросмани красок было не больше и тоже клеенка перепала, — сказал Терехов, — а получалось...» «Ну ладно, какие еще Пиросмани! — взвился Ермаков. — Интеллигенты!

Формалисты! Правильно вас газеты ругают за всякие там абстракции... Вот повесим картину в столовой, посмотрим, что народ скажет...»

И хотя лубок на клеенке был ничем не лучше гипсового кота, подставившего спину, пятакам и гриванникам, все сейбинские терпимо отнеслись к появлению его на стене столовой. Пусть, ерунда, а все же как-то веселее стало. Пусть бумажный, но цветок. Ермаков ходил счастливый и не припоминал Терехову его заблуждений.

Олег Плахтин горячился, нервничал, требовал, чтобы убрали из столовой эту пошлость, грозился написать в «Комсомолку» или «Литературную газету». А Терехов молчал. В душе он даже уважал убежденность прораба, с которой тот доказывал, что картины он приобрел нужные народу и красивые. К тому же Ермаков искренне хотел хоть чуть-чуть расцветить серость сейбинского общественного быта, а многие парни и девушки хвалили покупки, и Терехов смирил свой протест.

— Привет, начальник!

— Привет, — кивнул Терехов.

Виктор Чеглинецов возвышался над Тереховым, дымя с сигаретой, смеялся озорными раскосыми глазами, словно подмигивал.

— А-а, землепроходец, — равнодушно сказал Терехов. — Послезавтра, что ли, сбегаете?

— Нет, начальник, завтра.

Случалось, Чеглинецов называл его комиссаром, а теперь вот нашел иное слово.

— Ты чего, — спросил Терехов, — видел приказ?

— А то как же, — сказал Чеглинецов. — Увидел — снял с себя чепчик и начал бросать его в воздух. Вот ведь, думаю, новый премьер-министр. Губернатор острова! Начальник грязелечебницы!

— Ладно, — мрачно сказал Терехов и принялся за вермишель.

Чеглинецов подошел к буфету и встал в очередь за Тумаркиным.

Этот Тумаркин, этот унылый губошлеп, притаился в столовую со своей знаменитой трубой и теперь неуклюже держал ее под мышкой.

Чеглинецов покровительственно похлопал Тумаркина по плечу, и тот дернулся и презрительно скривил губы, ну, конечно, какое же у него еще могло быть отношение к подлому дезертиру. Они стояли вместе и, оказавшись рядом, смешили людей, как Пат и Паташон или еще кто-нибудь в этом роде. Тумаркина, наверное, собирали из деталей детского «конструктора» в кружке Дома пионеров, создатель его был человеком рассеянным и недобросовестным, его постоянно отвлекали, и потому в Тумаркине все разваливалось. Грудь у Тумаркина была вогнутая, а у Чеглинецова выпуклая. Если бы Чеглинецову дали потренироваться больше, он вполне бы мог схватить приличный приз на конкурсе культуристов где-нибудь в Польше или во Франции.

Чаще всего Терехову приходилось с Чеглинецовым ругаться, и все же Витька вызывал у него чувство симпатии и даже восхищения.

Чеглинецова любили на Сейбе все и особенно женщины. Терехов тянул сейчас горячий кофе и смотрел, как обслуживали Тумаркина и Чеглинецова. К Тумаркину было проявлено полное безразличие. Чеглинецову же, конечно, девушки принесли самое лучшее и даже то, чего в столовой вообще не было.

Чеглинецов уже шел вдоль столиков со спортивной сумкой в руках, обаятельный и шумный, и все улыбались ему, Терехов же вдруг представил себе свою

мрачную физиономию и подумал: «Вот кому быть прорабом, с такой улыбкой... А то я...»

— Слушай, начальник, — наклонившись, шепнул Чеглинецов, — наса через два в нашей комнате даем прощальный обед. Медвежатица в лучшем виде. Будем ждать как генерала.

— Как же! — хмыкнул Терехов. — Сейчас прибегу. Всю жизнь мечтал с вами отобедать.

— Ты не ломайся. Тебе же лучшего желаем. А то скучаешь... Я вот и приправу несусь...

— Иди, иди. Как-нибудь сам развеселюсь!..

— Брежгуешь, начальник, рабочим классом?

3

А дома, в общежитии, было вправду скучно, и Терехов, повалявшись на застеленной кровати, встал, убрал книжку в тумбочку, достал кривоватый маленький ящик, самодельный, сбитый из кусков фанеры, заменявший ему этюдник, и положил туда два листа бумаги и карандаши. Он надел плащ и, прихватив прозрачную хлорвиниловую клеенку. Под дождевиком по грязи добирался до деревьев. В тайге шагать было легче. Минут за пять он добрался до поляны, до светло-зеленой плешины на склоне сопки и увидел внизу летящую коричневую Сейбу, худые, низкорослые березы и осины на ее берегах и дальние крыши Сосновки, вырывающиеся из ключев белесого тумана.

Посидев на пне, Терехов стал глядеть на молоденькую осину, вылезшую из серых замшелых камней на краю поляны, густое, невысокое деревце, из-за которого он и приходил сюда в последние дни.

Ему очень хотелось ударами карандаша и белыми пятнами передать на бумаге девичью стройность осины, блеск ее мокрых темно-зеленых листьев, и капли, изумрудинами застывшие на них, и очищенную, отмытую, голубоватую кожу ствола, и косой безнадежный падающий дождь, и тоску по доброму и жаркому солнцу всей этой притихшей, промокшей тайги.

Но толку от его усилий было мало. И, потеряв всякую надежду на удачу, Терехов стал водить рукой рассеянно, безвольно, и уже не контуры осины оставались после движений его карандаша, а какие-то неровные круги, которые потом стали превращаться в женские лица. Одно из них показалось Терехову похожим на Надино, и тогда он нарисовал рядом лицо Илги. «А ведь он нервничал, нервничал...» подумал вдруг Терехов, и снова встало перед его глазами лицо Олега Плахтина. — А-а-а! Пошло все к черту!»

Терехов поежился, карандаш все ползал по бумаге и чертил что-то, а Терехов думал о том, как может опротиветь холод, и вспоминал солнечные дни своего детства во Влахерме.

Это были хорошие дни, и с ними Терехов связывал свое представление о тепле.

Плавилось все: и воздух, и рельсы железной дороги, и асфальт на шоссе, пропечатанный, измятый босыми ногами пацанья, — и солнце плавилось, истекло маревом, а Терехов валялся на горячем бетонном боку лотка у самой зеленоватой-черной воды канала и знал, что в любую секунду может прыгнуть в теплую, ленивую воду, тащившуюся от Волги к Москве, и наслаждался этим знанием.

А потом появлялся кто-нибудь и кричал, захлебываясь от радости: «Плоты!» — и надо было вска-

кивать с горячего бетона и бежать к шоссе, а потом цепляться за проезжающий в сторону Дмитрова грузовик и лезть в кузов, пахнувший бензином, лежать в нем, да так, чтобы шофер не заметил, а потом, перед самым Дмитрием, выпрыгивать с криком на горячую мякоть асфальта и нестись снова к каналу. Орущая толпа влахерских мальчишек и девочек бежала к каналу, чтобы перехватить плот в пяти километрах от шлюза с бронзовыми каравеллами, и Терехов, конечно, был среди них, длинный, костлявый тогда, совсем черный от загара, и тоже кричал и показывал пальцем в сторону старенького буксира-брызгуна, пыхтевшего вдали, стучавшего по воде деревянными лопатками колес.

Буксир шел бокастый, крепкий, коричневый, из породы «стахановцев», бутафорски чистенькие ведра выстраивались на их бортах в слова «Мирон Дюканов», или «Алексей Бусыгин», или «Никита Изотов», и другие имена образовывали они, имена предвоенных титанов, знакомых Терехову по учебнику истории и по желтым листам уцелевших газет. Легкие, юркие речные трамваи проскакивали мимо коричневых работяг, успевая прогудеть отрывисто, и разодетые туристы махали руками копошившимся на корме буксира матросам. Трамваи мальчишками были прозваны «летчиками» за их легкий ход и за их имена: «Водопьянов», «Молоков», «Громов». И уж совсем степенно проходили мимо буксиров белые красивые теплоходы, волжские лайнеры, один из которых в фильме «Волга-Волга» принял на борт делегацию Мелководска с затонувшей «Севрюги», и на белых ослепительных боках лайнеров величаво темнели имена знаменитых людей. На прекрасные теплоходы эти мальчишки любили смотреть, плавали же к ним без особой охоты, потому как волны от них были слабые. Вот буксиры, когда они шли без плотов и барж, волны нагонять умели, ревели, стучали плицами, и в волнах за ними покачивались счастливые мальчишки и девочки, сбегавшие со всей Влахермы, они уже за полчаса знали, что в шлюзе стоит пустой буксир.

Когда буксир подползал ближе и виден был отчетливо трос, шлепающий по воде, все с криком, не сговариваясь, бросались в канал, плыли, и Терехов плыл со всеми, фыркал, резал угол, стараясь попасть на первую связку мокрых бревен.

Он спешил, хотя и знал прекрасно, что плот по воде не убежит, никуда не денется, и все же старался плыть быстрее, и на связку выбирался из воды как-то судорожно, обдирая голые бока о проволоку и острые обрубки бывших сучьев. Он выпрыгивался, стоял, сощурился, глаза, и солнце с секунду смотрело ему в лицо, а потом надо было бежать в конец плота, прыгая с бревна на бревно, потому что так было принято у влахерских мальчишек.

Так было принято, и Терехов прыгал, балансируя, раскинув руки, бежал по сосновым бревнам и снова прыгал через зеленоватые разводья. Иногда промежутки между связками были большие и прыгать было опасно, но все прыгали, даже шкеты, и Терехов знал, что никто из них ни разу не остушился и не свалился в воду.

Иногда ему вдруг хотелось сорваться или даже самому прыгнуть в зеленоватый промежуток, самый узкий, почувствовать, как сходятся деревянные айсберги, как они собираются раздавить его, и, пошутив с ними, все равно вынырнуть потом где-нибудь сбоку живучим и смеющимся и жадно глотать воздух. Но все же Терехов прыгал четко и далеко бежал со всеми мимо крохотного шала-

шика, мимо спокойных плотогонцов, жевавших жареную рыбу.

Он первым прыгал на концевую связку, проходил ее и ложился на бревна так, чтобы солнцу было легче жарить его тело, опускал руки в воду, отстававшую от плота, и закрывал глаза.

Он слышал, как рядом устраивалась шумная ребятня и как брякались на соседние бревна Севка, Олег и Надя. Они еще болтали с минуту, но Терехов молчал, и они замолкали.

Зеленые аккуратные берега уплывали назад, утаскивали с собой коричневых купальщиков, брезентовые копенки сена и одиноких белых коз, перенаселивших в те годы Влахерму. Терехов поворачивал голову, видел сияющие глаза Севки, Олега и Нади, подмигивал им и показывал большой палец. Все мелочное и случайное исчезало, только они, люди, человеки, оставались наедине с солнцем, с плывущим прожаренным воздухом, с шелушистыми стволами великанов и теплой волжской водой, только они. А за мостом на берегах кишели счастливые люди, словно справляли языческий праздник, праздник теплой воды и лета. За мостом скоро уже был шлюз, а перед шлюзом и их кусочек берега, укатанный бетоном, и они снова прыгали в воду, плыли, фыркая, к лотку. Время было беззаботное, и солнце было беззаботное, ласковое.

Потом швыряли волейбольный мячик, бегали, дуррачились, и все время Севка, Олег и Надя были возле Терехова. Севка сопел сосредоточенно, он все делал сосредоточенно, словно переваривал что-то; у Олега светились глаза, а Надя бегала, напевая только ей известные песни, и длинные ноги у нее были ссажены на лодыжках и на коленках. Все они были лет на пять моложе Терехова, ему вообще везло на недоросков, мелкота так и вилась вокруг него, потому что он был знаменитым в городе спортсменом, подавал надежды, красиво гонял мяч и шайбу и нырял лучше всех. И каждый раз, когда он появлялся на берегу канала, пацаны заискивающе просили его нырнуть. Терехов никогда им не отказывал, он знал: его «подвигами» малолетки хвастают, даже играют в «Терехова», как он когда-то играл в «Хомича». И он нырял, проплывал под водой половину канала, метров сорок, плыл в черноте, иногда касался руками камней, из которых было выложено дно, а потом, когда канал, тяжелевший с каждой секундой, начинал придавливать его к этим камням, Терехов шутя летел вверх, пробивал головой теплую у поверхности воду и видел, как ребята махали ему с берега.

Но главные фокусы надо было показывать в августе, в пору лопающихся стручков акации, когда буксиры вели в Москву из-под Камышина и Сталинграда баржи с арбузами. За баржами плелись черные пустые лодки, а на боках барж висели пузатые шины, отбегавшие свое по сухопутью. Лодки и шины эти помогали Терехову забираться на арбузные баржи, Терехов словно снимал вражеский пост или, как Айртон в «Таинственном острове», пробирался на корабль к пиратам, плыл беззвучно, пронирывал по десятку метров и в лодку влезал тихо, подтягивался обвязанной на шину и оттуда на баржу, к горе полосатых арбузов. За ним на баржу выкарабкивался Севка, тащил во рту щепку, вроде бы кортик, глаза у него были озороватые и чуть-чуть испуганные. Можно было хватать арбузы и прыгать в воду сразу, но Терехов с Севкой ждали до тех пор, пока кто-нибудь из экипажа не замечал их. Речники с криком выскакивали из каюты, завешанной мокрым бельем и рваными тельняшками, неслись к ним, матерились, а Терехов с Севкой все стояли и только в самый

последний момент, когда их уже могли схватить, они с воплем прыгали вниз.

Ребятишки на берегу съедали эти два арбуза и только нахваливали. Один Олег Плахтин отказывался от протянутого ему сахарного ломтя. Он говорил, что не будет есть краденое. Олег стоял со сжатыми губами и казался Терехову похожим на Тимура или на кого-нибудь из молодогогвардейцев. Терехову становилось стыдно, но только на секунду, а потом он доказывал самому себе и всем, что дело тут не в арбузах, а в том, как они с Севкой, рискуя жизнью, пробрались на вражеский корабль...

Все это было очень давно, в детстве, в жаркие дни, а сейчас сыпал холодный дождь, и Севка где-то километрах в сорока от Сейбы ковырялся со своим трелевочным, а Олег Плахтин переезжал в семейное общежитие вместе с Надей...

4

В коридоре пахло жареным мясом.

Дверь была закрыта, и Терехов постучал. Сердитый Чеглинцев высунулся через секунду и расплылся в улыбку: «А-а, начальник!» Суровый Василий Ипольнов привстал из-за стола и подался вперед, словно грудью желал закрыть бутылки на столе. Соломин, согнувшийся над плитой, улыбнулся заискивающе.

— Думал, думал и надумал, — сказал Терехов.

— Ну чо ж, — проговорил Ипольнов, — если надумал...

Глаза его смотрели на Терехова и вроде бы посмеивались.

— Нет, — сказал Терехов, — уговаривать я не буду.

— И на том спасибо, — кивнул Ипольнов.

— Садись, садись, — заспешил Чеглинцев и ловко, одной левой за ободранную ножку, подал Терехову стул.

Терехов плюхнулся на фанерное сиденье и стал изучать стены, словно попал в эту комнату впервые. Стена над кроватью Соломина была голубая и пустая, красно-белый плакат, рассказывающий стихами о развитии химии («беритесь умело... всенародное дело»), гвоздями накрепко прибитый над кроватью Ипольнова, бывшего бригадира, подчеркивал его сознательность, а чеглинцевский угол заняли легкомысленные фотографии красивых женщин, вырезанные Чеглинцевым из польского «Фильма» и журналов мод.

— Вон та симпатичная, — сказал Терехов, — слева.

— Ну! — расплылся Чеглинцев. — Беата Тышкевич.

Терехов вспомнил, как вчера ребята толкали машину Чеглинцева и как потом заглядывали в кабину и все посматривали на знойных женщин, приклеенных к зеленому металлу. И тут он снова вспомнил вчерашний день, и ему стало тоскливо, и он понял, что забрел в эту комнату поневоле, что просто он оттягивает визит к Олегу с Надей, а явиться к ним надо хотя бы из вежливости.

— Сейчас, сейчас, — пообещал Соломин.

— Она на четвертой стадии, — сказал Чеглинцев.

Длинный нож Соломина ковырял, колот картошку и бурные куски мяса, переворачивал их и играл с ними. Медвежатиной была «на четвертой стадии», а Терехов знал, чего стоит возиться с ней. Красное, порубленное на куски мясо бросают в кастрюлю с кипящей водой, варят терпеливо и долго, а потом вываливают на горячую сковородку с подрумяни-

вшимся уже картофелем и пожелтевшим луком. Потом мясо надо тушить и добавлять черный перец и лавровый лист, а потом жарить снова и наращивать корочку, горелую, такую, чтобы хрустела на зубах. Бросать мясо со сковородки в кастрюлю и потом колдовать над ним, как сейчас колдовал Соломин, и все для того, чтобы выгнать, вытравить привкусы и запахи таежного зверя, мотавшегося в бурой мохнатой шкуре, потеплее поролоновой, пропавшего во время гонов и лазаний, выгнать и вытравить непривычный нынешним людям мускусный привкус природы, грубые, толстые волокна медвежьего тела смягчить, облагородить, сделать их похожими на мясо мирного телянка, жевавшего резиновыми губами зеленую травку.

— Выпить бы, что ли, — сказал Терехов.

— А ты пьющий? — спросил Ипольнов.

Терехов нахмурился. После мирного, вызванного ожиданием еды разговора усмешка толстых губ Ипольнова и выражение его глаз удивили Терехова.

— И пьющий, и курящий, — сказал Терехов, — и матом ругаюсь.

— Не видал, не слышал, — усмехнулся Ипольнов.

Он сидел напротив Терехова у квадратного стола, открытого клеенкой и куском газеты, за зелеными бутылками «Особой московской» и кривил губы, развеселый, здоровый парень, с золотым зубом, как с медалью, гармошку бы ему в белые руки, и картуз с цветком на кудрявый чуб, и хромовые сапоги, и девок, лущающих семечки.

— Что-то скучно стало, — неуверенно проговорил Чеглинцев и покосился на Ипольнова.

— Пить никак не начнем, — подмигнул Ипольнов.

— Слушай, Соломин... — строго сказал Чеглинцев.

— Ага, ага, — заторопился Соломин.

— Садись, садись, — буркнул Ипольнов. Сказал, как приказал.

Чеглинцев кивнул и стал разливать водку в стаканы.

Выпили и начали жевать, и наступила деловая тишина, которая приходит всегда после первой рюмки, только вилки и зубы работали. Выпили еще, и стало теплее и ленивее, и небо уже не казалось таким скучным, а Чеглинцев принялся расхваливать жареную медвежатину, похлопывая по-отечески Соломина по плечу, и Терехов с Ипольновым ему поддакивали. А угощение на самом деле было вкусным, и мясо, и картошка с корочкой, и даже зеленые стрелки черемши. Терехов давно не ел с таким аппетитом и хвалил Соломина искренне. Соломин сидел красный от водки и довольный и все спрашивал: «Ну как? Ну как?» — и радовался каждому ответу.

— Кушайте, кушайте, — приговаривал Соломин, а лицо его при этом становилось таким добрым и ласковым, словно он был поваром, кормившим ревизора из треста питания.

Терехов жевал и думал о том, что он так и не привык к Соломину. Столько его уже знает, а привыкнуть не может. И понять не может: то ли это парень себе на уме, играющий придуманную им роль маленького человечка, услужливого и безответного, то ли он на самом деле такой забитый и тихий, денщик делового Ипольнова? А ведь ему не так уж трудно было бы стать человеком независимым, его руки умели делать, наверное, все, да еще как, вот и повар из него мог получиться хороший.

— По третьей, — подмигнул Ипольнов.

— Слушай, начальник, — сказал Чеглинцев, — ты бы нам какую-нибудь машину выделил до Кошурникова. Заваливаю.

— Пешком пройдетесь, — сказал Терехов.
— Это же благородно. Мы тебя поим, кормим...
— К попутной прицепитесь.
— Он Будкова боится, — вступил Исполнов. — Вдруг тот узнает, что Терехов дезертирам машину дает.

— Ладно, пошли вы со своим Будковым к черту! — нахмурившись, сказал Терехов и залпом выпил водку.

— Будков тебе покажет! — Исполнов уже смеялся. — Сойдетесь вы с ним, как два петуха. Только он петух размером со слона!

Терехов молчал потому, что водка и медвежатина сделали его благодушным и спокойным, и потому еще, что он понимал: в самые ближайшие дни, а может быть, и завтра, жизнь его пойдет беличьим колесом, и будут в ней крики, обиды и нервоотрепки, и вообще начнется всякая дребедень. Такое было предчувствие, и Терехов верил в него. А потому он старался хотя бы сегодня не думать о вещах серьезных, отключиться от них, расслабить мышцы, как боксер перед боем. И он молчал, и его на самом деле не трогали уколы Исполнова, а Исполнов, чувствуя это, злился и в то же время понимал, что бьет кулаками по воздуху, и у него пропадал интерес к разговору, он даже пальцами щелкать перестал.

Выпили еще, и потом Чеглинцев нагнулся, крикнул: «Алле гол!» — зеленая бутылка вылетела откуда-то из-под стола, перевернулась в воздухе, свечкой встала в шершавой ладони Чеглинцева. «Маэстро, музыку!» — закричал Чеглинцев и стал ладонью бить по дну.

Терехов смеялся. Движения Чеглинцева были легки, богатырская грудь его ходила под синим лавсаном рубашки, и Терехов с удовольствием глядел на него. Терехов смеялся, и Чеглинцев смеялся, и Соломин радостно кивал головой, словно кланялся, и ослепительные женщины с голыми плечами подмигивали с голубой стены и смеялись беззвучно. Отставил стакан Чеглинцев и начал петь; что он там пел, Терехов не разбирал, да и не вслушивался в слова песни, но что-то в них было жалостливое и грустное. Исполнов с Соломиным стали подпевать Чеглинцеву, а Терехов, разомлевший, скинувший куртку, громче, чем надо, стучал по столу ладонями.

Он сидел сытый, довольный и теплый, и за окном, наверное, была жара, и ребятня прыгала в ленивую воду канала и визжала от радости, хотя откуда здесь мог появиться канал? «Хорошо, что я пришел сюда, — думал Терехов, — хорошая медвежатина. И парни отличные... Я их уговорю. Они останутся. Где еще найдешь таких парней... Таких мастеров... И Исполнова я люблю. Всех...»

— Вы отличные ребята... — пробормотал Терехов.

«Точно! — улыбнулась Терехову красивая женщина с голубой стены. — Все вы отличные ребята!» Она все улыбалась, и ослепительная Беата Тышкевич стала ей кивать. И все красивые женщины заулыбались с голубой стены. Где только выращивают таких, чем их кормят, чтобы они такие получались! Жизнь пошла веселая! Там, на голубой стене, особая страна с яркими и сладкими порядками. А у них, здесь, своя страна, и сапоги танцуют по грязи. А теперь — пожалуйте! — граница сметена, выкинуты полосатые будки, их можно пустить на дрова, хохочущая Беата Тышкевич встречает тебя, тысячи Беат Тышкевич, рыжих, медных, лиловых, пепельных... и поют скачущие слова...

— ...а Терехову, значит, привет?

— Что? — спросил Терехов.

— Невеста-то твоя, — сказал Чеглинцев, — замуж выходит...

— Какая невеста? — удивился Терехов.

— Какая невеста? — тоже будто бы удивился Исполнов.

— Ну как же! — заулыбался Чеглинцев. — Все тогда говорили, что она его невеста. Помнишь?

— Надька-то? — спросил Исполнов и сощурил хитроватые глаза. — А я думал, у него с врачихой, с Илгой, любовь.

— Назревает! — захохотал Чеглинцев.

Терехов встал. Неуклюже потопал к двери. Все начиналось снова. Не было голубой страны и фиолетовых волос Беаты, был сегодняшний день и вчерашний день, а Олег Плахтин женился на Наде.

5

Надо было идти к Олегу и Наде, утром он обещал, да если бы и не обещал, все равно надо было идти. Но Терехов все стоял под дождем, в распахнутом плаще, смотрел в небо и языком ловил капли. Капли казались вкусными и пахли сосной.

Терехов дошагал до семейного общежития, дошагал не спеша, все надеялся, что мокрый нервный ветер потихоньку выдует из него хмель. Но ноги его ступали нетвердо, и в сумрачном коридоре общежития он несколько раз дотрагивался рукой до стены, только так восстанавливая равновесие, а когда кто-то попадался ему навстречу, Терехов бормотал невнятное, и лицо его становилось добрым и виноватым.

Надя сидела у окна и вязала.

— Привет, — сказал Терехов бодро.

— Павел! Пришел! Какой ты молодец! — Надя вскочила стремительно, подлетела к Терехову с сияющими глазами, жала ему руку и радовалась. — Ты раздевайся! Раздевайся...

— Сейчас...

Терехов снимал плащ долго, и вешал его долго, и капли стряхивал медленно.

— А Олег где? — спросил Терехов.

— Я его в Сосновку отправила. В магазин. Нам в среду расписываться назначили.

— Да, — сказал Терехов, — я забыл, я тебя поздравляю.

— Спасибо, Павлик. Спасибо.

— Ты счастливая?

— Ага...

— Ну, конечно... — сказал Терехов.

Он еще что-то говорил, и она отвечала, и он снова говорил, и все шло как нельзя лучше. Все эти несчастные мокрые метры дороги от Чеглинцева Терехов думал о том, как он будет неловко и фальшиво произносить вежливые слова, обозначающие его радость, то самое чувство, испытывать которое он сейчас не мог, и как Олег и Надя станут неуклюже и фальшиво отвечать на его слова. Но Надя оказалась молодчиной, она начала так, словно между ними тремя и не было никаких иных отношений, словно все годы, как Терехов, Олег и Надя знали друг друга, они жили только для того, чтобы сегодня Олег и Надя женились, а Терехов радовался этому. Так или иначе, но Терехов с охотой и даже с облегчением принял ее тон и говорил веселые слова. Терехов подумал, что они с Надей прохаживаются шутя по бревнышку, перекинутому через щель в горах, и щель эта называется прошлым, а впрочем, может быть, прогуливался по бревнышку только один он, Терехов.

— Ты не обиделся, что мы тебе не сразу объяснили? — спросила вдруг Надя.

— Да нет, ну что ты! Все понятно было. Давно уже.

— Нет, ты просто не представляешь...

Она так и не договорила, и Терехов не понял, чего он не представляет, он только почувствовал, что здесь, в этом березовом тепле, его может развезти.

— Душно здесь, — сказал Терехов, — пройдемся, что ли?

Надя кивнула, и, пока она накидывала на плечи пальто, Терехов потоптался у двери, не очень ясно соображая, зачем понадобилось ему вытаскивать Надю на улицу из этой благонамеренной комнаты, не думает ли он, что на воздухе, под дождем, смогут вклиниться в их разговор иные слова?

Надя подходила к нему. Она была красивая, красивее всех на этой планете, а какие женщины на других планетах — никто пока не знал, и вот она бросила все и прикатила сюда, в эту хлябь, утыканную елочками, знаешь сам, почему все бросила и прикатила.

Надя подходила к нему, а с ним ничего не могло произойти, он не мог ни исчезнуть, ни пропасть, ни протрезветь.

Надя подходила к нему, и она была все такая же, как год, как два, как три года назад, и тайга совсем не изменила Надю, и глаза у него были все те же, синие, добрые, ждущие чего-то.

Она протянула ему руку, сжала ею кончики его пальцев и повела Терехова по коридору. Прикосновение ее руки обожгло Терехова, он шел сам не свой, взволнованный ее близостью, и Терехову казалось, что Надины глаза улыбаются ему. Он не мог идти так дальше. Он остановился.

— Что это ты вдруг со мной так? — сказал Терехов грубовато. — Мужа отправила в Сосновку...

Надины руки исчезли в карманах пальто.

— Я думала, тебя надо вести, — сказала Надя.

Коридор был пустой и гулкий, и черные углы его шептались, наверное, за их спинами. И улица была пуста, только они вдвоем плыли по грязи, сами не зная куда. А может быть, это плыли деревья и фанерные ящики домов, и сопки тоже плыли. Терехову теперь было все равно, ему казалось, что он успокоился и забыл все, забыл, как обожгла его Надина рука, а можно было снова прохаживаться по бревнышку, перекинутому через прошлое.

— Ты чему улыбаешься? — спросила Надя.

— Я-то? Ну как же! — сказал Терехов. — Я уже хотел стреляться, а теперь легче стало.

— Ты все дурачишься!

— Я человек серьезный. У меня трагедия...

Надя остановилась. Она стояла и смотрела на Терехова. Она смеялась, а в глазах ее было и любопытство, и удивление, и испуг, и просьба: «Не надо! Только не надо об этом», — все было, и Терехов скорчил рожу, чтобы успокоить ее и подтвердить, что он и вправду дурачится.

— Я тебя люблю, а ты выходишь замуж...

— Вот ведь как, — сказала Надя. — А я тебе не верю.

— Я сам себе не верю, но дело не в этом... Я тебе докажу... Хочешь, слово дам? Хочешь, поклянусь? Чтоб меня исключили из профсоюза...

Надя уже смеялась, она приняла игру, значит, все шло хорошо.

— Чем тебе доказать? А куда мы идем?

— Не знаю. Просто идем, и все.

— Слушай, так мы залезем в грязь. Или заблудимся и завернем в Монголию. А там не рубли, а тугрики... Их у меня нет...

— Иди, иди и не бойся. Только старайся не шататься.

— Я же еще и шатаюсь!.. Погоди, что я?.. Разве я тебе еще не доказал, что люблю тебя?..

— Значит, нет.

— Ах, так! Хочешь, я сейчас сломаю этот кедр, принесу сюда и брошу к твоим ногам. Или...

Надя смеялась, а Терехов тараторил, размахивал руками и если бы мог взглянуть на себя со стороны, то ужаснулся бы своему преображению. Но со стороны на себя Терехов взглянуть не мог, он смотрел на кран, стоявший метрах в пятидесяти перед ним, он видел только этот кран, все еще говорил, говорил, а сам уже думал о том, что произойдет дальше.

— Ладно, я тебе сейчас... — сказал Терехов, — сейчас я...

Руки Терехова были уже в карманах плаща, сырых и холодных, как погреба, сапоги его ступали чересчур уверенно, и Терехов чувствовал, что Надя не поспевает за ним, а может быть, она и не считала нужным поспевать. Но он не оборачивался, уже не болтал, и с лица его пропало выражение веселое и озороватое. Он шагнул к крану, гордости их нарождающегося поселка, шагнул деловито, и в голову ему стали лезть всякие неожиданные соображения о машинном масле, запасных частях и нехватке кирпича. Только у самого крана Терехов вспомнил, почему он свернул с дороги, и лицо его снова стало веселым и хмельным, и, обернувшись к Наде, Терехов начал раскланиваться перед ней неуклюже и глуповато, как коверный в цирке. Он хотел сделать реверанс, чуть было не свалился в грязь и, удержавшись, послал Наде воздушный поцелуй. Коверный был старомодный, ровесник немого кино и черных цилиндров, подвыпивший к тому же.

— Павел, ты зачем! Подожди, Павел!..

Лицо Нади показалось Терехову обеспокоенным, но он махнул рукой: терпи, мол, раз уж все это затеяли. Терехов степенно подошел к крану, похлопал его панибратски и вдруг подпрыгнул, уцепился за металлическую планку и, подтянувшись, оказался на первом ярусе решетчатой башни. Он цеплялся за планки, так и лез, не сразу сообразил, что ему мешает плащ, а сообразив, скинул его и даже не поинтересовался, упал он на землю или застрял где-нибудь над кабиной. Рядом шла вверх лестница, узкая и с тонкими палками ступенек, словно веревочная, но лезть по ней было безопасно, а потому и неинтересно.

Металлические перекладины были скользкие, и Терехов несколько раз чуть не сорвался. К тому же перекладины шли под углом, и руки все время скользили по ним. Но Терехов все лез и лез, ему и в голову сейчас не приходило, что он может упасть и разбиться, и Надины испуганные крики он не слышал.

Лезть по стреле было трудно. Терехов навалился на нее животом и полз по ней, полз долго, однажды, когда ноги поехали куда-то вправо, ему стало страшно, и он замер на мокром металле, снизу могло показаться, что он просто отдыхает и любит-ся таежными видами, а он лежал и успокаивал себя. Потом Терехов двинулся дальше и вспомнил вдруг, как в розовой своей юности во Влакхерме ночью на спор прошел по дуге моста через канал. Ночь стояла сухая, заклепки, похожие на шипы буга, помогали идти, и Терехов брел по дуге, засунув руки в карманы, посвистывал, видел метрах в двадцати под собой лунную рябь на воде, а в конце дуги на шоссе ждали его ошачливленные зрители и среди них Надя, с восторженными глазами. Если бы такие глаза были у нее сейчас...

Воспоминание это было совсем ни к чему; Терехов пополз теперь злее и ретивее, словно там, впереди, на конце стрелы, ждало его чудо. Но на конце ничего не оказалось, только два стальных троса сваливались с блока вниз и держали над самой землей тяжелый крюк, похожий на клюв. Ползти было уже некуда, и Терехов не знал теперь, что ему делать дальше. «Павел...» — донеслось снизу, и Терехов вспомнил, с чего все началось.

— Ты все еще не веришь? — заорал Терехов.

— Не верю! — крикнула Надя. Она не подзадоривала его, просто ей не хотелось врать.

Но он не сдвинулся с места, а продолжал лежать; дождь стучал по металлу прямо перед ним, и нервные, неуверенные струйки бежали к его лицу. Серый, как будто сложенный из кусков мешковины, намокшей теперь, распластался под ним поселок из трех улиц; Терехов видел его впервые с птичьей высоты, видел весь разом, и ему захотелось полежать здесь еще и разглядеть все внимательнее, чтобы потом передать на бумаге. Но Надя снова крикнула что-то, и Терехов напрягся, весь как бы съжился и боком свалился со стрелы, должен был врезаться в землю у Надиных ног, но не врезался, а вцепился в стальные тросы и повис под самым блоком.

— Теперь ты мне веришь? — кричал Терехов.

— Слезай, Павел, слезай!

— Ну уж нет! — Терехов раскачивался под куполом цирка, под самым небом.

— Тогда я... я сама полезу...

Маленькая фигурка там, внизу, шагнула к крану. Терехов прекрасно знал, что Надя и на самом деле ползет.

— Ну ладно, — сказал Терехов.

Он стал спускаться, делать это было очень трудно, и Терехов изо всей силы сжимал руками канаты, скрученные из проволоки. Земля была все ближе, Терехов меньше болтал ногами и начал даже на свистывать, но руки его ослабли чуть-чуть, и он сорвался и полетел вниз, обдирая ладони о проволоку.

Надя подскочила к нему, хотела помочь, но Терехов быстро поднялся сам и тут же сунул руки в карманы куртки, чтобы она не увидела кровь.

— Ты ушибся? Ты сильно ушибся? — Глаза у нее были испуганные и ласковые.

— Нет, — заявил Терехов, — все в норме.

— Ты пьяный, — сказала Надя уже сердито.

— Я пьяный, — кивнул Терехов.

Надя отвернулась, волосы у нее были мокрые, она



всегда следила за своей прической, а тут забыла о ней. Когда она снова взглянула на него, он увидел на ее щеках слезы, а может, это были дождевые капли.

— Значит, ты мне доказал... — сказала Надя.

— Да нет! — замотал головой Терехов. — Ты поверила, что ли? Я так... Пошутил. Выпил я...

Ладони здорово щипало, надо было бы смазать их йодом и забинтовать. Терехов взглянул вверх, увидел задранную в небо стрелу, ужаснулся и принялся ругать себя последними словами за идиотскую затею — просто было чудом, что он шел сейчас по земле.

— Нет, на самом деле, ты не думай, — начал Терехов, — я дурачился... Если что-нибудь и было, так давно прошло...

— У меня тем более, — сказала Надя резко.

— Это хорошо, что вы с Олегом... — кивнул Терехов. — Пора уж... Я тоже, наверное, скоро же-нюсь...

Надя повернула голову.

— На этой... На Илге... Знаешь, зуботехник, которая застряла у нас. Терехов выпалил эти подробности, будто Надя не знала, кто такая Илга и почему она застряла у них.

Дальше идти было некуда, они уже стояли около семейного общежития, топтались у крыльца и не смотрели друг другу в глаза.

— Ничего у нас не было, — сказала вдруг Надя.

— Да, — согласился Терехов, — ничего.

Он зашагал по улице, не оглядываясь, ладони щипало по-прежнему. Значит, был повод зайти к Илге, у которой имелись бинты и йод, и поводу этому Терехов обрадовался. Но вспомнил, что в комнате с Илгой живет Арсеньева, а перед Арсеньевой появиться навеселе он никак не мог. И Терехов решил походить еще по поселку и проветриться на совесть.

«Ничего у нас не было», — сказала ему Надя, и Терехов теперь знал точно: у них на самом деле ничего не было. Еще вчера он не позволял себе думать о прошлом, а теперь думал о нем легко и спокойно, словно вспоминал чужую жизнь.

Он видел Надю и себя в клочковатых влахермских картинах и возвращался к старому без боязни. Он знал Надю уже лет пятнадцать, а то и больше, помнил ее девчонкой с голубыми бантиками, «терчонком», как звали Надю из-за исковерканного ею словечка «чертенюк». Пацаны вились вокруг него долгие годы, дрались из-за права носить его коричневый чемодан со стадиона и до дома, бегали вместе с ними и девочки, похожие на мальчишек, вот и Надя была с ними. Он на нее не обращал внимания, он вообще снисходительно и без интереса относился к своей свите. Но Надя была дочерью отца друга, и, когда в пятьдесят втором арестовали Надиного отца, врача-терапевта Белашова, семья Тереховых приютила Надю. Терехов был к ней внимателен и заботлив. Он верил, что ее отца взяли правильно, спорил об этом со своим стариком, а к Наде относился по-братски.

Через год Надин отец вернулся, и она ушла домой. Но теперь Терехов выделял ее из своей свиты, улыбался ей, и сверстники Наде завидовали. Десять лет их городок жил спортом, где-нибудь в Палехе самыми именитыми людьми становились мастера лаковых шкатулок, на Магнитке — сталевары, во Влахерме же популярность создавали успехи на стадионе. С Тереховым раскланивались на улицах, как с большим человеком, а старички, помнившие Канунникова, Бутусова и братьев Старостиных, шептались ему в спину: «Андрея Павловича-то сынок... Года через два в сборной играть будет... Такой удар...»

Потом, когда Терехов стал постарше, Надя все время вертелась около него и на танцах, и на стадионе, и на улице. Терехов привык к тому, что она была все время рядом, а почему — это его не интересовало. Терехов рано узнал женщин, все получилось просто, это про их городок, наверное, позже написали песню, прилипчивую, как семечки: «...населенье таково: незамужние ткачихи составляют большинство». Терехов считал себя человеком взрослым и опытным, и длинная, худая девчонка, всегда бронзовая и словно бы звонкая от солнца и ветра, была для него обыкновенной мелюзгой, чуть ли не воспитанницей детского сада. Терехов очень удивился, когда кто-то ему сказал, что эта босоногая деви-

ца — гордость их школы, что она наверняка получит золотую медаль и у нее большие математические способности. Терехов тогда даже присвистнул. Сам он сбежал из школы уже после шестого класса, и ко всем, кто продолжал учиться, относился с презрением и вместе с тем с завистью.

Иногда Терехов чувствовал Надины взгляды, она тайком любовалась им, а поняв, что открыта, вспыхивала и готова была наговорить Терехову грубостей, но он делал вид, что ничего не заметил.

Когда его провожали в армию, дни были жаркие, и Терехов жадничал, старался любую свободную минуту провести на травяном берегу канала. Оказавшись на плоту, Терехов растянулся на шершавом стволе сосны и закрыл глаза. Он лежал, пытаясь ни о чем не думать, и кто-то дотронулся до его плеча. Терехов открыл глаза и увидел Надю. Она лежала рядом на бревнах, черная, вся в взблескивающих каплях. Лицо у нее было серьезное и сердитое, словно она собиралась сказать ему что-то важное. Но она молчала, и Терехов закрыл глаза. Сколько времени прошло, он не знал, только потом услышал шепот: «Павел... Терехов... я тебе назначаю свидание... сегодня вечером... на танцах...» Терехов кивнул, а может быть, только собрался кивнуть, он тут же услышал всплеск и потом шлепки по воде.

Вовсе и не собирался вечером Терехов идти на танцы. В других местах обещал он быть, во многие хмельные компании был приглашен — не одного его брали завтра в армию. Но Терехов не мог не зайти на стадион, просто так — попрощаться.

Дощатые трибуны были темны, и поле будто измазали черной краской, и гаревая дорожка, истыканная шипами, вела прямо на черное небо. Только над асфальтовым кругляком горели лампы. Терехов хотел было прошмыгнуть мимо танцующих к выходу, но не смог. На скамейке, у асфальтового кругляка, он увидел Надю.

Терехов смотрел на Надю из ночи, видел, как подходили к ней парни и приглашали ее танцевать и как она качала головой. Она словно бы светилась в толпе, и такая она была неожиданная и красивая, что на скамейку ее никто даже не присаживался.

Не имел Терехов времени, и ни к чему ему было шаркать подошвами, но он почувствовал вдруг жалость к этой девочке, сбежать от нее было сейчас нечестно, и Терехов шагнул в световой круг.

Надя увидела его сразу. Она быстро поднялась и пошла ему навстречу. Идти надо было через асфальтовый пятак. Она пробиралась к нему, и ломанные движения танцующих не могли остановить ее. Она шла к нему, глаза у нее были счастливые; все смотрели на нее, обсуждали ее, а она видела только Терехова.

— Ты пришел... — сказала Надя.

— Да... — пробормотал Терехов, — задержался я... Она ждала его часа три, а может быть, и все пять.

— Будем танцевать? — спросила Надя.

— Танцевать? — растерялся Терехов. — Ну давай...

Крутили «Рио-риту» или другую довоенную румбу. То был год первого легкого прощенья джаза, и радиоузел к рентгеновским пленкам «на костях» с записями блюза «Сан-Луи» и песен Лещенко, добытых у спекулянтов, прикупил новые пластинки Апрельского завода. Там были престарелые танго, румбы и фокстроты, долгие годы предаваемые анафеме и теперь переименованные в медленные, быстрые и теперь быстрые танцы.

— Платье кто шил? — спросил Терехов.

— Я сама, — быстро сказала Надя, — из маминых...

Танцевать с ней было легко, и Терехов даже пожелал, что пластинка так быстро кончилась. Потом

завели новую, и Терехов пригласил Надю. Он глядел на нее, любовался ею. И даже расстроился на мгновение, что он сам такой старый.

Как дань уходящим вкусам завели падеграс, и площадка тут же стала пустой, только двое пацанов-семиклассников дурачились под музыку, да они с Надей начали танцевать. Терехов понимал, что завтра по Влахерме поползут всякие разговоры и больше всего достанется Наде, но остановиться не мог, шел за Надей в танце, замороженный ею. А она забыла обо всем, двигалась плавно, и красиво, и озорно, черт знает откуда взялся у нее этот талант! Все вокруг притихло и глазели на них. Им даже захлопали, и Надя, смутившись, потянула его за руку к скамейке, и шла она павой, и всем в голову могло прийти, что она на самом деле невеста. «Только чья?..» подумал Терехов.— Ясно чья». Он рассердился и сказал:

— Ну, я, пожалуй, пойду...

— Никуда ты не пойдешь. Танцы еще не кончились...

— Привет тебе,— сказал Терехов,— у меня времени вагон.

В той сказке, которую она себе придумала, ему, видно, отводилась особая роль, но он эту роль не выучил, и Надя обиделась.

— Ну тогда, ну тогда...— сказала она, нахмурившись,— мы сейчас погуляем. Так все делают после танцев.

— Все взрослые,— сказал Терехов.

Но она пропустила мимо ушей его слова, взяла за руку и потянула за собой. Терехов, пряча улыбку, пошел за ней.

Надя вела его быстро. По знакомой тропинке шагали они к притихшему каналу. Это была обычная дорога «гулявших» после танцев, Терехов не раз проходил по ней, но откуда она узнала ее? Терехов боялся, как бы они не наткнулись на парочки, были тут укромные места, и не этой малолетке видеть ночную любовь.

— Терехов,— начала Надя,— мне нужно сказать тебе...

— Ну давай.

— Завтра ты уходишь в армию... Я буду тебя ждать.

— А зачем?

— Когда мужчина уходит в армию, его должна ждать женщина...

— А ты, значит, женщина...

— Я люблю тебя, Терехов. Я буду писать тебе письма.

— Ну ладно,— сдался Терехов,— пиши письма.

— Хорошо бы началась война. Тебя бы ранили, а я вынесла бы тебя из-под пуль...

— Что ты городишь! Ты не знаешь, что такое война? Ты забыла, что твоя мать погибла в сорок третьем?

— Пусть на этой войне никого не убьют. Только тебя ранят.

Она отвернулась, стояла молча, обиделась, наверное. Все это она вбила себе в голову всерьез. Терехов держался от нее поодаль на всякий случай— вдруг ее сказка кончится поцелуем перед разлукой. Ему хотелось говорить слова грубые и пошлые, чтобы поняла она, с кем имеет дело. Он был готов сказать ей, что ночевать сегодня пойдет к своей «бабе», одной из тех самых незамужних ткачих.

— Сколько тебе лет?— спросил Терехов.

— Пятнадцать... Пятнадцатый...

— Совсем малолетка... Доживи до моих лет...

Терехову было уже девятнадцать, и в футбол он играл в первой мужской команде.

— Взрослая я,— обиженно заявила Надя.

— Хорошо, хорошо. Жди. Жди, если хочешь.

— Я буду твоей невестой,— сказала Надя.

— Ну давай,— вздохнул Терехов.

— Если ты не хочешь...

— Еще как хочу...

Терехов не видел ее глаз, но по тому, как Надя произнесла последние слова, он понял, что она может сейчас зареветь. «Ну вот... Довел девчонку...» Но тут же Терехов подумал, что так и надо, хорошо, что он был жестоким, пусть отшатнется от него, пусть обидится на него, иначе потом будет больше.

— Пойдем, я тебя провожу,— сказал Терехов.

— Ты спешишь?

— Тебя, наверное, ищет отец.

— Отец знает, что я ушла на свидание.

— Привык?

— Сегодня у меня первое...

Никакого своего первого свидания Терехов вспомнить бы не смог... Была какая-то гулянка, он был пьяный, и женщины были пьяные.

Терехов достал сигарету и закурил.

— Дай мне,— сказала Надя.

— Молода еще.

— Хорошо. Я пойду. Можешь меня не провожать.

Она шла быстро, почти неслась, и Терехову пришлось бросить сигарету, иначе он мог отстать от нее.

— Сворачивай на ту тропу,— сказал Терехов.

Она бросила ему на ходу:

— Я прошу не провожать меня.

Терехов остановился и пожал плечами. Потом он шел за ней по главной улице, шел не спеша, так, чтобы она не могла увидеть его и услышать его шагов, шел на всякий случай— вдруг ей понадобится бы его помощь.

Он так и не спал всю ночь, утром голова гудела, и снова ему лили водку. Потом в кузове грузовика отвезли их в Дмитров, в зеленый переулочек к военкомату. Около военкомата усохший майор, упоенный свалившимися наконец на него работой и подчиненными, давал указания. Снова прощались, пели песни, раздувались гармошечные бока. Терехов жал кому-то руки, с кем-то хотел подраться, но тут же помирился и обнял своего недруга. Потом он стал целоваться с родственниками, друзьями и людьми незнакомыми. И вдруг Терехов сообразил, что поцеловал Надю. Надя стояла перед ним. Приехала в Дмитров, словно не было у нее самолюбия, снова надела свое белое платье, все пялили на нее глаза, а она протягивала ему платочек с синими вышитыми цветами. А когда она сказала ему: «Напиши»,— Терехов буркнул в ответ: «Ладно».

Он написал. Раньше он никогда не связывался с письмами, а в армии стал их любителем. Поддался общей болезни. Во взводе у них даже шло соревнование, кто больше получит писем. Почту раздавали, как награды. Надя никогда не подводила Терехова. Многие письма солдаты читали вслух. Надины чтению не подлежали. Терехов боялся, что солдаты, услышав ее слова, будут смеяться.

А она между тем ничего смешного не писала. И о первом свидании своем не вспоминала. Может быть, другие парни начали интересоваться ее больше. А может, не вспоминала из-за своей гордости. И правильно делала. Терехову, когда он садился за письма к ней, в голову приходили слова строгие и назидательные, какие он, будучи вожатым, произносил своим пионерам. И он писал ей о сложности международного положения, о том, как трудно быть отличником политической подготовки и по утрам ползать под колючей проволокой по-пластунски. На полях он

обычно рисовал всякие забавные фигурки. В части их оказалась хорошая изостудия, Терехов и во Влахерме серьезно относился к живописи, но положение спортивной звезды заставляло его стесняться своего увлечения и делать вид, что оно так, ерунда, а тут он торчал в студии.

Когда он вернулся домой из армии, его замотало, как мяч по футбольному полю. Вечно являлись гости, щупали значки на его гимнастерке, вспоминали о своей службе, пили, пели, сам он ходил в гости, подолгу и с увлечением говорил о гранатометах, танках, шныряющих по дну рек, ракетах, похожих на карандаши, ну и о сидении на «губе». В этой карусели иногда вспоминал он о своих житейских планах, но мысли о них были мимолетными и уходили тут же подальше. Смутными были и видения девочки в белом платье, которую надо было навестить хотя бы из вежливости, тем более что она жила в одном с ним доме. Но он ее так и не навестил, ходил по другим адресам и только, отправившись устраиваться электриком на фабрику, увидел ее на улице.

«Вот тебе раз», — удивился Терехов. На пыльной влахермской улице среди озабоченных очередами женщин модная девица, взрослая совсем, в юбке колоколом и в туфлях на высоких каблуках, казалась удивительной. Вид у нее был независимый и деловой, волосы Надя отпустила длинные и выкрасила их в розово-рыжий цвет.

— Ничего себе нынче молодое поколение пошло, — сказал Терехов. — Вам бы тяготы и лишения...

— Здравствуй, Терехов! — обрадовалась Надя.

Они поговорили так, будто виделись последний раз вчера вечером. Дела у Нади шли хорошо, решила она поработать на фабрике, а потом уже поступать в институт, ну теперь все так делают, сам знаешь. Ничего, пока интересно.

— Я там, в армии, — сказал Терехов, — два класса прошел.

— Я знаю.

— Ну да, — спохватился Терехов, — я же тебе писал.

С тех пор Терехов встречал Надю часто: в городе с шестнадцатью тысячами жителей трудное дело — не встретить ее. Разговоры их были шутливыми и легкими, и Терехов подумал, что детская Надина блажь прошла. Подумал почему-то с сожалением.

Работа на фабрике ему не нравилась, и деньги малые шли; их текстильный город вообще не мог дать Терехову настоящую мужскую работу, для Москвы нужна была прописка; интересовался Терехов заводами на соседних станциях, но ничего подходящего не нашел, посоветовался с отцом и махнул туда, где нас нет, — в Саяны. Стройка только складывалась, дни летели горячие, и Терехову было не до воспоминаний и писем. Он приходил в барак пошатываясь, падал на кровать и проваливался в черное и теплое. Однажды его разбудили, и, открыв глаза, он увидел в комнате Олега, Севку и Надю.

— А-а-а, это вы, — сказал Терехов, сказал так, словно он давно ждал эту троицу, а они все не появлялись.

Пока он спал, они уже успели все оформить и устроились с жильем. Терехов повел их по Курагине и показал достопримечательности. «Это она нас угостила, лентяев!» — смеялся Севка и показывал пальцем на Надю. И Надя смеялась.

Потом, когда Терехов остался вдвоем с Надей, он спросил:

— Ты чего это?

— А ты забыл, что я твоя невеста? — сказала Надя. — Забыл, да? А я по тебе соскучилась, Терехов... Не смогла я без тебя...

«Опять начинается детство», — подумал Терехов, — опять эта блажь...» А вслух сказал:

— Ну, валяй-валяй... Невеста так невеста. Я где-нибудь себе запишу, чтобы не забыть...

Севка сразу устроился на трелевочный, он и под Влахермой уже успел поработать на тракторе; Олега взяли в бригаду Терехова, а Надя попала к штукатурам. Она просилась в шоферы, показывала бумажки, но водителей набралось в Курагине тьма-тьмущая. И тут Терехов понял: очень здорово, что явились ребята и Надя с ними. Жил он последнее время со смутным и непреходящим ощущением беспокойства или тоски, оно казалось ему беспричинным, но вот приехала Надя, и это чувство исчезло.

Терехову было хорошо оттого, что теперь он каждый день видел Надю и говорил с ней, оттого, что она была под боком и никуда не могла деться. Иногда он даже думал: «А может, и впрямь невеста...» Но мысли эти Терехов гнал, он считал себя целовеком уставшим и испорченным, и нечего было ему ломать жизнь чистой девчонке. Снова, как и в ту ночь на берегу канала, он старался держаться поодаль от девицы в белом платье. Чтобы отбить всякие мысли о Наде, он ходил иногда в смурные компании, познакомился с молодухой из соседней деревни, и та не жалела для него самогона. Однажды утром он проснулся у нее в избе и услышал визгливый лай хозяйской дворняги, чьи-то крики и рев мотора. Терехов оделся быстро и выскочил из избы. Самосвал боком приткнулся к самому крыльцу. На подножке его стояла Надя, кулаки ее были сжаты, волосы ее путал ветер, и Терехов не видел Надиных глаз. Угнала чью-то машину и по горбатой проселочной дороге прилетела сюда. Стояла и повторыла:

— Как же это, Павел... как же это...

Терехов разозлился и закричал на нее:

— А что тебе надо? Кто я тебе? Муж, жених? Что я тебе, обещания какие давал, целовал тебя, врал тебе?

— Ты целовал меня, когда уходил в армию...

Терехов боялся, как бы она не заревела, только этого сейчас не хватало, но Надя и не думала реветь, стояла прямая, гордая и голоса не повышала.

— Ты понимаешь, Павел, что я теперь не смогу тебе этого простить... Никогда...

— Ну и хорошо! Ну и пошла к чертовой бабушке! — крикнул Терехов зло и хлопнул дверью.

Через день он уезжал из Курагина. Бежал. Впереди на трассе начинали строить станцию и поселок, только что мост перебросили через Сейбу, надо было врубаться в тайгу, и Терехов уговорил начальство отправить его туда. Собирали он свои вещи молча, и никто ему слова не нашел в дорогу, только Олег не выдержал и сказал ему в глаза: «Это подло, Павел». Терехов ничего не ответил, подтянул рюкзак и двинулся. Но на душе у него было мерзко, и, когда он вспоминал о девчонке, застывшей на подножке самосвала, вся прежняя жизнь казалась ему глупой и скверной. И еще он знал теперь, что любит Надю и любил ее все время.

Года полтора не видел Терехов Надю и Олега, только Севка наезжал иногда на Сейбу, но Терехов его ни о чем не спрашивал. А потом, когда поселок уже врос в тайгу, перегнали на Сейбу еще несколько бригад, и приехали с ними трое влахермских. Было это месяца четыре назад. Терехов встречал теперь Надю каждый день, и разговоры они вели такие, словно в прошлом у них ничего не происходило. Значит, не происходило.

В женском общежитии уже светились окна. Терехов прошел по коридору и постучал в дверь Илги. Услышав «войдите», толкнул дверь. В комнате была одна Арсеньева.

— Илга ушла,— сказала она.— На репетицию.

— Ладно,— смутился Терехов.— У нее есть бинты и йод?

— Есть.

— Я ободрал ладони.

— Вот тут, в тумбочке. Я сейчас достану.

— Давай.

— Я помогу...

Она сказала это жалостливо, могла, наверное, обидеться, и Терехов протянул ей ладони. Смотреть на них было страшно, и Арсеньева подходила к нему, сжав губы. Ватой, смоченной йодом, она протирала ему ладони, а Терехов морщился и качал головой.

— Как это ты?

— Да так...— загадочно проговорил Терехов.

Бинтовала она плохо, пальцы у нее дрожали, а бинт топорщился и сползал. Терехов все пытался сказать ей: «Ладно, я сам»,— но Арсеньева торопилась, нервничала, и Терехов терпел. Наконец она выпрямилась, и тогда Терехов с сомнением поглядел на неровные белые мотки и поспешил спрятать руки.

— Я перебинтую,— сказала Арсеньева.

— Ладно, хватит.

— Давайте, я перебинтую вам...

Она перешла на «вы», а это было совсем ни к чему, и Терехов сдался. Ее руки были мягкие и нежные, теперь они старались не спешить; Терехов чувствовал их прикосновения и думал о том, что сейчас им обоим неловко, странными и неестественными сложились между ними отношения, и виноват, наверное, в этом он сам.

Арсеньева была из туенядцев, высланных в места таежные на «перековку». Целую роту таких, как она, прислали в овощной совхоз на край минусинской степи. Перековки особой пока не происходило. Кое-кого из высланных тяготила их собственная компания, и они стали проситься на стройку. Вот и Арсеньева написала слезное письмо начальнику комсомольского штаба Зименко. Встретив Терехова, Зименко сунул ему в руки письмо, помолчал сколько положено и посоветовал взять эту самую девицу на Сейбу и вообще посмотреть в совхозе — может, еще кого стоит прихватить на стройку. Терехов поворчал, но в совхоз все же поехал ради любопытства.

Уходил он из барака туенядцев, как из зверинца, бормотал: «Да... Тут пожарную команду вызывать надо...»,— уводил сероглазую скромницу, повязанную платком, советовал ей сурово: «Обо всех этих штучках — забыть! Иначе...»

По дороге на Сейбу рассказывала она о себе, всхлипывала и рассказывала. О том, как пошла по своей тропке, о сумрачных днях в колонии и хмельных на свободе, о том, как вдруг пришла к ней любовь, самая настоящая, только поздно было: высылали ее в тайгу, по этапу. А он, гражданский летчик, остался в России, в Воронеже, обещал писать, а сам никак не напишет; она все ждет, а письма нет и нет, может, где-нибудь по дороге затерялось — конверты ведь крошечные, а может, лежит в Абакане на почте.

— Ничего, напишет,— успокоил Терехов.— Как зовут-то тебя?

— Аллой. Это на нашем жаргоне я — Аэлита.

Будкову поездка Терехова в совхоз не понравилась. «В России люди из-за путевок дерутся, а вы нам приводите всяких...» Но оформить Арсеньеву он все же согласился, потому что не хотел ссориться с Зименко. А Терехов знал: придет день, и Будков припомнит ему Арсеньеву; сощурит свои карие глаза и скажет: «Видите, погнались вы за модой, перевоспитывать-то теперь модно, а вышел конфуз». Об этом взгляде прищуренных глаз Будкова Терехов не забывал, и память о нем осложняла его отношения с Арсеньевой. Как только оказывался Терехов рядом с ней, он вспоминал о своей ответственности за ее новую жизнь и становился напряженным и неестественным. Он старался казаться лучше, чем был на самом деле, употреблял правильные слова, понимал, что это глупо, но подделать с собой ничего не мог. Может, из-за этого его дурацкого состояния и Арсеньевой жилось не сладко. Работа у нее не клеилась, а по вечерам сидела она одна, повязанная платком, как монашка, печальная и немая, и на все приглашения говорила «нет». И сейчас, когда она бинтовала Терехову ладони, он чувствовал себя неловко и все ждал, когда она закончит свое дело, и можно будет уйти из этой комнаты, сбежать в столовую, где собирались сегодня любители драматического искусства, большие мастера, и где была Илга.

— Спасибо,— кивнул Терехов.— Теперь хорошо.

— Вы садитесь,— сказала Арсеньева.— Вот же стул. Садись.

— Я хотел... Ладно...

Арсеньева попробовала улыбнуться, но ее улыбка быстро погасла.

— Погода жуткая,— сказал Терехов.

Она кивнула, прошептала: «И до Абакана не доберешься...» — значит, думала все время о своем летчике, и о том, что в Абакане, на почтамте, ждет ее не дожидается воронежское письмо.

— Илга ничего не говорила, когда придет?

— Нет,— сказала Арсеньева.

Терехов хотел встать и уйти, но в дверь постучали. Постучали резко и вместе с тем игриво. «Войдите»,— сказала Арсеньева. Дверь закричала, и бурая медвежья лапа появилась, лапа была с намятыми когтями, здоровая, продвинулась из-за двери и вцепилась в никелированную ручку. Арсеньева растерянно взглянула на Терехова, а Терехов усмехнулся. Дверь приоткрылась, и Чеглинец, помахивая медвежьей лапой, ввалился в комнату. «А, и начальник тут! — обрадовался Чеглинец. — Понятно. По естественным нуждам...» Чеглинец попытался засунуть лапу в карман брюк, уважительно раскланялся перед Арсеньевой, распрямился с трудом.

— Не знаю, к кому губернатор-директор, а я — к тебе.

Арсеньева промолчала и на Чеглинцева смотреть не хотела, а Чеглинец пожал плечами.

— Я сяду,— сказал он.— Я такой. Я простой...

Помолчали.

— А почему рты-то закрыты? — спохватился Чеглинец. — Меня, что ль, застеснялись? Я могу уйти... Хотя нет... Не уйду...

— Тишину слушаем,— сказал Терехов.

— Тишины не бывает,— сказал Чеглинец.— Покой нам только снится. Главное, ребята, сердцем не стареть.

— У тебя оно вообще-то есть? — сказал Терехов.

— На четыре килограмма. Во! Размером с футбольный мяч. Так и прыгает. Туда-сюда!

Физиономия у Чеглинцева была такая веселая и такая добрая, что, глядя на него, Терехов заулыбался. Но Арсеньева сидела монашкой, только раз на



мгновение позволила себе улыбнуться и тут же снова ушла в свой скит. Чеглинцев не выдержал, с шумом подъехал к ней на табуретке и будто бы незаметно положил руку на плечо. Арсеньева дернулась, вскочила резко, оленихой из тигровых лап, и молча застыла у окна, пальцем водила по чуть запотевшему стеклу.

— Ишь, какая пугливая, — сказал Чеглинцев. — Не поймет, видно, из-за чего я пришел... Терехов — тот из-за Илги. А я — из-за тебя.

И Терехову подмигнул: ты тоже уразумей, зачем я здесь появился, а уразумев, сообрази, что тебе здесь не место.

— Аллочка, — сказал Чеглинцев, — попрощаться с вами я пришел. Последний нынешний денечек гуляю

с вами я, друзья. Завтра начальник дает машину — и привет!

— Так я и дам, — хмыкнул Терехов.

— Дашь, — сказал Чеглинцев. — А у тебя, Аллочка, я для начала попрошу фотографию. Всему Сергачу буду показывать.

— Какую фотографию? Зачем? — Улыбка у Арсеньевой получилась искусственная, но сестра она села.

— В минуты разлуки, — заявил Чеглинцев манерно, — твоя улыбка поддержит теплящуюся во мне жизнь.

Чеглинцев сидел перед ней и играл страдания. Ресницы его хлопали, и глаза блестели, будто бы от слез.

— Медведя доели? — спросил Терехов.

Открылась дверь, и вошла Илга. Чеглинцев подмигнул Терехову и шлепнул ладонью по столу. Илга вспыхнула и не сразу кивнула Терехову, принялась искать что-то в тумбочке, движения ее были неловкими, она чувствовала, что Терехов смотрит на нее, и Терехов понимал ее, но что он мог поделать?

— Зуботехник, зуботехник, — сказал Чеглинцев, — погляди на мои зубы. Где найдешь еще такие.

— Да, у вас интересные зубы, — сказала Илга, — я бы посмотрела на них, если бы не спешила на репетицию.

— Рудик проводит репетицию? — спросил Терехов.

— Рудик. Терехов, я бы очень хотела, чтобы вы повлияли на Аллу, у нее сценические способности, а она сидит тут...

— Вот как? — удивился Терехов.

Длинная фраза и обращение к нему дались Илге трудно, Терехов это понимал; она покраснела еще больше и с места сойти не могла, стояла неуклюже, высокая, строгая, светловолосая, в мокрой кожаной куртке, похожая на комиссара, и книжку держала, как планшет.

— Ладно, ждут меня, — сказала наконец и быстро вышла из комнаты.

— Приветик, — взмахнул рукой Чеглинцев и подмигнул Терехову: давай, мол, гуляй.

Терехов встал и закурил сигарету. Поглядывал на Арсеньеву и Чеглинцева, но те не обращали на него внимания. Он чувствовал себя оскорбленным отцом, на глазах у которого соблазняли дочь. Еще пятнадцать минут назад он думал, что Арсеньева будет молчать, а потом даст Чеглинцеву по рукам, напомнит ему о своем воронежском летчике, выгонит его и снова застынет за столом в печали. Но она о летчике не вспоминала, и глаза у нее были не грустные, и руки Чеглинцева лежали уже на ее руках.

— Терехов, — обернулся Чеглинцев, — а я думал, ты ушел.

— Сейчас уйду, — кивнул Терехов, — вместе с тобой.

— Я не спешу, — сказал Чеглинцев.

— Мы уйдем с тобой, и сейчас.

Чеглинцев пожал плечами и отвернулся.

— Пошли, — сказал Терехов.

— Иди гуляй, — заявил Чеглинцев и захохотал.

— Вставай и пошли, — приказал Терехов.

Встал Чеглинцев. У двери обернулся, помахал Арсеньевой рукой, подмигнул ей: жди, не грусти, а Терехов подтолкнул его вперед, и по коридору они пошли быстро, а на крыльце остановились.

— Ты чего? — спросил Чеглинцев.

— Иди домой, собирай шмотки. А к ней не приставай.

Чеглинцев захохотал и повертел пальцем возле виска.

— А если это любовь? — хмыкнул он.

— Знаю я эту любовь в последний нынешний денечек.

— Помешали перевоспитывать?.. Или Севке сохранять?..

Они стояли друг против друга, никогда не злились друг на друга так, а теперь, в последний день, смотрели врагами.

— Ладно, — сказал Чеглинцев, — чего мокнуть-то...

Он уже открыл было дверь, но Терехов схватил его за руку и дернул так, что Чеглинцев вылетел с крыльца и, поскользнувшись, осел в грязь рядом с лужей. Он вскочил тут же, прыгнул, хотел ударить Терехова, но руку опустил и пальцы разжал.

— Ладони твои жалею, — проворчал Чеглинцев, — в бинтах они.

А подумал он не о бинтах, а о том, что уж если есть человек на Сейбе, который может набить ему морду, так это Терехов, когда он злой, и о том, что именно от Терехова зависит, получат ли они завтра второем машину или нет, и зачем его сердить, и еще о том, что воспоминание о ссоре с Тереховым, наверное, в его завтрашние солнечные дни будет горше воспоминания о неудаче с Арсеньевой. А Терехов стоял рядом, хмурый, наклонивший голову, ослабивший руки, но готовый принять боксерскую стойку, и ворчал про себя. Совсем ни к чему была ему эта драка, он вообще никогда не давал воли рукам, а тут дал; казалось ему, что он злится из-за всего, что случилось сегодня и вчера, и в драке хочет дать выход своему раздражению.

— Ну ладно, — не выдержал Чеглинцев, — напугал ты меня.

Терехов бросил сигарету в лужу и пошел в другую сторону. Он был мрачен и не знал, что ему делать. Он был мрачен потому, что не смог пойти с Илгой, не возникло у него никакого желания проводить ее и под руку провести мимо Надиных окон. Не мог он гулять с ней, потому что любил одну Надю.

Улица была пуста и темна. Терехов шел медленно и у фонарного столба неожиданно свернул влево. Через минуту он был уже у семейного общежития. Надины окна желтели; Терехова повело мимо них, и за столом в комнате он увидел Олега. Словно вспомнив о чем-то важном, Терехов поднял воротник плаща и быстро зашагал к Сейбе.



Кто-то прошел под окнами. Олег поднял голову и в синеве улицы увидел быструю длинную фигуру, тут же исчезнувшую. «Терехов?» — подумал Олег. Он положил ручку на стол и хотел было сказать Наде, что к ним идет Терехов, но раздумал и стал ждать шагов в коридоре. Надя забралась с ногами на постель и читала «Иностранную литературу». Олег любовался ею, ему очень хотелось подойти к Наде, взлохматить ей волосы и поцеловать ее, но он боялся, что постучит Терехов. Олег ежился, его знобило после того, как он, возвращаясь из Сосновки с набитыми сумками и рюкзаком, прошелся по мосту, через Сейбу и та, беспокойная сегодня, словно взбесившаяся, обдала его холодными брызгами, ледышками за шиворот попала, и к тому же потом случилось ему шагнуть с моста в яму с сейбинской водой и вымокнуть до пояса. Кроме этих мокрых и холодных ощущений, испытал он еще у Сейбы не очень понятное ему тревожное чувство, отделаться от которого он так и не смог. Эта тревога вместе с ожиданием Терехова не давала ему сосредоточиться.

Но Терехов в дверь не стучал, а шагов его в коридоре не было слышно, и Олег снова взял ручку.

Он долго, неделю уж, оттягивал разговор с матерью — так называл он свое письмо к ней, но сегодня Надя сказала: «Пиши», — и Олег сел за стол. Мать была далеко, за четыре с половиной тысячи километров, и о женитьбе его могла узнать только через пять, а то и больше дней, но Олегу казалось, что сейчас она видит его и слышит его мысли и курит нервно, положив ногу на ногу.

Известие о том, что он женится на Наде Белашовой, мать обрадовать не могло. Олег это прекрасно знал. И если бы они с Надей нынче были не в Саянах, а во Влахерме, все происходило бы в тысячу раз тяжелее. Надя забралась на кровать, молчала и смотрела в журнал, потому что не могла и не хо-



тела участвовать в его разговоре с матерью, все в их жизни. Они условились делить пополам, «фифти-фифти», а это досталось ему одному. Впрочем, Олег убеждал себя, что он просто выполняет формальность: есть такое понятие «долг вежливости», вот и нужно показать, что он человек воспитанный, а так ему наплевать, как отнесется мать к его женитьбе.

Но, по правде говоря, все было не так. Мать оставалась матерью, а он оставался ее сыном. И он знал, что для матери, несмотря на все, он был самым дорогим человеком на земле, и, понимая ее чувства, писал ей о своей жизни сухо и кратко, но писал, чтобы она была спокойна. Может быть, мать еще строила иллюзии о своих с ним отношениях, еще на что-то надеялась и не хотела примириться с тем, что они

стали чужими людьми. И однажды Олег попытался поговорить с ней откровенно и на равных, но мать рассердилась и оборвала его: «Ты еще будешь учить меня, ставить мне условия!.. А я жертвовала всем, растила тебя...» «Ну ладно, ну ладно, не будем об этом, не будем», — разволновался тогда Олег.

Если бы она расплакалась, если бы слабость или растерянность проявились тогда в ее глазах, в ее лице, Олег бы, наверное, не выдержал, подошел бы к ней и обнял ее. Но лицо у матери было суровым и сердитым, говорила она энергично, деловым голосом, как будто в кабинете отчитывала товарища за ошибки и заблуждения.

Больше Олег не пытался выяснять с ней отношения. Все было бы проще, если бы его отчуждение

было вызвано обидой. Но дело было не во взаимных обидах и недоразумениях, а в том, что мать стала человеком, по понятиям Олега, не отвечающим требованиям общества. Он понимал, что это естественно — не любить мать, но и не хотел заниматься ханжеством и доказывать самому себе, что он любит ее. Да, он был ее сыном, она дала ему жизнь, и он готов был заботиться о ней, но любить ее он не мог.

Олег вспоминал Влахерму, и почему-то ему ясно представился мост через канал, разрушенный в сорок первом, мост, который никакого отношения ни к матери, ни к нему не имел. Потом вспомнил себя совсем мальчишкой, дошкольником; был апрель, капало с крыш, но снег все еще лежал на улицах, грязный и мокрый, и хлюпал под ногами, а голос Левитана гремел из черного бумажного диска громкоговорителя, залатанного кусочками изоляции, и рассказывал о том, что нашими войсками взята Одесса. Олег натянул рваное пальтишко, перешитое из Сережкиного, надел галоши и выскочил на улицу смотреть салют. Даже если бы он залез на дугу моста, он и тогда не смог бы увидеть Москву и огни над ней, но во Влахерме стояла учебная часть десантников и по ракете отправляла в небо в поддержку каждого столичного залпа. Когда погасла двадцатая ракета, Олег отправился домой и в сыром подъезде столкнулся с почтальоншей Клевакиной. Он ее и днем видел возле дома, она бродила со своей сумкой и все поглядывала на Олега. Клевакина стояла растерянная и молчала, потом сунула ему в руки маленький конверт: «Вере Михайловне... Днем не успела я...» — и пропала в черноте. Олег поднимался на третий этаж с предчувствием чего-то страшного; мать, увидев конверт, побледнела и опустилась на стул. Потом она рыдала, и Сережка, старший брат Олега, ее успокаивал и сам плакал, и Олег ревел вместе с ними. Отец, которого Олег почти не помнил, погиб, «пал смертью храбрых». Олег понимал, что произошло жуткое, и все же, плача, он соображал, что завтра во дворе все будут его жалеть и сочувствовать ему, и взрослые парни разрешат ему ударить по настоящему кожаному мячу, а в военной игре с мальчишками ему дадут ржавый немецкий автомат. Мать все повторяла: «Мы теперь остались одни... одни...», — все глядела на фотографию, где отец был с капитанскими погонами, какие-то тетки со всего дома успокаивали ее: «Во всех семьях, милая, так». Одноногий дворник, царапая кулестей паркет, принес Олегу свой баян, дотронуться до которого Олег упрашивал года два, и Олег раздвигал истертые меха и плакал, так и заснул в тот день, положив голову на баян.

А через полгода мать снова рыдала, прижимала к себе Олега и повторяла: «Вот мы и остались с тобой одни». И Сережки не было рядом с ними, потому что два часа назад похоронили Сережку. Прибежали накануне соседи: «Ваш-то подорвался!». Все пацаны постарше возились с оружием, гранатами и минами, которые еще остались во влахермской земле после боев и десятидневной немецкой оккупации, вот и Сережка со своим другом Пашкой Тереховым в окопе у села Андреевского нашел смятый пулемет, дырявые каски и гранаты. Они затеяли атаку, и когда Пашка залег с пулеметом в окопе, граната разорвалась у Сережки в руке. Пашке оцарапало щеку, перепуганный, он тащил на себе приятеля километров пять до больницы, но там бинты понадобились только ему.

Недели две мать водила Олега с собой на фабрику, или мануфактуру, как называли ее старики из их дома, шагали они с матерью мимо краснотенных

казарменных громад, и за пыльными стеклами нудно гудели машины. Мать работала в фабкоме председателем; в кабинете было шумно, дым полз к форточке.

Она казалась ему старой, а ей было всего тридцать, но для Олега тогда все взрослые были старыми: одни совсем старыми, а другие, к которым он относил свою мать, чуть помоложе. Когда они оставались вдвоем, мать подходила к нему, гладила его волосы и приговаривала: «Только бы с тобой ничего не случилось...» В эти минуты она была совсем не похожа на деловую и энергичную женщину, сидевшую под портретами.

Олег тогда и позже не мог привыкнуть к этому раздвоению матери, способности ее на людях быть одной, а дома, с ним и близкими, словно бы превращаться в другого человека. Он знал, что во Влахерме ее называют голосистой; она и на самом деле говорила громко и грубовато, впрочем, в их городе вообще разговоры велись на повышенных тонах: жизнь почти всех влахермчан была связана с фабрикой, с ее гудящими цехами, заставлявшими перекрикивать машины. Но мать с любовью и гордостью называли голосистой за другое. Голосистой бывала мать на трибунах всяких собраний, и никто лучше ее не мог произнести речь, провозгласить здравицу или заклеить позором. Каждое ее появление на трибуне встречали аплодисментами; начинала она тихо, а потом рубила рукой воздух, только изредка успевала отбросить назад длинные, прямые волосы, говорила, как говорили, наверное, комиссары на военных митингах, и кончала так, что все вскакивали и кричали «Да здравствует...» и другие слова, относящиеся к повестке дня.

Центральная газета напечатала очерк «Государственный человек» о Вере Плахтиной; из Москвы иногда за матерью присылали автомобиль, новенькую «Победу», или «эмку», или трофейный БМВ, раскорячистый, как таракан, а чаще она ездила на паровике в столицу, там она заседала в важных комитетах: антифашистском, славянском, демократических женщин и еще каких-то, встречалась с именитыми людьми, все знали, что орден ей вручал Калинин, а однажды ей пожал руку Сталин. Вера Михайловна рассказывала об этом десятки раз, а ее все просили рассказывать снова и снова, требовали, чтобы она не упустила ничего, и мать все ездила и ездила по фабрикам и колхозам района.

Мать уезжала из Влахермы часто, иногда на недели, все выступала и заседала, как полагалось государственному человеку, а дела в фабкоме вел ее заместитель Семен Мокеевич Тришин, человек старенький, тихий и робкий, бывший бухгалтер.

Теперь, когда Олег оглядывался на послевоенные годы, он признавался себе в том, что жил тогда в атмосфере праздничной приподнятости. Думая же о том времени отвлеченно, он видел его каким-то очень сложным и трудным. Это подтверждали и многие теперешние книги и статьи, которые он читал жадно и с пристрастием. Но если приходилось ему вспоминать просто какие-то эпизоды тех лет, то радостные лица виделись ему чаще, чем мрачные. А жизнь его была не такой уж сытой. Мать никогда не пользовалась благами, которые могло дать ее положение. Олег часто бегал голодный и в рваных парусиновых башмаках, выданных по ордеру. Только прокатить сына вместе с другими ребятами в «Победу», приехавшей из Москвы, мать иногда решалась. Конечно, при всем при этом было волшебство детства, умеющего пользоваться розовым цветом. Но дело было не только в волшебстве детства. Не он один жил в те годы праздником.

К тому благодушному и праздничному ладу, считал Олег, очень подходила его мать. Он гордился ею в те годы. Мать ходила по немощеным улицам Влахермы энергичной мужской походкой, говорила громко и властно, курила «Беломор», носила строгий костюм с белым воротничком, а иногда и гимнастерку. В комоды ее лежали довоенные платья и лаковые черные лодочки на толстых каблуках-обрубках. Платья были давно забыты, а туфли мать иногда надевала, отправляясь в Москву, дома же обходилась стоптанными ботинками и сапогами. Вид у нее был решительный и боевой; позже Олег узнал, что на случай, если бы немцев не сразу вышибли из Влахермы, мать должна была стать комиссаром партизанского отряда, и оружие на боку ей, конечно бы, пошло. Она была красива, это признавала вся Влахерма, строгая и суровой красоте ее подражали фабричные девчонки: и двигались тяжеловато, по-мужски сгибая руки в локтях.

А дома мать становилась другой, приходила она поздно, проверяла табель и тетрадки, хвалила сына, и тут же звонил телефон, и она деловым, усталым голосом снова говорила о премиальных, путевках, увольнении, квартирах, ругала кого-то за то, что на вчерашние похороны не явился духовой оркестр. А потом мать сидела и курила, молчала, смотрела на фотографию отца, раскрашенную ретушерами за десять рублей, и на Сережкины рисунки танков и подводных лодок, похожих на крокодилов. Возвращаясь в земное из своих раздумий, мать говорила рассеянно: «Ты еще не спишь... Надо спать... Завтра много дел».

Часто она приходила совсем поздно, когда он уже спал в своей комнате, его укладывала одна из сестер матери, тетя Феня, одинокая и несчастливая женщина, безропотная и испуганная, прозванная Чокнутой. Она жила рядом, и стряпала, и стирала, да все почти делала по хозяйству. Иногда Олег просыпался ночью, слышал за дверью чьи-то голоса, смех матери, гитарный перезвон, шипение патефонной иглы. Олег лежал с открытыми глазами и боялся чего-то. Дверь скрипела, мать, скинув туфли, подходила к его кровати, стояла над ним и шептала что-то, от нее пахло вином и духами, Олег застыл, деревенел, изображая спящего, а мать гладила его волосы. Олег так и не мог заснуть, пока не уходили, посмеявшись в передней, ночные материнины гости, а наутро он бродил волчком и старался не смотреть ей в глаза. Но однажды, он учился уже тогда в пятом классе, Олег не выдержал, соскочил с кровати и, как был в трусах и в майке, рванул дверь и вошел в гостиную. Там сидели трое мужчин в зеленых и синих френчах, и еще бухгалтерша с фабрики, но Олег смотрел только на мать. Она застыла на диване, положив ногу на ногу, волосы ее растрепались, а глаза глядели пьяно и испуганно. Она вскочила тут же, вытолкала гостей в переднюю, и те ушли, смутившись, молча, а мать прибежала, бутылки и окурки поубирала со стола и кинулась к Олегу. Он сидел на кровати и ревел, она обняла его и тоже заплакала, говорила много и нервно, говорила о войне и еще о чем-то, но успокоить его не могла — с ним в ту ночь была истерика. Через день мать водила его в больницу, врачи нашли истощение нервной системы, посоветовали съездить к морю. Мать отправила его сначала в Артек, а потом на пароходе до Астрахани и обратно. Гостиной она больше не приводила, возвращалась домой раньше, но хватало ее ненадолго, снова стала заявляться ночью, а то и под утро.

По Влахерме поговаривали о том, что мать гуляет, но без злорадства и возмущения, а даже с со-

чувствием. Как-то Олег возвращался домой с пионерского сбора, и парень из их класса толкнул его в бок: «Видишь, тот дядька, так он...» Олег прибежал домой, мать сидела перед зеркалом, губы красила, и Олег выпалил ей в лицо: «Как ты можешь! Это же фальшь, ложь это!.. Как ты можешь жить так! Что о тебе говорят! Разве могут большевики быть такими!» Мать поднялась быстро, подошла к нему, а он застыл перед ней, решительный и даже торжественный, в белой рубашке и алом галстуке, мать обняла его, прижала к себе, говорила: «Какой ты стал... Ты вырос достойным... Я так счастлива, что ты такой, мой сын... Ты похож сейчас на Радика Юркина или даже на...» Она вдруг замолчала, сникла, опустила на диван и заплакала. Потом сидела жалкая и постаревшая, говорила, всхлипывая, о сложности жизни, о ранах войны, о том, что он еще многого не понимает, а она человек несчастный, не на своем месте, и зачем только ее оторвали от ткацких станков, она говорила слова, от которых Олегу стало страшно, достала фотографию, где была снята ткачихой, совсем девчонкой, улыбающейся красавицей. Потом мать плакала об отце и Сережке, а Олег стоял растерянный, все еще старался быть суровым, но жалел ее и уже искал ей оправдания.

Естественным, но не имеющим отношения к главному в жизни стало тогда казаться Олегу многое, и оно уже не возмущало его. Естественной казалась Олегу и атмосфера их квартиры, их жизни, то есть тогда он не думал о ней, а теперь уже точно знал, что в атмосфере этой был растворен страх. Именно растворен, потому он и был незаметен. Мать тряслась за каждый его шаг. Сначала это раздражало Олега, как и то, что его, почти совсем взрослого, она гладила при людях по головке, но в конце концов он привык, потому что уж такой была ее любовь. Он и сам стал бояться за себя.

Однажды Олег рассказал ей анекдот, услышанный во дворе. Мать отчитала его за то, что он слушает и повторяет такие мерзкие анекдоты, которые на руку нашим врагам. «Не вздумай болтать такие вещи, а если спросят, откуда узнал, говори: во дворе слышал, мать ничего не знает». Олег тогда долго думал и решил, что она права: врагов у нашего народа становится все больше и больше, и всякая болтовня может оказаться им на руку.

Когда в пятьдесят втором арестовали Надиного отца, на фабрике был митинг, где всех этих изувеченных-врачей клеймили позором, и мать произнесла горячую речь. Потом она несколько ночей подряд приходила сильно выпивши, и Олег не спал, все смотрел в смутно белевший потолок и старался отделаться от мучивших его мыслей.

Надин отец вернулся через год совсем седой и сгорбившийся, руки у него тряслись, ни слова не вспоминал он о том, что с ним было, только все поддакивал, улыбался собеседникам, и Олегу было больно смотреть на него. Мать избегала встреч с ним и разговоров о нем, только однажды Олег услышал, как она советовала кому-то по телефону взять Белашова ординатором в городскую больницу, где он был раньше главным врачом.

А потом пришел пятьдесят шестой, шумный и сердитый, высокосный год. Для Олега тот год был трудным. Он стал совсем худой и нервный, все выступал в техникуме, где уже учился, голос срывал, врачи прописывали ему полоскание содой, а собрания и митингов было той весной больше, чем занятий. В своих суждениях Олег был резок, его любили слушать, к тому же он, видимо, унаследовал ораторские способности от матери. Всю ту весну он

был в состоянии какого-то страстного порыва, он жил одним — революцией — и верил, что служит ей, а такие прозаические вещи, как еда и любовь, казались ему кощунством.

Через год Олег оказался в комсомольском комитете в одиночестве, ему говорили, что сейчас нужна практическая работа, а не речи. Олег расстроился, отошел от активной комсомольской работы, а потом и из техникума попросился. Ему уже разонравилась будущая специальность — механика ткацких станков, и он решил съездить на целину. Два года он жил на целине, в разных совхозах и все же не выдержал и вернулся во Влакерму, увидел мать и не узнал.

Ее как будто подменили. Она даже и мысли высказывала вслух такие, за которые года три назад отчитывала Олега, и речи ее были уже длиннее и веселее, с пословицами и отступлениями от текста. Теперь не влакермские девчонки подражали ей, ее прежней строгой красоте и суровым и энергичным манерам; а, наоборот, она училась у них, прическу делала с начесом, красила волосы, лицо приводила в порядок всякими импортными кремами и тонами, по часу сидела перед зеркалом, носила вывезенные из-за границы остроносые туфли и вязаные кофты, а побывав за рубежом с профсоюзной делегацией, привезла бежевый костюм из джерси и очень гордилась им, хотя он был ей мал, а она уже порядком располнела. И говорила она теперь не громко и не грубо, а нежно и даже не без кокетства. И в сорок лет своих она была еще красива, и Олег видел, как поглядывали на нее мужчины. Работала она уже не на фабрике, а в исполкоме.

Олег заходил к ней на работу и убедился, что она только обозначает деятельность; лишь иногда зажигается искренне, и тогда у нее получается хорошо, но это десятая доля дел. Как и прежде, она любила говорить речи и делала это хорошо, как и прежде, она часто возвращалась домой немного хмельная, и вились вокруг нее мужчины, в меру возможностей элегантные.

Олег в последние годы стал терпимее, и многие прежние его пламенные мысли казались теперь смешными и неверными, но с матерью примириться он так и не мог, хотя снова вспоминал о войне и о сломанной ее судьбе и готов был найти ей оправдание. Отношения их, приличные внешне, не могли стать лучше еще и потому, что мать не принимала его любви к Наде. Она ее не любила и шурилась сердито, когда говорила о Белашовых. Заметив однажды, как смотрит Олег на Надю, она вскипела и долго не могла прикурить от зажигалки с красным галльским петухом. «Думать о ней забудь», — сказала мать, — будешь с ней несчастлив». Потом она пыталась говорить с ним спокойно, но у него на все ее слова был один ответ. Откуда шла эта неприязнь матери к Наде, Олег не мог понять, то ли она ревновала его и потому заранее отвергала «будущую разлучницу», а может быть, неприязнь пришла без всяких видимых причин, ведь бывает так, для матери эта длинноногая девица была загадочной марсианкой, неземные пороки чудились в ней, и доверять ей сына она боялась. «Взбалмошная, легкая девчонка», — говорила мать. — Все они, Белашовы, сумасброды...» А Надю и в самом деле сумасбродной называла улица, и бабы в платочках охали, глядя на нее, но Олег считал, что Надю он знает лучше влакермской улицы и ему судить, какая она...

И тут он обернулся к Наде и хотел сказать ей что-нибудь ласковое, но увидел, что она спит. Журнал

валялся на полу, а Надя спала прямо на одеяле, вытянув ноги в сшитых ею самую джинсах и подложив кулаки под голову. «Родная ты моя», — подумал Олег, — устала...» Он стал гладить ее волосы и волновался, потому что хотел быть с ней, и ему было досадно, что она заснула.

9

И черта не было видно. Терехов пожалел, что не взял фонарик. Впрочем, сегодня и фонарик бы не помог. Ступая на каблуки, вдавливая сапоги в грязь, медленно спустился Терехов по скользкому съезду с Малиновой сопки. Сейба гудела и бесилась и не собиралась спать. «Ничего, посуется, пошумит», — подумал Терехов. Он вспомнил Будкова, и их вчерашний разговор, и слова Будкова о мосте и метеорологах, поводов нервничать не было, и все же Терехов решил, что завтра утром, как только станет светло, он отправится на мост с понимающими плотниками, и там они посмотрят, не надо ли чего делать. Терехов подержал сигарету под дождем, капли притушили ее, заставив пошипеть, и Терехов бросил окурочку. Ему захотелось найти камень и швырнуть его в воду, чтобы всплеск был, просто так, из неприязни к Сейбе, но сколько он ни ковырял землю носком сапога, на твердое наткнуться не смог.

Дома, в комнате, было тихо и скучно. И мысли Терехова снова побежали по привычной дорожке. Надя сейчас была с Олегом, и чем бы Терехов ни старался отвлечь себя, воображение его было тут как тут и мучало Терехова. «Как только выздоровеет Ермаков», — думал Терехов, — уеду отсюда к чертовой бабушке. Вот бы Севка скорее вернулся, вот бы Севка...» Он понимал, что Севкин приезд ничего не изменит и ни в чем Севка не сможет помочь ему, но его почему-то утешала мысль о мужском разговоре с Севкой, словно в разговоре этом можно было ему, Терехову, найти успокоение. «А-а-а! Все это детские штучки, а ты взрослый мужик! Спать надо!» Терехов снова прислушался к Сейбе, и его поразила тишина, неожиданная и ватная, тишина радиорубки, черной комнаты с обитыми стенами. «Неужели кончился дождь и ветер стих, неужели...» И Терехов понял, что сейчас он уснет, успокоенный тишиной, и он заснул на самом деле, и последние его мысли были о Севке, о том, как было бы хорошо, если бы Севку отпустили на Сейбу...

10

— Терехов! Терехов!
— А?
— Вставай! Что делается-то!
— Что? Где?
— Ветер...
— Кинь сапоги...
— Сосну, знаешь, которая у крыльца... На крышу сбросило...
— Мне война снилась...
— Она и упала, как бомба...
— А-а, черт! Всегда с этими пуговицами...

— Свет зажечь?
— Не надо, глаза лучше привыкнут.
— И дождь со снегом... Для разнообразия...
— Пошли...
— Плещ-то надень... Сколько на твоих светящихся?

— Три часа, четвертый...
— Уже светать пора, а такая темень...
Шагали по коридору, ступали тяжело, шуршали плащами, как будто сухие дубовые листья в весеннем лесу давили; рядом с Тереховым спешил маленький плотный Рудик Островский, электрик, комсорг их поселка. «Спокойной ночи, спокойной ночи», — пришептывал он, — до полуночи, а с полуночи кирпичи ворочать...»

Небо все же синело, и сопки надвигались отовсюду мрачно, как танки. Черный снег падал и падал и таял на лице Терехова. Сосна, пустившая корни под крыльцо общежития, лежала на крыше, и ветви ее шевелил ветер. Ствол сосны ветер перекусил, на верное, слом был неровен и клыкаст. Высыпали за Тереховым все, одетые наспех, с черными булыжными лицами, стояли молча, смотрели.

— А ветер-то стих, — сказал Терехов.
— Ураганом прошелся.
— Может, еще вернется...
— Улегалась она аккуратно, — зло сказал Терехов. — Труба ее держит.

Все думали о сосне и уже высказывали соображения, как ее сбросить, а Терехов хотел лезть на крышу, но тут он подумал, что сосна эта, может быть, только цветочки, и надо пройти по поселку и поглядеть, нет ли ягодок. Он отыскал в толпе Сергея Кислицына, принявшего исполновскую бригаду, и сказал ему: «Займись». Кислицын сразу же послал парней за топорами, пилами, слегами, проволокой и веревками. Было бы легко сдернуть сосенку трактором, но тракторы сейчас смирно спали в автохозяйстве за Сейбой, в Сосновке. Терехов шагал к столовой и слышал, как шумели у крыльца ребята. Рудик семенил за Тереховым, и еще несколько парней спешили за ними.

— Так, — остановился Терехов, — так.
Три столба валялись на земле, один за другим, а провода были запутаны и порваны.
— Так, — обернулся Терехов к Рудиду, — значит, свет у нас не горит и по телефону поговорить нельзя...

— Я даже не проверил, — смутился Рудик, словно он и был виноват во всей этой истории, недоглядел.

С крыши третьего общежития ураган сорвал два листа кровельного железа и, поиграв с ними, отбросил их к столовой. Свалены были деревья за дорогой, ели, вовсе и не хилые, а те, что попались ветру на глаза, и он покуролесил над ними. Но в мозгу Терехова жила тревога не о деревьях, а о Сейбе и мосте. Он и шагал теперь к Сейбе, не оборачивался, в березовой рощице встали, дальше идти было нельзя: Сейба захватила дорогу. Темень, уплотненная сыплющимся снегом, скрывала мост, и пробираться к нему было бессмысленно. Постояли с минуту, и Терехов сказал:

— Придется подождать рассвета.
— Столбы и тут свалены, — расстроился Рудик.
Провода тянулись по земле и ныряли в шумящую воду.

— Подождем рассвета, — сказал Терехов.
Наверху с сосной еще возились, лапы ей пилили и топорами их сшибали, а толстые канатные

веревки и проволоочный трос уже оплели ее комель, и внизу ребята держали их концы. Кислицын махнул рукой, и ребята стали бурлаками, «дубинушку» вспомнили, «зеленая сама пошла», Терехов не удержался, подскочил к ним, и ему передали трос, а потом, когда подправленная слегами сосна сползла вниз, получилось так, что Терехов первым подставил под нее плечо и, крикнув, поволок ее вместе с парнями поздравнее, руки его ощупывали деревянные клыки слома, у обочины дороги посчитали для приличия: «Раз, два, уронили», — сбросили сосну в грязь. Руки ныли, под дождем бинты у Терехова промокли, и надо было пойти к Илге.

Народ все толпился у крыльца, покуривал и шумел понемножку, лица чуть светлели в синеве, и глаза блестели, и были они встревоженные, как у людей во влахермском бомбоубежище, которых Терехов запомнил навсегда.

— Дело плохое, — сказал Терехов. — Света нет, связи тоже... Что с мостом, пока не видно, но всякое может быть... — В душе он считал, что с мостом все обойдется, но говорить людям бодрые слова не хотелось, лучше, если они будут подготовлены к беде. — Может, и отрежет нас Сейба от Большой земли...

В толпе шумели, все были возбуждены, и все желали делать что-нибудь штурмовое.

— Вот что, — сказал Терехов сурово, — сейчас всем спать. До семи. Сейчас четвертый. Я не шучу. Нет хуже вареных, непроспавшихся людей. День будет трудный.

Все были недовольны, Терехов это чувствовал. Фонарики нервно покачивались прямо перед его глазами, слепили их, и Терехов щурился. «Это глупо, кто же сейчас заснет», — слышал Терехов, в самом деле, распоряжение его могло показаться неразумным, но он повторил слова, потому что был убежден в их необходимости.

— Я прошу всех идти спать, — сказал Терехов глуше. — В конце концов я приказываю. Я и сам пойду спать.

Он говорил это и чувствовал, что между ним и толпой вырастает ватная стена отчуждения, и для них, близких ему людей, он становится какой-то злой силой, и они не понимают его. «Какой из меня прораб», — думал Терехов, — шутку бы сейчас вернуть».

— Дежурными остаются Островский, Кислицын, Макаров, Зернов. — Он увидел сердитые лица Надьи и Олега и добавил: — И Плахтин. Всем разойтись. Спокойной ночи.

Он стянул сапоги и закрыл глаза. Кому-кому, а ему-то спать сейчас было совсем глупо. Надо было идти в контору и разыскать документацию моста, но он сказал «я и сам пойду спать» и врать был не намерен. Он услышал, как застучали в коридоре сапоги и как захлопали двери. Быстрый, шумный вошел в комнату Рудик.

— Терехов, я еще Тумаркина в нашу группу включил. В случае чего сыграет на трубе «Слушайте все!».

— Детство вспомнили, — проворчал Терехов. — Еще погремушки разнеси по общежитиям... Загляни в столовую. Как там с продуктами?

И хотя причин для бессонницы у Терехова было много, он все же задремал и проспал часа два, до той минуты, пока его не разбудил пронзительный и резкий голос трубы.

Труба рвала свое медное горло. Терехов прыгнул с крыльца и побежал к дороге. Впереди, вываленные серым полотном неба, он видел подскакивающие мокрые спины и черные брызги грязи, летевшие из-под сапог.

Тумаркин стоял у дороги под сосной, печальный и лохматый, и дождевые капли стучали по желтому металлу.

Терехов видел, что ребята впереди, неуклюжие и громадные в своих плащах и размокших, не успевших подсохнуть кирзовых сапогах, сворачивают вправо, не добежав до скользкого съезда к Сейбе, несущая к ней напрямик по крутым склонам сопки, ломая кустарник, падая, помогая друг другу вставать. Терехов свернул вправо и спиной почувствовал, что люди, выскочившие из общежитий позже него, тоже прыгают по зеленому боку сопки; он несся, как слаломист, пролетал мимо деревьев и кустов, готовых поцарапать его и расшибить ему лоб, рисковал, обманывал их в последнюю секунду, уходил от них влево или вправо и только раз не удержался, упал на землю и несколько метров скользил на ягодицах. Он увидел, что парни и девчата с криками съезжают по рыжему откосу, как по ледяной дорожке, кто на корточках, а кто — не жалея брюк.

Через секунду Терехов уже поднялся на ноги и побежал.

Он бежал к бугру с толстой березой. Бугор торчал над Сейбинской поймой, и в тихие дни с него можно было стрелять уток, залетавших с Минусинской котловины. От бугра до Сейбы и до моста шагать надо было метров сто, не меньше. На бугре стояли ребята, утихнув, забыв об измазанных брюках и ватниках.

Терехов подскокил к ним, и они, заметив его, расступились и пропустили вперед, пропустили не потому, что он со вчерашнего дня стал старшим на Сейбе, просто каждому из них было бы странно, если бы Терехов оказался вдруг за их спинами, и теперь он стоял ближе всех к Сейбе, понимал, что все ждут от него слов, а говорить ему не хотелось, он просто стоял и смотрел на Сейбу.

Мост еще держался, горбатой своей спиной чуть высовываясь из воды, плыл и не уплывал, подобраться к нему по насыпи еще было можно, но с той, сосновской, стороны река размыва насыпь, вода билась, редела, как в проране, и деревянная труба, видимо, была истерзана, искалечена Сейбою: не сумев одолеть моста, там река взяла свое, а значит, их поселок стал островом.

— Метеорологи, гидрологи, чтоб их...

Островом, и на сколько дней — неизвестно, хотя бы даже на один сегодняшний, и то сладкого мало, и дело было даже не в том, что работы на объектах могли пойти к черту, а главным образом в том, что остались они на острове без машин, ночевавших на автобазе в Сосновке, без продуктов, каждое утро доставлявшихся из селпо, и без поваров, которые вместе с частью рабочих квартировали пока на том берегу. На том берегу, на вчерашнем взлете дороги в Сосновку, тоже толклись люди, маленькие и серые, кто там стоял — разглядеть было невозможно.

— В столовой был? — обернулся Терехов к Островскому.

— Мало там... А хлеба нет, — шепотом сказал Ру-

дик, словно боялся испугать ребят. — Стряпухи бы нашлись. Стряпать нечего.

Терехов промолчал, он снова повернулся к Сейбе и уставился на ее летящую воду и думал о том, как бы вел себя сегодня прораб Ермаков, что бы он придумал и какие слова нашел.

На том берегу были машины и продукты, с того берега можно было, если, конечно, связь сохранилась, выпросить у начальника поезда трелевочный трактор или даже вертолет, на том берегу был Ермаков. Терехов понимал, что, если рабочие, оставшиеся в Сосновке, сами ничего не предпримут и не найдут способа пробраться на остров, кому-то придется переплывать Сейбу. Впрочем, Терехов знал кому.

— Ладно, — сказал Терехов. — Пошли работать. Слава богу, нам клуб и школу доделывать надо. Рудик, останься здесь. Если тот берег так и будет топтаться на месте, придется плыть... кому-то...

А Сейба не отпустила, и глаза он оторвал от нее с трудом, и повернулся с трудом, и вверх по скользкому откосу сопки взбирался, стараясь не оглядываться. У домика конторы Терехов остановился, выкурил сигарету, а потом, вытаскивая из кармана связку ермаковских ключей, долго искал нужный ключ.

В сейфе лежали зеленые и голубые папки, пухлые и тощие.

Папки были все не те, и, только открыв голубую картонную обложку, Терехов вздохнул облегченно.

Сверху, как бы титульным листом всей повести о сейбинском мосте, лежал постаревший приказ. Прораба участка Будкова И. А., трех мастеров и бригадира плотников Исполнова В. Г. благодарили и награждали премиями «за проявленную инициативу и самоотверженный труд на благо...». Приказ был двухлетней давности. Когда его отстукивала крупными чернильными буквами на своем «ундervуде», или что там у нее имелось, секретарша начальника, Терехов тянул провода и щелкал выключателями в Курагине и о сейбинском мосте знал понаслышке. Впрочем, о мосте тогда говорили много и охотно, писали всюду, где могли, и фамилия Будкова стала звенеть по всей трассе. Будков был совсем юнец, и двух лет не проработавший после выпуска в МИИТе, но вскоре его сделали начальником поезда, и сменил он, к удовольствию ребят, громкоголосого хозяина Фролова. Фролова не любили за хамство и тупость, а Будков был человек современный.

Перелистав голубую папку, Терехов остановился на одной из страничек, где были чертежи и расчеты прочности моста. Он изучал ее долго и понял, что пять опор моста, пять ряжей, пять деревянных срубов, забитых бутовым камнем, стоят крепостью, хоть переноси их под Ниагарский водопад. И тогда Терехов успокоился, бумажки он читал теперь медленнее и обстоятельнее, а наткнувшись на небольшой рисунок, принялся его рассматривать.

Рисунок был сделан тушью, видимо, рукою Будкова, рукою не очень искусной. Собственно говоря, это был даже и не рисунок, а некое фантазирование на бумаге. Терехов подумал, что бумажку эту Будков изрисовал в споре, чтобы показать непонимающим поточнее, для чего нужен сейбинский мост. До их поселка полотном дороги петело по левому берегу Сейбы, дремучему и безлюдному; а у поселка отскакивало от реки, бросалось к тоннелю, который еще надо было пробить в

Трольской сопке. Цивилизация подбиралась от Минусинска к правому берегу Сейбы, на левом же ее берегу не было ни поселений, ни дорог. А именно от Сейбы начинался самый трудный и длинный отрезок трассы. Сейбинский участок был пока головным, дальше шла нетронутая тайга, и забрасывать людей, машины, стройматериалы в ее дебри никаким другим путем, как из Сосновки, было нельзя. Потому через Сейбу строили мост. Его хотели делать капитальным и бетонным, но Будков ринулся в спор с проектировщиками и убедил всех в своей правоте. Он считал, что старая привычка начинать стройки с конца вредна, теперь сначала прокладывают постоянные дороги и дома ставят навек, а уж потом принимаются за основное. Это разумно, это современно. Но иногда и современное может обернуться штампом, надо быть гибкими. Такой помехой делу и считал Будков стремление во что бы то ни стало перекинуть через Сейбу бетонную громаду. И убедил многих, доказал, что сейчас, когда строительную базу только начинают создавать, с бетонным мостом можно провозиться очень долго и на год, а то и на полтора задержать форсирование Сейбы и переброску сил на ее левый берег и в глубь тайги. Доводы Будкова решили одобрить и поручили ему с плотниками поставить на Сейбе мост о пяти рядах. Потом на стройке был праздник, и по мосту, сработанному быстрее, чем думали, шли машины к Трольскому тоннелю, а счастливый Будков стоял в воде под мостом и готов был принять их на свои плечи, если бы машины продавили толстенные бревна моста.

Терехов взял со стола карандаш, чтобы набросать план их участка до Трольской сопки и дальше, но, потянувшись за листком бумаги, увидел на улице девчат-штукатуров. По лужам пробирались они к клубу, и среди них шла Надя. Девчата заметили Терехова и замахали ему руками. И Надины глаза он разглядел — уже не сердитые, а веселые. Терехов опустился на табуретку. Все возвращалось к одному; как возвращается боль, когда вспоминаешь о ней, так и мысли о Наде вернулись к Терехову, дали ему несколько часов передышки и вернулись снова, и Терехов понимал, что в мире есть только он и Надя, и никакой тайги нет, никакого поселка, где он прорабом, нет, никакой Сейбы и никакого моста нет, только он и Надя, и он любит ее, а у нее — другой, остальное же в мире ничего не значит. И так будет всегда, и от этих мыслей ему никуда не уйти. Терехов сидел и думал о том, что, как только Ермаков выздоровеет, он уедет с Сейбы куда глаза глядят и будет лечиться расстройством. «А может, клин вышибается клином, а?» — вспомнил Терехов об Илге.

Тоненько, откуда-то из-под земли запела труба. Терехов не торопясь завязал папки, уложил их в сейф и вышел из конторы. Девчата остановились посредине улицы и слушали трубу. Терехов махнул им рукой: давайте, давайте, штукатурка вас ждет и голые стены, обитые дранкой. На свежем сейбинском берегу стояло вовсе не четверо ребят, а больше, и Терехов, рассердившись, хотел было отчитать их, но удержался и только буркнул Тумаркину:

— Нельзя ли потише, тоже мне Армстронг...

— Вон, — показал пальцем Островский.

— Ага, — кивнул Терехов.

Люди на том берегу толпились около черной лодки, которую, видимо, приволок трактор, ставливали ее в воду медленно и осторожно, опасаясь,

как бы Сейба не прихватила ее и не утянула к Ту-бе, а потом и к Енисею.

— Где они ее откопали? — проворчал Терехов.

Лодка уже болталась на воде, но люди, стоявшие на берегу, чего-то ждали, говорили о чем-то или даже спорили, один из них все бежал от лодки к трактору, нервничал, не соглашался, наверное, с кем-то, а потом первым полез в лодку. За ним неуклюже, боясь оступиться, шагнули в лодку еще двое, а четвертому помогли переступить борт, подержали его, словно пьяного. Терехов уже волновался за людей, забравшихся в лодку, и мял пальцами сигарету, и зажигалку крутил в кармане.

Черные крошечные люди навалились на лодку и, словно полежав чуть-чуть на ее черных бортах, ткнули ее в бешеную реку. Сейба сразу же начала резвиться и мотать ее. Ребята вокруг Терехова уже шумели, спорили, гадали, умеют ли плавать те четверо и что будет с ними, если лодка перевернется, давали им советы, но те четверо не слышали их слов, а потому, наверное, и нервничали и толпились на одном месте. И все же лодка начала продвигаться, сначала этого нельзя было видеть, Терехов это почувствовал, лодка дергалась уже меньше, а потом стала чуть-чуть увеличиваться, и тумаркинская труба взревела от радости. «Отдает! Отдает!» — восторженно закричал кто-то. Глядя на продвигающуюся в волнах лодку, Терехов вспомнил о своем намерении переплыть Сейбу, и ему стало смешно, но он понимал, что, если бы не эта лодка, он все же полез бы в воду. Теперь ему было спокойнее, он и курил неторопливо, но все еще волновался за четверых. Он и догадаться не мог, кто сидит в лодке, но хотел бы знать это и еще хотел, чтобы в лодке оказался Будков.

Сколько прошло времени, Терехов не знал, но, наверное, немало, лодка увеличилась, и теперь он уже видел, что гребут двое, а другие двое сидят, вцепившись в борта лодки, и один из них — не кто иной, как прораб Ермаков.

Терехов присвистнул и полез в карман за сигаретой.

Притихли на берегу, Ермакова узнали и двух других узнали, то были сейбинские поварахи Катя и Тамара. Тамара покрепче и поздоровее, она и гребла на пару с незнакомым сосновским мужиком, видимо, хозяином лодки. Значит, Ермаков был слаб, был болен, и никакого чуда не произошло, иначе, конечно, он бы двигал веслом. «Вот старик, вот чертов старик!» — проворчал про себя Терехов.

Лодку болтало уже недалеко от берега, она продвигалась рывками, сейбинские ребята лезли в воду, теперь их советы были бодрее и ехиднее и адресовались поварихам, Ермакова не трогали, а Терехов все стоял сзади, все курил и злился.

И только когда черная лодка заплясала в мокрых кустах, Терехов рванулся вперед, вода была его сапогам «по шею», а он стоял, упершись руками в борт лодки, и кричал на Ермакова. Поварихи молча вылезли из лодки, словно из комнаты ушли, чтобы неприятного разговора не слышать, и Терехов помог им, а Ермаков сделал неуверенное движение, вроде бы привстал, но Терехов осадил его взглядом, и Ермаков, смутившись, пробормотал:

— Молоко... в бидоне... для воротниковского пацана...

Единственному мальчишке, в метриках которого стояло «поселок Сейба», каждое утро привозили из Сосновки парное молоко, не забыл об этом старый черт, бидончик прихватил...

— Сбежал, что ли?— спросил Терехов.
— Сбежал,— хрипло сказал Ермаков.
— Нам не веришь,— сказал Терехов и понял, что сказал не то.

— Не веришь, не веришь,— заворчал Ермаков обиженно,— поварих вам привез, голодные бы сидели, в Сосновке лодочника искали, один согласился, десять рублей... новыми, понял...

— Ну вот что,— сказал Терехов грозно,— погребем сейчас обратно. Ты ведь можешь отдать концы, ты что, не понимаешь этого?!

Последние слова он произнес неожиданно для себя громко и сердито, словно только что догадался, чем вся эта прогулка может кончиться для Ермакова, и испугался всерьез.

— У меня сегодня температура упала,— виновато сказал Ермаков, не так уж часто Терехов видел его оправдывающимся и улыбнулся нехоту.— Ты что? Правду говорю. Может, у меня и никакого не воспаление, понял, сушеная палка... С язвой только лежу.

— Отчаливай,— сказал Терехов и забрался в лодку.

Ермаков на что-то еще надеялся, растерянно поглядывал на ребят и на Сейбу, но Терехов оттолкнул лодку.

Вначале плыли медленно, заняты были делом, и Терехов сразу почувствовал ярость Сейбы, лодка все время тыкалась в бок, потому что он греб сильнее, чем рябой сосновский мужик. Терехов скосил глаза на него и бросил полушутя, полусерьезно: «Что ты, дядя, как неживой!» Но рябой глянул на него укоризненно, и у Терехова пропала охота задирать его.

— Тяжело?— спросил Ермаков.

— Ничего,— процедил Терехов,— мышцы развиваются.

— Я, знаешь, почему в плавание-то отправился?

И тут Ермаков стал говорить торопливо, какие работы отложить и чем, напротив, заняться, выспрашивал, что повредил ветер, советовал, как распределить бригады и материалы. Хотя наказы прораба и должны были успокаивать Терехова, он злился потому, что почти все уже продумал сам, и получилось так, что ничего нового Ермаков не сказал и мог бы побережь себя.

— А с Кошурниковом связь есть?— спросил Терехов.

— Нет. И Будков молчит, а столбы валяются.

— Вот и ты свалишься. Хрипнешь вон. Кутайся, кутайся.

— Погоди. Самое главное — мост, понял? Надо его удерживать.

Ермаков даже на локтях приподнялся, а глаза у него стали испуганными и просящими.

— Мост, мост!— выругался Терехов.— Что вы все только об этом мосте! Позавчера Будков приезжал, теперь ты...

— Слушай, Павел...— Ермаков снова привстал и костлявыми пальцами своими дотянулся до мокрого тереховского колена.— Я ведь серьезно, иначе лежал бы сейчас в тепле под одеялом. Доглядите за мостом... Если что, если вымывает камушек из ряжей, у нас по дороге к Тролу бут свален, засыпьте.

— Ничего, и так устоит,— сказал Терехов.

Ермаков опустил на доску, обмякший, обессиленный, самые важные слова дались ему трудно, сидел он, полускрыв глаза, и подергивался тихо, и Терехову стало жалко прораба. Сосновский тоже, видимо, хотел облегчить прорабскую долю и отдыха себе не давал, жилистый мужик попался, на ра-

дость Терехову, и ковыляла их лодка зигзагами нервной сейбинской дороги, молчаливые гребцы тянули ее к берегу, и молчаливый пассажир сидел за их спинами. И только когда река осталась позади и Терехов, спрыгнув в воду, ступил на твердое, он стал последними словами ругать людей, допустивших плавание Ермакова. Прорабу помогли сойти на берег, и по дороге к машине человек в очках и выцветшем плаще успел вежливо высказать ему свои медицинские соображения. «Глядеть надо было»,— буркнул ему Терехов и, когда прораба уже сажали в машину, неожиданно для самого себя, может быть, для того, чтобы не показать волнения, сказал деловито: «Нам самое главное сейчас — Севку вытребовать».

— Насчет трелевочного Ермаков посылал,— вспомнил кто-то.— Мы еще гонца отправим.

Терехов подошел к берегу, к черной лодке, а рябой хозяин ее стоял тут же, и Терехов улыбнулся ему и сказал нерешительно, даже заискивающе:

— Поедем, что ли?

— Куда?

— Мост поглядеть и на остров.

— Не поеду!— обрезал мужик.— Никуда не поеду.

— Струсил, что ли?— еще улыбался Терехов.

— А пошел ты!— заорал мужик и добавил:— Пятнадцать рублей, понял?

— Ни шиша не получишь,— сказал Терехов и шагнул к лодке.

Мужик сначала не понял его движения, а когда Терехов забрался ловко и мгновенно в лодку, он вцепился в ее борт, и стоял так, якорем, и Терехов бранил, и милицию вспоминал через слово. Терехов потерял равновесие, свалился боком, лицом уткнувшись в мокрое, а потом привстал на колени и качался в лодке, которую трепала Сейба, и смотрел в желтые ненавидящие глаза мужика. «Кержак чертов,— думал Терехов,— жадогана...» Руки его нащупали весло, и, взмахнув им, Терехов закричал:

— А ну, отвали!

— Вылазь, сволоочь,— хрипел сосновский,— бей меня, не отпущу, сначала свое добро наживите... Вылазь!

И Терехов, несмотря на свою ярость, так и застыл с поднятым веслом, видел в желтых усталых глазах и злость и какую-то извечную тоску, словно уводили у рябого крестьянина последнюю скотину и он был готов броситься со стоном в ноги обидчику, хотя и знал, что это без толку.

— Уйди, говорю, а то...— закричал Терехов.

Терехов махнул веслом, делая вид, что хочет ударить мужика, и надеясь, что когда весло опустится, мужик от испуга отпрянет и уберет руки, но тот все стоял, гордый и готовый принять смерть, и лодку не отпускал. С трудом Терехов удержал весло, не ударил мужика, но все же толкнул его веслом, не больно, но резко, и мужик вдруг вскинул к лицу руки, сделал несколько кривых коротких шагов назад и, пошатнувшись, осел на измятую мокрую траву у самой воды. Терехов быстро и судорожно оттолкнулся, греб сначала спиной к реке и все не уплывал и видел, как сидел сосновский на земле, закрыв лицо здоровенными ладонями.

Тогда Терехов повернулся лицом к реке и мосту. Но и теперь не проходило чувство, что он совершил гадость и ее не забудешь, словно он на самом деле угнал у мужика коня-кормильца. Лицо мужика казалось Терехову знакомым, может, и вправду придирилось сталкиваться с ним раньше, впрочем, какое это имело значение.

И все же Сейба вскоре заставила Терехова забыть о неприятных мгновениях, теперь Терехов жалел, что оказался в лодке один, надо было прихватить в помощники кого-нибудь из шоферов.

Терехов греб, руки его устали, и под бинтами ладони были мокры от крови. Он понимал, что погорячился, а надо было подождать Севкин трактор и на нем пробираться к мосту — он боялся, что у моста все его силы уйдут на то, чтобы удержать лодку, а разглядеть он толком ничего не разглядит. И все же, хотя и был пока недалеко от берега и мог бы вернуться, он греб из упрямства и еще оттого, что к нему приходило знакомое состояние азарта.

Сейба гнала лодку, подталкивала ее, давала одну лишь тропинку, а Терехову надо было пробиваться вбок, к мосту, и Сейбе это не нравилось, и тяжестью своей она вязала Терехову мышцы. Терехову хотелось сразу же выбиться на середину Сейбы, и он бился с ней, бился с удовольствием, и даже когда руки его стали деревянными, Терехов не испугался, он дал рукам отдохнуть, расслабил их и потом начал грести снова.

«Спокойной ночи, спокойной ночи...» — бормотал Терехов и все кланялся и кланялся Сейбе, и когда увидел, что лодка оказалась на самой стремнине и прямо перед ней метрах в ста средний рязь моста, он прикрикнул довольно, отпустил весла, и позволил себе разлечься в лодке, и ноги даже положил на нос. Мост надвигался быстро, а Терехов все лежал, показывая полное пренебрежение к Сейбе и летящим ему навстречу тяжеленным бревнам ряжа. Но когда до моста осталось метров пять, Терехов приподнялся, ловко встал в полный рост, стоял пошатываясь, а потом вцепился руками в бревна моста и остановил ногами лодку. Он огляделся, стянул с брюк толстый кожаный ремень и аккуратно, не спеша, привязал им лодку к костылю, вбитому в одно из бревен. Подтянувшись, влез на мост и, сунув руки в карманы, стал по нему прогуливаться.

Потом он долго ходил по деревянному настилу и осматривал каждое бревнышко, ложился около ряжей и разглядывал, как Сейба бьет в спину каждому из них и не наделала ли она плохого. После этого он прошел на другую сторону моста и тут начал обследовать. Все вроде было в порядке, и Терехов посчитал, что он может отправляться на остров. «В порядке», — проворчал про себя Терехов, — это если сверху глядеть, а если снизу...» Снизу, наверное, и водяной ничего не увидел бы в сегодняшней бурой воде. И все же Терехов ходил по мосту, поглядывал на воду — и потом сказал «эх, черт!», и неловко сел на бревна, свесив ноги в Сейбу. Так он посидел с минуту, болтал ногами, оттягивал мгновение, на которое решился, и все же наконец ухнул с ругательством в летящую воду. «Ух, горячо!» — застонал Терехов, а сам уже встал на ноги, схватившись левой рукой за шляпку костыля, а правой ощупывая одно за другим скользкие бревна. Сначала он думал, что привыкнет к ледящей воде, она все обжигала его, тогда он решил просто вытерпеть и, подтягиваясь руками за бревна настила, раскачиваемый Сейбой, добрался до соседнего ряжа, рассчитывая осмотреть все пять. И тут, когда Терехов снова правой рукой выискивал деревянные раны, он почувствовал, как в пальцы ему ткнулось что-то твердое и острое. Судорожно, будто бы поймал он рыбу и боялся, как бы она не выпрыгнула из пальцев, дернул Терехов руку из воды и увидел на ладони серый, облизанный водой камень. «Камушек, сукин сын, гравий...» Терехов опустил руку, и снова кожа его ощутила вялые удары камня и гравийных крошек. Потом Терехов пробрался к другим ряжам и

понял, что вода и там вымывает гравий из деревянных срубов.

«Вот тебе бабушка и...» Подтянувшись, Терехов вылез на настил, принялся бегать по мосту взад и вперед, пытаясь разогреться, но его била дрожь, и капли сбегали в сапоги и под брюки, а потом Терехов вспомнил еще, что на него смотрят с обоих берегов, и остановился у лодки в некотором смущении. Он смотрел на лодку рассеянно и думал не о ней, а о камушках, ткнувшихся в его пальцы.

Утро было смурным и нервным, но только сейчас Терехов испугался по-настоящему. Теперь ему казалось, что и позавчерашний приезд Будкова и нынешняя прогулка Ермакова были неспроста, может, их тревожило то, о чем Терехов и не догадывался. Он с опаской смотрел теперь на несущиеся к мосту бревна, которые он раньше не замечал, он боялся, как бы они не поранили мост, как боится человек за свою руку, боится прикосновения к ней, осознав вдруг в горячке драки, что она сломана.

Терехов отвязал ремень, прыгнул в лодку и, подхватив весло, стал упираться им, как багром, в тугой бок насыпи, так он и толкал лодку вперед. Теперь ему было наплевать на все на свете, он желал только одного: добраться до берега, увидеть на берегу баню и там, в дышащем жаром нутре ее, хлестать и хлестать себя крепким, добрым веником, а потом, мокрому и горячему, кряхтя, поваляться на ленивой лавке. Навстречу ему уже бежали сейбинские ребята, кричали, спрашивали: «Ну как? Ну что?»

— Замерз я, — проворчал Терехов.

— Сейчас пригоним машину! Чеглинцевский самосвал.

— Надо же, — покачал головой Терехов, — одна машина у нас.

— Слышишь, уже урчит.

— Кто знает, — спросил Терехов, — где у нас бут?

— За столовой... Пара камушков.

— У Трола, — вспомнил Сысоев, — у входа в тоннель...

— Кто его туда завозил? — спросил Терехов.

— Это еще при Будкове, наверное...

Из-за отмытых скучившихся деревьев, разбрызгивая грязь, выскочил самосвал, одинокий представитель вымершего на острове племени колесных, рванул к Сейбе и встал тут же, утих. Галантный Чеглинцев распахнул дверцу.

— Сейчас я... Поеду обогреться... — смущенно сказал Терехов, словно ребята оставались на передовой, а он без всяких на то причин уезжал в тыл.

— Закурить хочешь? — спросил Чеглинцев.

— Нет, — сказал Терехов. — А ты за руль сел?

— Это не я. Это кто-то другой.

— Вот я и смотрю. Ты-то ведь уволился.

— Катаюсь в последний раз. Или по грязи ходить?

— Ну-ну, — равнодушно сказал Терехов, затылком прислонился к металлу, глаза закрыл, словно задремал, сидел, стиснув зубы, стараясь побороть дрожь.

12

В общежитии Терехов устроился у печки и железным крюком постукивал по красным еще углям. Был он в одних трусах и накинутом на голые плечи сухом ватнике. Ладони его стянули белые бинты. Перевязывала ему руку Илга, комиссарша в кожаной куртке (браунинга, жаль, нет в кармане), отругала Терехова и сказала, что ему нужно



сделать противостолбнячный укол. «Как же, сейчас...»

Он дул на угли, новые поленца не подкладывал, и от этих углей ему было тепло. Огонь жил еще в коротких головешках, прятался в них, изнутри подсвечивал угли, менял резкие свои рисунки, оранжевые с голубым.

— Я пойду.

Терехов обернулся. Рядом стояла Илга, а он о ней забыл.

— Да, да, конечно, — заторопился Терехов.

Ему стало неловко оттого, что она стояла за его спиной и смотрела на него, а он сидел у печки полураздетый и думал, что она вышла из комнаты вместе с ребятами.

— У меня спирт есть, — тихо сказала Илга, — медицинский.

Она стояла у двери, и лицо у нее было красное.

— Нет, нет, не нужно, — быстро сказал Терехов.

Когда Илга вышла, он встал и начал ходить по комнате. «Смешно, — думал Терехов. — Она предложила мне спирт, чего никогда не делала, и покраснела, словно шла на преступление, она и думала, что идет на преступление ради меня. А я отказался, чего тоже никогда не делал, а сейчас и подавно не должен был делать».

Терехов стал одеваться. Все было сухое, теплое от печки, но надолго ли? Поеживаясь, поругивая каждую каплю, нырявшую за шиворот, Терехов прошел к столовой и за ней, за сваленными досками, увидел желтоватые камни. Их было немного, и Терехов постучал по одному из камушков носком сапога, словно проверяя, настоящий он или бутафорский. Он заглянул в клуб и школу и, убедившись, что работы в них идут, увидев Надю хоть издалека, двинулся к Сейбе.

У реки его ждала радость.

Севкин трактор перебирался через Сейбу.

Его кабина плыла по воде, и серый фанерный фургон тянулся за кабиной, как за буксиром.

— Терехов, Терехов, — загалдели ребята, — видишь?

— Вижу, — сказал Терехов. — Ледокол с теплыми валенками...

Но он был рад на самом деле, и рад не только трактору с фургоном на щите, но и тому, что теперь Севка будет рядом, и кровать в правом углу их комнаты перестанет пустовать. «Молодцы сосновские. И старик молодец», — подумал Терехов о Ермакове.

Севка выделял сейчас чудеса, но все, кто стоял на берегу, смотрели на трелевочный спокойно, словно с сегодняшнего утра им пришлось шагнуть в жизнь с иными ритмами и волнениями, и там, в этой новой жизни, ничто никого не могло удивить.

И только когда трелевочный застрял у самого бугра с березками, ребята зашумели снова и сразу принялись давать советы. Севка потихоньку пустил трактор в объезд слева и справа, но и там он не вылез на бугор.

— Хлеб жалко, — крикнул Севка. — Размокнет. Заберите.

«Заберите» — легко сказать, но, наверное, Севка был прав: клейкое, кислое тесто даже с голоду радости бы не принесло.

Медленно, чертыхаясь, пошли ребята в воду, и река была им сначала по колено, а потом по пояс и по грудь. Шумный людской клубок превратился в осторожную молчаливую цепочку. Комсорг Рудик Островский первым забрался трактору на щит и, подняв крышку фургона, перегнувшись, стал вытаскивать буханки. Терехов вдруг почувствовал запах хлеба, нестерпимый и близкий, словно в руке его очутился кусок черного, посыпанный солью. Буханки казались ему тяжелыми, похожими на отливки из стали или на снаряды диковинной формы, так бережно и напряженно несли их руки Рудика из фанерного нутра фургона и до самой коричневой воды. Там их принимали другие руки, тоже напряженные и вытянутые, потом другие, потом другие, потом другие. Черные тяжелые буханки плыли над бешеной водой, но сеибинские брызги не долетали до них.



Последняя буханка перебралась из фанерного фургона быстрее, ее почти швыряли из рук в руки, она даже перевернулась в воздухе уже над сушей, будто от радости. Терехов принял ее, посадил на вершину горки и легонько пристукнул ладонью. Севка крикнул: «Буду искать объезд», — а ребята потянулись к хлебному складу, побросали ватники, растянули крышей плащи и уселись вокруг Терехова.

— Нож у кого-нибудь есть? — спросил Терехов.

Нашелся складной, и Терехов принялся резать хлеб. Толстые, тяжелые ломти отваливались на серую подкладку ватника. Ломти никто не брал, все смотрели на них и на неторопливые движения ножа. И только когда Терехов защелкнул нож и сказал: «Берите», — потянулись руки к пахучим ломтям. Терехов аккуратно собрал крошки, как делали его отец и дед, ватник за рукав потряс, чтобы не укатились куда хлебные катышки, и высыпал крошки на лопот, словно посолил его. Он ел хлеб и смотрел на Сейбу и на Севкин трелевочный. Трактор двигался к мосту, к зеленой насыпи, медленно, гусеницами ощущивал каждую морщинку дна.

Наконец он взревел, наверное, выбирался у насыпи на сушу, все повернули головы в его сторону, но с места никто не двинулся. Севка и его чокарович Симеонов, мокрые и грязные, вылезли не спеша и стали осматривать гусеницы и трогать их пальцами.

— Севка! Симеонов! Топайте сюда! — закричали ребята.

— Вот ваша доля, — сказал Терехов.

— Сыты по горло, — махнул рукой Севка. И с досадой добавил: — Угораздило вас встать на этом бугре. Мы, дураки, перли прямо на вас, а тут глубина. Вымокли.

— Ладно, сейчас все пойдем сушиться и в столовую.

— Ну, как у вас? — спросил Севка. — Что нового?

— Как видишь, — показал Терехов глазами на Сейбу и на небо. — Хотя нет, у нас ведь свадьба. У Олега и у Нади.

— Вот как! — удивился Севка.

— Да, — кивнул Олег.

— Ну, старик, поздравляю! Когда?

— На среду назначили, — мрачно сказал Олег. — А тут Сейба.

— Ну и чего ждать, — оживился Островский. — В среду и сыграем. Чтоб запомнилась!

Терехов поднялся рывком. Закурил.

— Ермакова уложили? — спросил он.

— Уложили.

— По всей трассе наводнение?

— Да. И в Кошурникове и у Будкова. Только в Курагине и в Минусинске потише.

— Им легче прожить. А у нас с мостом ерунда.

— Мне еще нужно на тот берег. Чего вам только не насобирали! Даже свечек целый пуд.

— Захвати вон ту лодку. Верни ее мужику. Скажи, заплатим.

Они стояли рядом, и Терехову очень хотелось обнять Севку или хотя бы потрепать его по плечу, но они стояли как чужие, словно расстались час назад, словно не соскучились друг по другу. «Ничего, — думал Терехов, — вот выберется свободная минутка, тогда и поговорим...» Но он чувствовал, что Севка по всяким мелким приметам, как по шумам своего трелевочного, догадывается о его, Терехова, скверном настроении, понимает, что Терехов чувствует это и не разубеждает его, а потому обнимать было не по себе.

— Да, — спросил Севка, — значит, без перемен?

— Что без перемен? — не понял Терехов.

— Ну все... — Севка сказал это неуверенно, в голосе его Терехов уловил смущение и тогда понял смысл вопроса.

— Все без перемен, — подтвердил Терехов, и слова эти означали: «Ничего с твоей Арсеньевой не произошло, ничего...» Но тут же Терехов вспомнил, как глядела Арсеньева на Чеглинцева и как лежали шершавые коричневые лапы Чеглинцева на ее детских карандашных пальцах. «Надо будет сказать ему, — подумал Терехов, — чтобы не прошляпил...»

— Я поплыву, — сказал Севка. — Лодка в тех кустах?

С минуту Терехов, как и все, стоял и смотрел на трелевочный. Трактор съезжал к Сейбе нехотя: надоело ему испытывать свою железную судьбу.

— Идем в поселок,— сказал парням Терехов.

В столовой был иной мир, теплый и благополучный, зеленоватые лебеди все плыли к розовым кувшинкам, и чубатый машинист все пускал дым из важной коричневой трубки. К Терехову подсади бригадиры, механики, мотористы. Краснолицый мальчишка, напившийся сосновского молока, попискивал на руках матери.

Терехов говорил о мосте, о том, что камушки из него вымывает, говорил и о советах Ермакова забить ряжи бутом. Все были расстроены, Терехов это чувствовал и, помолчав, сказал, что медлить нечего, у всех будет одно дело. Тут же и распределили работы: бригада Уфимцева взялась ставить теплушку у Сейбы, воротниковцы должны были снять у моста бревенчатый скальп и открыть ряжи, Чеглинцеву поручили искать и возить камень, все остальные поступали в подсобные рабочие.

— На складе лежат плащи и резиновые сапоги,— сказал Терехов,— кто гол и бос, имеет шанс стать богатым.

13

Пеньковый канат Севка привязал к кривому столбику перил. Канат висел над водой и цеплялся за отмытый и нежный осиновый ствол. По насыпи, держась за канат, опуская сапоги в воду, двигались к мосту брезентовые мужики с пилами, ломами и топорами на плечах. Бутовый камень, собранный у столовой, Чеглинцев хотел было сбросить у самого начала насыпи, но потом представил, как будут таскать его к мосту, и решил погнать свой самосвал дальше.

Потом Чеглинцев уехал искать бут, сваленный где-то на дороге к Трельской сопке. А плотники не спеша делали свое, снимали перильца, обтертые и поцарапанные, выдирали из настила черные скобы и костыли и освобождали бревно за бревном. Севкин трелевочный приволок сверху столбы и доски для сарая, ямы для стоек были уже выкопаны, глиняные отвалы рыжими лисичьими пятнами капнули на серую холстину. Терехов вылез из ямы, воткнул лопату в пластилиновую землю и отправился к мосту.

— Эй, Терехов!— крикнули ему.— Иди сюда. Мы открыли.

Крикнули с третьего ряжа. Терехов выпрямился и по бревнам, балансируя руками, прошел к деревянному колодцу с проточной водой. Вода, вертевшаяся в срубе, была еще мутней, чем на свободе, и Терехов удивился тому, что она не доходит до верхних бревен.

— Дайте-ка лом,— сказал Терехов.— Нет, подлиннее.

Судя по чертежам и докладным, глубины бута должны были заполнять ряж до самого верха, но они не заполняли, а доходили до пятого бревна, и ничего хорошего в этом не было. Тереховский лом уперся в твердое, а потом, соскользнув с кривого бока камня, упал вниз, шурша чем-то под водой, и Терехов с трудом удержал его. Словно поварешкой, поводил Терехов ломом, помешал густую баланду из гальки и гравия, отыскивая большие камни, углы обшарил, ничего не нашел и тогда рванул со злостью лом.

— Так,— сказал Терехов,— один гравий. Сверху только...

Парни ломом прощупывали нутро сруба по очереди, словно каждому из них просто необходимо было проверить открытие Терехова. «Гравий, точно гравий, гравий и вода...» А потом и в других четырех ряжах лом месил ледяную сейбинскую баланду из мелких камушков. «Засыпем их бутом, сейчас все сделаем»,— сказали парни. Терехов кивнул, они-то были спокойны, они-то не знали, что в будковских бумагах ряжи уже давно были засыпаны бутом.

Терехов побрел по насыпи, голову опустив, и вода булькала у него под сапогами. Среди мужиков, ставивших сарай, он увидел Исполнова и Соломина и удивился тому, что они здесь. Появление Чеглинцева было, на его взгляд, естественным, а эти двое могли бы посидеть и дома.

— Вкалываете?— спросил Терехов.

— А-а!— махнул рукой Исполнов.— Везет нам! Снова тут сидеть! Если бы до наводнения...

Терехов постоял, помолчал и сказал, обращаясь в мировое пространство:

— А в ряжах-то — один гравий.

— Один гравий и есть,— подтвердил Исполнов.— А сверху большие камни.

— Вы ведь ставили мост?— вспомнил Терехов.

— Мы,— кивнул Исполнов,— а кто же?..

— Почему ж там один гравий?

— А потому,— сказал Исполнов и подмигнул Терехову,— а потому, что один гравий, и все...

— Это где гравий?— удивился Соломин.

— В ряжах...

— А чего там должно быть?— спросил Исполнов.— Тряпки? Кирпичи? Пирожки с мясом?

— Тебе лучше знать,— нахмурился Терехов.

— Ах мне!— воскликнул Исполнов, удивившись, и отвернулся от Терехова, давая ему понять, что поговорили и хватит.

Терехов вернулся на мост, делом там заправлял Воротников, знавший в этом толк, и Терехов встал рядовым в его команду. Бута не хватило на первый ряж, и тогда придумали отправить охотников в поселок, чтобы они выискали запасы булыжников и прочих драгоценных нынче камней. Чеглинцев появился через час, снова загнал самосвал на насыпь, кузов опростал, вылез из кабины грязный и злой, матерился и Терехову грозил, что сдерет с него премиальные.

— Далеко гонял?— спросил Терехов.

— Почти к тоннелю, понял?

— Много там осталось?

— Ездок на пять!

— Я с тобой.

— Нужен ты мне, как... Дай двух парней поновистей.

Терехов захлопнул дверцу, хотел вытянуть ноги, но сапоги его уперлись в металл. «Трогай»,— сказал Терехов. Самосвал завертел колеса по насыпи, побрызгивал рыжей водой. К съезду добирались медленно, но без остановок, а по размытому откоосу сопки карабкались долго, самосвал буксовал и сползал вниз, лицо у Чеглинцева стало красное, мокрое и злое.

— Не спеши,— сказал Терехов,— много не выиграешь.

— А мне нечего выигрывать,— бросил Чеглинцев.— Это вам надо выигрывать.

— Нам, вам!— обиделся Терехов.— Никто тебя не звал.

— Я же эту железную скотину лучше всех знаю, покалечили бы ее без меня...

— Как она на этом берегу оказалась?

— Не знаю,— сказал Чеглинцев и усмехнулся.

— Врешь. Знаешь.

— Ну, знаю. Я ее вчера пригнал. Известно, какой ты жмот. Пожалел бы нам машину дать. А в кузове самосвала разрешил бы...

— Вы бы и кузовом не побрезговали?

— А чего? Нам домой ехать. После дождика. В четверг.

Терехов достал пачку болгарских, а Чеглинецв прицмокнул, показал, что и ему неплохо бы закурить, и Терехов протянул ему сигарету, Чеглинецв поймал ее губами.

Терехов чуть-чуть опустил стекло дверцы и пепел страхивал на дорогу. Он поглядывал на Чеглинецва и на его руки и думал, как ему жалко отпускать этого парня. Но заново уговаривать его остаться Терехов не хотел из гордости. Он только любовался молодеческими движениями чугунного Чеглинецва и страхивал пепел на дорогу.

Чеглинецву было все равно, какие люди сидели в его кабине, но некоторые все же вызывали у Чеглинецва чувство приязни. Он и Терехова терпел среди этих некоторых, он даже с удовольствием смотрел на мужественное тереховское лицо со страхом на лбу («шайбой уделали или клюшкой»), с чуть кривым носом, примятым ударом кожаной перчатки.

Он вспомнил, как они с Тереховым прошлым летом ехали в Кошурниково. Правда, вел он тогда не самосвал, а просто «гражданский» «ЗИЛ» с дощатым кузовом, и Терехов сидел не в кабине, а в кузове вместе с акушеркой Семеновой. Справа же от Чеглинецва стонала закутанная в теплые платки жена бригадира Воротникова Галина. Сам бригадир где-то в Красноярске повышал квалификацию, а она стонала в машине, и Чеглинецв, растерянный, пытался успокоить ее старыми анекдотами. И вдруг она вцепилась крючкатыми пальцами ему в плечо и заорала так, что он испугался и с трудом остановил машину уже у кювета. «Что ты, что ты, успокойся», — приговаривал Чеглинецв, а сам барабанил кулаком по заднему стеклу, призывал на помощь фельдшерицу Семенову.

Потом они с Тереховым стояли на дороге, на самой вершине горы Козиной, курили и не оглядывались, а сзади на их ватниках рожала жена Воротникова. Она все кричала, а Чеглинецва и Терехова была нервная дрожь. Оба они улыбались смущенно и глупо, и Терехов повторял: «Надо же... Вот тебе раз...» Чеглинецв боялся, как бы она не померла тут от одного своего крика, девчонка была хотя и вредная, но неплохая, и он ее жалел. Вдруг кто-то запищал сзади, и Терехов с Чеглинецвым сразу поняли, кто именно. Чеглинецв не выдержал и оглянулся, толком он ничего не успел увидеть, но Семенова закричала на него так, словно он нарушил свирепый закон и ему полагалось десять лет одиночки. Потом она успокоилась и принесла в одеяле виновника всей этой истории. «Видите, какой у нас мальчик симпатичный». Рожа у мальчика была красная и безобразная, как тогда показалось Чеглинецву, они с Тереховым смотрели на нее боязливо, но все же кивали: «Да, да, симпатичный!»

И тогда Чеглинецву стало весело, будто дали ему ни с того ни с сего премию в полсотни рублей и он мог купить на них плащ с отливом или же на советскую выпить в минусинском ресторане «Юг». И у Терехова глаза блестели, он хлопал Чеглинецва по плечу и смеялся: «Понял!» Вскоре они привезли в Артемовский роддом Воротникову и первого сейбинского пацана, а потом на радостях выпили розового столового вина, семнадцать градусов, в засиженной мухами чайной. Они все фантазировали, придумывали подходящее имя и ничего не придумали.

Чеглинецв возвращался из Кошурникова добрый, и все вокруг казались ему родственниками, пусть троюродными, но родственниками, а уж Терехов был как брат.

Потом Чеглинецв навещал пацана в роддоме и многим рассказывал, как он принимал его у роженицы и как Семенова валялась рядом в обмороке. Позже он таскал Мишке Воротникову лакомства и человечков из сосновой коры. И теперь воспоминание о том, как они стояли с Тереховым на Козе и нервничали, Чеглинецва не отпускало. Оборвать его было трудно, все равно как родиться заново и оборвать пуповину. Воспоминание это было не единственным, каждая колдобина дороги, каждое человеческое лицо тут же заставляло чеглинецвскую память вынимать из своего сундука печальную или бодрую историю, и в них была его жизнь, и Чеглинецв знал, что там, в России, будет тосковать по своей саянской жизни. Он завидовал Васке Исполнову, который все мог вывернуть наизнанку, и жалел, что гнал сейчас свою машину к Тролу, а не к Козе. Ему казалось, что, если бы на Козе он сказал какие-нибудь грубые, лошадиные слова о той прошлогодней поездке, ему бы стало легче, он словно бы отцепил от себя одно из воспоминаний, истоптал бы его и перешагнул бы через него и оно не грызло бы его больше.

И еще он жалел, что Терехов не уговаривает его остаться. Он чувствовал, что, скажи ему Терехов сейчас: «Оставайся!» — он бы поканючил, поломался и разорвал обходной листок. Отстать от Исполнова и Соломина добровольно, по понятиям Чеглинецва, было предательством, но если бы кто-нибудь заставил его...

Чеглинецв не мог понять, забыл ли Терехов вчерашнее или все еще сердится. Терехов вчера злился правильно, ведь он начальник и должен охранять моральный кодекс. Кому-то надо это делать. И себя он не ругал, он был бы идиотом, если бы не поискал удачи в свой последний день. Он думал об Арсеньевой с удовольствием и считал: с наводнением ему повезло, вечером продолжим наши игры. Но тут он вспомнил, что вернулся Севка. «А-а! — подумал Чеглинецв. — Он интеллигент. Вдыхает о ней издали. Любовь на расстоянии. А мы приступом, приступом...»

Обратная дорога была не легче, а слова не шли. У Кызасской хляби перед ручейком машина вздрогнула и, словно бы крикнув, осела, разбрызгивая колесами грязь.

— Ну вот, — расстроился Чеглинецв, — порожний доехал, а груженный застрял. Надо же!

Он посидел с минуту, руки положив на баранку, тайгу слушал, глаза закрыл, а потом вздохнул обреченно, сдвинул кепку на лоб и дернул дверцу.

Чеглинецв вытащил топор и с остервенением начал рубить осины-недоростки. Терехов таскал их к машине и укладывал под колеса. В рыжей грязи толпились тонкие, провололочные ветки. «Хватит?» — спросил Чеглинецв. «Сам смотри», — пожал плечами Терехов. «Хватит», — буркнул Чеглинецв, но остановиться не смог и еще осинки порубил, так, на всякий случай. Топор он оставил на дороге, когда Терехов спросил его: «Зачем?» — ничего не ответил, не счел нужным, просто имел, наверное, обыкновенное пугать тайгу.

Руки Чеглинецва опять лежали на баранке, а самосвал ревел и дрожал, цеплялся колесами за метровую гать и не мог зацепиться. Мускулы Чеглинецва напряглись, пот выступил на коричневом лице, Терехов тоже напрягся и кричал, но сдвинуть

машину они не могли. «Толкну ее пойду», — бросил Терехов, и Чеглинцев кивнул ему. Терехов прыгнул с подножки, плечом уперся в мокрый зеленый металл кузова. Снова крутились колеса, шибали комьями грязи и осиновыми щепками, а Терехов все толкал, все старался, словно на самом деле мог машину столкнуть: «Ну, давай, ну, что ты упрямисься, ну, пошла!» И вдруг она пошла, не от его, конечно, толчков, а сама, пошла, полезла к деревянному мостику, родимая. Чеглинцев выскочил из кабины за топором, помахал им тайге и, подойдя к Терехову, довольный, стукнул его ладонью по спине. Снова, как когда-то, чувствовал он Терехова близким человеком, и все вокруг было ему по душе, и он понимал, что минута эта, ничем вроде бы не особенная в его буксующей шоферской жизни, еще сильнее привязывает его к мокрому и неуютным Саянам.

— Знаешь что, — сказал Терехов, помолчав, — оставался бы ты тут. Чего тебе мотать в Россию...

Слов этих Чеглинцев ждал давно. И ему было даже неинтересно, что он их услышал наконец.

— В этой грязи-то оставаться? Нашел дурака!

Потом они застревали еще четыре раза, и Чеглинцев все матерился, а доброе магнитное поле, возникшее в кабине, не исчезало. Было уже темно, когда привезли они к мосту последнюю порцию бутылки, и ребята работали при свете спеленатых наспех факелов. Чеглинцев с Тереховым встали в людской конвейер, передававший камни к ряжам. Воротников командовал уверенно, и Терехов решил ему не мешать. Чеглинцев швырял ему камни, а Терехов передавал их осторожно, потому что в цепочке перед ним стоял Олег Плахтин и лицо у него было измученное.

14

— О лег, сходи в сарай, погрейся...

— Спасибо, Павел, что же я-то... Все стоят, а я пойду?

— Слушайте! — крикнул Терехов. — Для половины объявляется перекур. Потом для другой. Кто желает...

Никто не пошел. Только камни двигались медленнее, словно прислушивались к человеческим словам.

— Маленькие, что ли! — сказал Терехов. — Топайте в сарай. Каждый второй. Начиная с Крыжина.

«Как он только успел сосчитать, — подумал Олег, — что я буду вторым, а он останется. Быстрый у него глаз, однако...»

В сарае горели свечи, тощие стеариновые работы. Буржуйка трещала, и железные ее бока были красные. Олег постоял у печки, руки держал над жаром, и в лицо ему бил жар.

Он отошел к стене и сел на лавку. С фанерного стола транзистор Рудика Островского выкладывал спортивные новости. «Динамо» проиграло «Кайрату», и в этом ничего хорошего не было. В руках у парней появилась коробка домино, черные костяшки застучали по фанере. «Олег, будешь?» «Нет, не люблю...» Не люблю, не понимаю, как можно часами долбить фанеру, будто и не гнули спину весь день, или еще в гостиницах собираются командировочные, упитанные, подвижные дяди, приехавшие объегоривать кого надо, и стучат, стучат... Черт, так можно заснуть, а спать нельзя, будет стыдно, ведь Терехов ворочает камни под дождем.

А все же не так плохо было бы и заснуть, будить не станут, пожалеют, разбудят позже, все сде-

лают, начнут гасить свечи, мять мокрыми пальцами горячий стеарин, и его разбудят. А он не расстроится, не умрет от стыда, потому что все равно уже ничего не может.

Черный потолок качается, черные танцующие тени летят в небо и не могут улететь, трутся о потолок и исчезают в нем.

— Олег, держи куртку, теплее будет!

— Спасибо, спасибо... Не надо...

Все же взял куртку, и на самом деле стало теплее. И мысли уже не спешили, укутанные теплом. Всегда в такие сумасшедшие дни, когда летело к черту привычное, ему было скверно, и лезвием обнажалось ощущение, что он в этом мире ничего не значит, ну ничего, и ничего от него не зависит, как бы он ни хорохорился. Он чувствовал себя жалким и беззащитным, а на него наваливалось что-то огромное и слепое, вспоминались бомбежки, пережитые во влахермском детстве, и снова в том далеком грохоте мать тянула его за руку в убежище, и черный сырой подвал прятал их. «Ладно... Хватит... Все пройдет... Привыкну...» Привыкнет, как это уже бывало сто раз. А вдруг в сто первый не выдержит? Что тогда?

Надя могла бы уже и спать, это было бы к лучшему. Ему не хотелось, чтобы она видела его сейчас. Конечно, он постарался бы выглядеть уверенным и сильным. Но ведь пьяные тоже пытаются выглядеть трезвыми. Нет, Надя, наверное, не спит, кто же сейчас в поселке спит? Только бы она не пришла сюда...

И так у них с Надей неладно. Да, неладно, и нечего себя уговаривать. И все, о чем он думал раньше, — пустяки, винегрет, а главное — Надя, она одна. Она его не любит. Нет, это уж слишком. Любит. Но, может быть, она любит и другого. А? Черт его знает... Может, все это ревность, чем он хуже других?

Но как он сейчас ни хотел переключить мысли, сделать это ему не удавалось, ощущение, что у них с Надей неладно, было устойчивым и жило в нем, как электрический ток в проводах. Всего несколько раз были они вместе, и у них выходило плохо, они говорили, что ничего, будет лучше, главное — любить друг друга, а он испытывал чувство растерянности и стыда, понимал, что и она нервничает и, как и он, винит во всем себя. Он верил, что это пройдет и они будут довольны друг другом, и все же иногда Олегу казалось, что дело тут не только в этом, а и в чем-то другом, объяснить чего он не мог. Как не мог иногда объяснить мгновенных выражений Надиных глаз и даже ее движений, которые не только озадачивали, но и пугали его. Тайна не тайна, но что-то в них было спрятано, а слова являлись Олегу неточные и неуклюжие, и он боялся, как бы они не навредили, и предпочитал молчать, и Надя молчала. Это было странно, потому что Надя молчать не любила и даже бывала болтливой, но тут что-то скрывала. Может быть, так и не вытравилось до конца ее чувство к Терехову, ведь он тут, рядом, и Надя все время, пусть даже подсознательно, сравнивает Терехова и его, Олега. Впрочем, в любви не сравнивают.

«Прекрасно, — сказал себе Олег. — Хватит. Давайте прекратим». И так шел дождь, и шумело наводнение, и эту печаль в сельсовете могли поставить теперь неизвестно когда. Быстрее бы ставили им печаль, он бы чувствовал себя спокойнее. Может, и вправду стоит устроить свадьбу, невзирая ни на что, именно в среду, на самом деле, в ней будет нечто красивое и романтическое. А почему бы и не в среду?..

Там, на улице, все еще таскали камни, и Терехов стоял в цепи, и Олегу надо было идти, но он чувствовал, что не сможет сдвинуться с места, так и останется на лавке...

— Олег, кончай дрыхнуть!

— Павел, встаю... я еще могу...

— Все. Кончили. Теперь мост не снесет. Все.

15

Аверьми хлопали так, что тайга вздрагивала от испуга.

Чеглинцев прихватил в сарае свечей побольше, благо никто не видел, сунул их в свой чемодан, а две поставил на стол в алюминиевую кружку и скребнул спичкой.

Ухнул на табуретку, вытянул ноги и закрыл глаза.

— Ну и денек,— вздохнул он.— Молотка у вас нет?

— Зачем тебе?— спросил Исполнов.

— Шею прибить.

— Машину-то где поставил?

— У крыльца. Веревочкой привязал, чтобы не убежала.

Помолчав, Чеглинцев спросил:

— Пожрать нечего?

— В столе хлеб и кусок сала.

— «Убили гады Патриса Лумумбу,— откусав, затыкнул песню Чеглинцев,— и закопали неизвестно где...»

Дальше петь было лень и оставаться было лень, чтобы стянуть сапоги, и оставалось только жалеть, что не поймал он в свое время в проруби щуку, говорящую человеческими словами. Он смотрел на свечки и сравнивал, у какой из них пламя больше.

— Деньги-то нам за сегодня заплатят?— спросил Чеглинцев, но Исполнов с Соломиным похрапывали, и тогда Чеглинцев заявил, успокаивая себя: «Заплатят. Конечно».

Он зевнул и тут же понял, что хитрит, потому что растянул рот сам, и сон тут ни при чем. Уснуть следовало как можно быстрее, он боялся, что снова придут воспоминания и мертвой хваткой вцепятся в него. Они ему осточертели, а отвязаться от них он никак не мог. «Ни о чем не надо думать,— решил Чеглинцев,— свечки надо считать. Раз, два, три, четыре...» Но, поворочавшись, он все же подумал и вспомнил первую свою езду по Артемовскому тракту, и, как связка бумажных цветов из рукава фокусника, потянулись всякие подробности, без которых Чеглинцев вполне мог обойтись в последние свои саянские дни.

День тот был жаркий, санаторный, воскресенье. Накануне их привезли в поселок Кошурниково со станции Абакан, где на асфальтовом перроне уши Чеглинцеву заложило от буханий медных инструментов и барабана. Чего-чего, а локтями двигать Чеглинцев умел, но тут дал маху, трясся в дощатом фургоне у самой кабины и так и не смог узидеть, что это за распрекрасная страна, куда он прикатил из своей арзамасской колыбели.

Потому он и уговорил утром в воскресенье Соломина прокатиться по трассе и поглядеть, ради чего они сюда заявились. Для этого надо было увести машину с чеглинцевской уже автобазы, взять ее на прокат. Кабина оказалась открытой у серого потрепанного «ЗИЛа» с прицепом, прицеп этот и пришлось тащить Чеглинцеву как нагрузку, как банку мускулов морского гребешка, придаваемых в сергачском «Гастрономе» к полкило вареной колбасы.

Все было ничего вокруг: и солпки, и елочки, и хлопотливый Сисим, Сейба и Кизир, камушками играю-

щие. Но Чеглинцеву хотелось пальцами прощупать неровности саянской земли, ногой поболтать в улетающей горной воде, цены посмотреть в магазинах и палатках на трассе, чтобы потом иметь их в виду. Он и останавливал все время машину к неудовольствию тишайшего Соломина. В Кордове в книжной лавке Чеглинцев засмотрелся на рыжеволосую учительшу, болтавшую с продавщицей, и, сам того не желая, купил три длинные палочки мела. Подумав, он крупно написал на бортах прицепа: «Капремонт. Перегон». Потом, не удержавшись, вывел на заднем: «Правительственные испытания». На дороге голосовали бабки с мешками, и Чеглинцев был благодарителем. Потом, перед Курагином, два сердитых инспектора остановили машину. «Какие пассажиры?— удивился Чеглинцев.— Ах, эти бабки! Да они темные, несознательные, сами попрыгали. Я даже от них отворачивался, от таких бесстыжих».

В Абакане пообедали, Чеглинцев сгреб в кассе сдачу двухкопеечными монетами и пообещал кассирше: «Я вам буду звонить на всю сдачу»,— и погнал «ЗИЛ» в хакассские степи: раз уж занялся географией, приходилось крутить колеса по шарик. В степи Чеглинцева и его спутников напугал ветер, способный перевернуть машину с прицепом и перекати-полем протаскать ее по рыжему шоссе. Вылезли из кабины размяться, ветер тут же швырнул им в лицо по горсти песка, и потом надо было этот песок выгребать из глаз и ушей.

Стемнело, когда вернулись в Абакан. Соломин стал жаловаться, что у него глаза режет, и тер их все время, Чеглинцев ему сначала не верил, а потом и сам почувствовал, что с глазами у него какая-то ерунда. Наверное, от песка. На углу главной улицы стояла будка с игривым названием «Таксофон». Чеглинцев хлопнул дверью стеклянной будки и вызвал «Скорую помощь». В ожидании помощи съели они с Соломиным по стаканчику абаканского пломбира, а Соломин все хныкал и предлагал смывать, пока не поздно. Санитары выскочили из медицинской «Волги» очень деловые и ничем не взволнованные, это Чеглинцева очень обидело как человека и гражданина. «Ладно,— сказал Чеглинцев,— инвалидов тут нет, а вы нам как-нибудь глаза почистите». Санитары зашумели, они тоже были обижены и грозились вызвать милицию. «Зачем вы хулиганили?— говорили они Чеглинцеву.— Вам же всего по капле на глаз капнуть надо». «Ну и капните»,— попросил Чеглинцев. «Нет ничего для вас, хулиганов!»— отрезал парень в белом халате. Уехала «Волга», и остались у таксофона сердитые Чеглинцев с Соломиным, чертыхались и ругали людей, которые им не капнули в глаза. Поехали дальше, а дальше было их родное Кошурниково.

Сколько раз потом проезжал Чеглинцев по той дороге и все мечтал, что, когда кончат они трассу, привезет он из пыльной хакассской степи камень с раскосой мордой, выскребет на нем хорошие слова и поставит его в саянской земле у самых рельсов, чтобы все пассажиры знали, что именно здесь, у Чертова моста, шофер Виктор Чеглинцев перевернулся на своем самосвале и сломал ногу.

Но до этой сломанной ноги и своего самосвала Чеглинцеву пришлось вытерпеть столько злоключений и просто скучных дней, что он долго ругал себя за памятную ознакомительную поездку. Потому что после нее рассвирепевший начальник автобазы за самовольный увод автомобиля да еще с прицепом чуть было не выгнал его с трассы совсем, а уже из шоферов-то, без слов разжаловал. И мыкался Чеглинцев разнорабочим, столяром, плотником, пока в чайной за стаканом киселя не разговорился с боро-

датый старателем. Мыл тот золото на Амыле, километрах в двухстах от Кошурникова, и сколачивал теперь артель. Чеглинцев посчитал, что стаканом киселя его не купишь, а потому и не отказался распить со старателем пол-литра за его счет. Наутро он с трудом вспомнил, как его вербовали, а вспомнив, для очистки совести рассказал обо всем Исполнову и Соломину. Он думал, что Исполнов посмеется вместе с ним, но тот сказал: «А может, стоит податься на Амыл?»

И они, к удивлению всех, уволились тогда из стройпоезда и поехали на Амыл. На шустрой, болтливой речке ковырялись целое лето, сначала все им нравилось, а потом кому как, а Чеглинцеву стало скучно. Не было вокруг за сотни верст ни деревушек, ни магазинов, ни танцплощадок, а медведи стали приедаться, как будто Чеглинцев каждый день посещал их в зоопарке. Соломин ныл, потому что всего боялся, а Исполнов ходил хмурый, считая, что бородастый их обжуливает. В августе вернулись они в Кошурниково блудными сыновьями и готовы были на колених постоять в кабинете у Фролова. Но тот был неожиданно добр и не устроил шума. Кошурниковцы над ними смеялись, но Чеглинцев с Исполновым всегда могли отшутиться, а Чеглинцев еще и хвалился мешком золота, который они якобы привезли с Амыла. Ему, естественно, не верили, но мешок не мешок, а мешочек лежал в чемодане у Исполнова, и хранился в нем желтый крупитчатый песок.

— Вот жизнь, — проворчал Чеглинцев. И тут он вспомнил об Арсеньевой. — Э-э, — сказал себе Чеглинцев, — надо пойти и посмотреть, как там она.

Он надел сапоги и причесался на всякий случай. Фонариком выбирал себе тропку, черные вымершие дома стили вокруг. Было тихо, к шуму Сейбы он привык, как привыкал к шуму станков в цехе. «Только бы Севка у нее не было, — думал Чеглинцев, — ради чего мокнуть тогда...» Он разволновался, и это было ему неприятно, он видел испуганные, неземные глаза Арсеньевой и в них тоску по мужским ласкам, трудной ей привыкать к монашеству. «Или я, или Севка — все одно. Кто первый...»

Окно Арсеньевой, конечно, было черным. Чеглинцев воровато подобрался к нему, желтый луч наткнулся на Илгу и тут же метнулся к стене напротив. «Дрыхнут, — расстроился Чеглинцев, — и та и другая». На всякий случай, созная всю безнадёжность дела, он постучал по стеклу. «Спит...» — выругался Чеглинцев и очень обиделся на Арсеньеву.

Медленно побрел он обратно, и ему было жалко себя. Одно окно в их общежитии светилось. О железку в коридоре Чеглинцев попытался счистить грязь с сапог и прошел к комнате Терехова.

— Входи, входи, — сказал Терехов.

Он сидел у стола и что-то чертил.

Севка похрапывал, и этому Чеглинцев обрадовался. — Сидишь? Ну-ну, — сказал Чеглинцев, стряхивая капли.

— Сам-то вот шляешься ночью, — буркнул Терехов. Он быстро убирал бумаги со стола и был чем-то смущен.

— Бессонница, — сказал Чеглинцев, — болезнь века.

— Чаю поставить? — спросил Терехов. — Варенье у меня есть. Ежевичное.

— Знаешь что, Терехов, — выпалил Чеглинцев, — решил остаться я. К едреной фене мне этот Сергач.

— Ну что ж, — сказал Терехов вяло, — оставайся.

— Нет, я на самом деле... — начал Чеглинцев и тут же осекся. Ему снова стало жалко себя и обидно оттого, что Терехов не бросился к нему жать

руку и не проснулись все зачуханные жители поселка, не прибежали качать Чеглинцева, простого и любимого всеми парня. Получалось так, что вроде бы Терехов делал одолжение Чеглинцеву, а не он, Чеглинцев, адский водитель, решил поддержать коллектив в трудную минуту.

— Надо еще подумать, — строго сказал Чеглинцев. — Взвесить все предложения.

— Подумай, — равнодушно кивнул Терехов.

— Нет, уж я решил, — заторопился Чеглинцев, вдруг испугавшись, что Терехов вспомнит о саянской гордости. — Чего ж тут, оформляй бумаги. Я волком бы выгрыз бюрократизм...

— Ну и добро, ну и хорошо, — оживился на секунду Терехов, — я рад, что ты остаешься.

Он шлепнул Чеглинцева по плечу, и тот забормотал что-то довольно, он был теперь растроган и очень хвалил себя за то, что не смог заснуть и пришел в эту комнату с непотушенной свечой.

— Сейчас я тебе чаю налью.

— А покрепче ничего нет? — поинтересовался Чеглинцев, — а то раз такое дело, раз такой поворот в автобиографии...

— Нет, — сказал Терехов, — ничего нет.

— Ладно. Давай эту простоквашу. Вот так. И мы для жизни новой имеем лишний шанс...

— Слушай, — сказал Терехов, — ты ведь был в бригаде Исполнова, когда мост ставили. Чего вы там наделали?

— Где? — насторожился Чеглинцев.

— На мосту.

— А чего мы там наделали?

— По бумагам, бут в ряжах лежит...

Чеглинцев был сейчас добр, и любил Терехова, и сам себе нравился за то, что сумел отказаться от глупой и скучной идеи уехать из Саян, и сидел успокоенный и душевный, и все думал о том, как хорошо он поступил, и какой он молодец, и какой молодец Терехов.

— Сам я ничего не знал, когда строили. Потом Васяка проболтался. Он все дела с Будковым вел. Будков тогда спешил, нас все торопил. Очень ему мост нужен был. Все сидел у моста. Срубы мы поставили, а начинки им не было, задержались с бутом. Будков все торговался, вышибал у снабженцев бут и не вышиб. Месяц или больше он должен был ждать. А там снег — и привет дороге. Он и велел сыпать гравий. Вон его сколько рядом. Нам-то что бут, что гравий. Сыпали. А сверху попросил б'ульжнику положить. Месяца через два пригнали бут, он его тихо велел у Трола свалить.

— Зачем это ему все надо было?

— Исполнов знает. Ведь дорого яичко к...

— А в бумагах все в лучшем виде.

— Что же он, ребенок, что ли, пионер? Он и нам какие-то работы приписал, мы денег больше получили и довольны были.

— И молчали?

— А чего же нам кричать? Что я, прокурор, или депутат, или уполномоченный? Я тогда брюки купил.

Терехов встал.

— Пошли.

— Куда?

— К Исполнову.

— Еще чего...

Терехов вышел. Чеглинцев вздохнул и представил, как они там поговорят. Он был обижен на Терехова, потому что того больше волновало не его, Чеглинцева, возвращение, а темная история сейбинского моста. «Ничего, значит, для него переживания про-

стого человека не стоят», — думал Чеглинцев и со-
вал суповую ложку в банку с вареньем.

Терехов стоял у кровати Ипольнова, когда Чег-
линцев все же пришел к своим, а Васька сидел на
одеяле, и ноги его в носках висели над плетеным ков-
риком.

— Привет, — сказал Чеглинцев.

— Ты чего там наболтал! — почти крикнул ему
Васька.

— А чего я наболтал? — заробел Чеглинцев.

— Он ничего не хочет говорить, — сказал Терехов.

— Нет, ты скажи, чего ты наболтал! — повторил
Ипольнов.

— Не ори! — рассердился Чеглинцев. — Все как
было...

Еще секунду назад у него было такое чувство, что
на самом деле он зря проболтался, и он боялся гля-
деть в глаза Ипольнову, но теперь Васька разозлил
его, и Чеглинцев стоял красный и готовый полезть
в драку.

— Вот и отлично, — сказал Ипольнов, — он тебе
все объяснил, как было, а я помолчу.

И он завалился на кровать лицом к стене.

— Как хочешь, — сказал Терехов, — как хочешь.

Он уходил из комнаты, опустив голову и ссутули-
вшись. «Гордый, гад!» — подумал в спину ему Чеглин-
цев.

Он разделся, нырнул под одеяло и пропел для
бодрости в сторону ипольновской немой кровати:
«Веселая старушка разделит наш баланс, и мы для
жизни новой имеем лишний шанс».

16

Утро было опять серое.

Серое, как вчера, как позавчера, как сто
дней подряд, как сто лет подряд, серое, ка-
ким оно будет всегда.

Дежурные рассказали Терехову, что с мостом все
в порядке, что вообще все в порядке, никаких про-
исшествий не случилось.

Столовая уже дымилась, и тянулся к ней сонный
народ. Терехов не решился сразу шагнуть на ее
крыльцо, а стоял рядом на досках, вмявшихся в пла-
стилинную землю, курил и кивал всем и словно пе-
ресчитывал бойцов своего отряда да отмечал про
себя, какое у кого самочувствие.

— Дров-то нет, — сказал Уфимцев.

— Разве нет? — спросил Терехов.

— Вон-вон, — заторопился Рудик Островский, —
сколько елок-палок вокруг растет.

— Да, — кивнул Терехов, — надо будет сегодня
дров заготовить. Чтобы надолго... На островную
жизнь...

— Слушай, дрова — это ерунда! — сказал Рудик. —
Думаешь, я тебе вчера о свадьбе в шутку говорил.
Вовсе нет. Я убежденно! На острове, в наводнение,
в штормовую погоду — и вдруг свадьба. Вся Сейба
празднует... «Нас венчали не в церкви...» А?..

— Пожалуйста, — сказал Терехов, — устраивайте.

— Погоди, погоди, чего ты раздражаешься...
Это же на самом деле здорово! А, ребята? На всю
жизнь, — зажигаясь, продолжал комсорг.

— Ну и хорошо. И устраивайте. Если они этого
хотят.

— Терехов, чего ты ворчишь! Они этого хотят!

— Скучно после вчерашнего стало, — подумал
вслух Терехов.

— Слушай, Терехов... — взмолился Островский.

Терехов хотел сказать ему какие-нибудь несерьез-
ные и ни к чему не обязывающие слова, чтобы от-
стал, но, повернувшись к Рудiku, он увидел Олега
и Надю. Они шли по доскам-понтам и мимо прой-
ти не могли. Рудик притих, и Терехов подумал, что
ни Надя, ни Олег ничего о его затее не знают.

— Легки на помине, — выдохнул Островский.

Поздоровались. Руки друг другу пожали. Но гля-
деть в ее сторону, в ее глаза Терехов не мог.

— Так и не зашел к нам, — сказал Олег.

— Тут наводнения, землетрясения, солнцестоя-
ния...

— Ты заходи, Терехов, — сказала Надя.

Терехов повернул голову и посмотрел в ее глаза,
и в них, смущенных, убегающих от его глаз, расшиф-
ровал, почувствовал такое, что обожгло его: она
любит меня, она любит меня, и ничего не измени-
лось, ничего не было, и вся эта история со свадь-
бой не что иное, как фантазия, умелый розыгрыш, и
надо только шагнуть сейчас к Наде и сказать ей:
«Я люблю тебя».

— Ладно, как-нибудь зайду, — неуверенно выгово-
рил Терехов.

— И Севку зови, — сказал Олег.

— Слушайте, слушайте, — спохватился Остров-
ский. — Олег, Надя, помните, мы вчера говорили,
свадьбу не отменять, а завтра здесь на острове,
чтобы на всю жизнь... А?

— Я «за», — сказал Олег. — Я же говорил.

Терехов смотрел на Надю и все думал, что, мо-
жет быть, она скажет сейчас правду, должна ска-
зать правду, спектаклю пора заканчиваться, раз у
нее глаза такие.

— И я — «за», — сказала Надя.

— Вот и хорошо! — обрадовался Островский.

— Хорошо, — кивнул Терехов.

— В столовую идешь? — спросил Олег.

— Попозже, — сказал Терехов.

Уходила Надя, сапожки ее осторожно ступали по
забрызганной грязью доскам, уходил за ней Олег,
и парни кричали ему, что жена у него скупая и не-
делуха, раз дома не кормит, и Олег смеялся, а смея-
лась ли Надя, Терехов не видел, и видеть ему было
ни к чему.

Он бросил окурочек и сказал Уфимцеву:

— Пока Севка спит, надо дров нарубить.

— Хорошо, — сказал Уфимцев, — поедем и пой-
дем.

Когда оставалось разрубить последние еловые ко-
лоды, Терехов подумал, что занят он не своим де-
лом, уцепился за него, оттягивая свои начальствен-
ные хлопоты. И когда он таскал охапки дровишек в
девичье общежитие и в семейное, все размышлял
о том, как и кем ему сегодня руководить, чтобы
из руководства этого вышел толк. Был он электри-
ком и плотничал, был он и бригадиром и всюду
ощущал от своей работы ту самую реальную поль-
зу, которая могла принести удовлетворение. И вче-
ра действия его, может быть, помогли делу, сегод-
ня же, когда наступили штилевые будни, он испу-
гался, что будет среди настоящих работяг челове-
ком, необходимости в котором никакой нет. Он
уложил последнюю охапку, перебрисался с девчата-
ми веселыми словами насчет тепла и пошел по
объектам.

Он ходил от дома к дому, стоял и смотрел на ра-
ботающие руки, говорил какие-то слова, потому что
молчание его могли истолковать неправильно, и сму-
щался, а настроение у него было скверное, он все

боялся, что кто-нибудь скажет ему: «Ты же здоровый парень, а болтаешься без дела». Но никто не говорил ему этого, все словно радовались его появлению.

В комнате-конторке провел он коротенькое совещание, все были добрые или усталые и не шумели, потом обошел общежития и выслушал обиды техничек, хотел найти Исполнова и поговорить с ним, но не нашел и тут вспомнил о старике, ночном стороже. Он заспешил к его домушке, почти побежал и, дернув дверь, увидел старика на полу, на распластанной вонючей овчине.

— Ты ночью не спал, что ли? — спросил Терехов.

— Сторожил я...

— Идиот, — выругался Терехов.

— Сторожил я...

— Я идиот. Иди в мужское общежитие. В нашу комнату.

— Хорошо, надо если... — Старик собирал вещички и улыбался, но улыбался он всегда, когда с ним говорили.

— Можешь спать и ночью и сейчас.

— Ночью мне на пост...

— Я отменяю пост, — сказал Терехов сурово, но заметил в выцветших, слезящихся глазах старика испуг и добавил не очень решительно: — На время наводнения.

Старик перекладывал в газетный сверток куски сала, хлеб, вареную картошку и чищенные луковичи, хотел перекладывать быстрее, но руки слушались его не сразу.

— Да, — сказал Терехов, — будешь ходить в столовую, там все горячее и вкусное.

— Так ведь, Павел, деньги для харчевания-то нужны, а мы крестьяне...

— Покормят без денег, я скажу...

— Ну-ну, — кивнул сторож, и Терехов понял, что к словам его старик отнесся с недоверием.

Устроив сторожа, Терехов собрался было отправиться к Ермакову, чтобы рассказать ему о мосте и решить, как вывести ложь на чистую воду. Но тут он вспомнил о Надином согласии устроить свадьбу, и все его прорабские дела показались ему такой ерундой, все эти мосты, гравий — такой мелочью рядом с тем, что действительно важно было в его жизни, и он, усталый, пошел в свое общежитие.

17

Назавтра Терехов был мрачен, и работа не развеселила его.

И когда он ходил по объектам и когда заседал в руководящей каморке, больше молчал, потому что боялся нагрубить ребятам, как нагрубил Арсеньевой, сунувшейся к нему со своими неземными печальями. И с Илгой говорил резко, словно это она была виновата в том, что трое парней простудились после вчерашних ванн и слегли с температурой. Рудик Островскому, хлопотавшему со свадебными приготовлениями, он сказал, что устал и нечего к нему приставать, он и на самом деле устал, но помогать отказывался вовсе не из-за усталости, и Рудик должен был бы это понять. Но он не понимал, а все вертелся вокруг Терехова, все выкладывал ему свои идеи, пока они шагали к мужскому общежитию, говорил, как сделать свадьбу веселой и звонкой, и радовался этим идеям, и глаза у него блестели. Ру-

дик не замечал, что Терехов слушает его невнимательно и кивает невпопад, а выговорившись, Рудик побежал искать нового собеседника, сказав: «Оформление за тобой». Терехов вздохнул, он понимал, что, как ни крутись, а завтра придется заняться свадебным оформлением — такова уж каторжная судьба домашних художников, хоть чуть-чуть умеющих волочить кисть по бумаге или делать прямые линии плакатным пером. В коридоре Терехов подумал об Исполнове, надо было продолжить с ним разговор, но тут же он вспомнил, что все это ни к чему, и толкнул дверь в свою комнату.

Старика не было, может быть, он ушел по привычке на свой отмененный пост, а у стола сидел Севка.

Севка надел очки и был серьезен, как всегда, когда занимался или читал. Увлекались они книгами разными: Терехов брал современные романы, книги про художников и архитекторов, а Севка сидел над историей, переживая все ее драмы и приключения ее героев. В прошлом году закончили они наконец с горем пополам десятый класс в вечерней курагинской школе и, дав себе отдохнуть осень и зиму, собирались теперь в заочные институты. Терехов — в строительный, а Севка — на исторический факультет педагогического, но заниматься времени не было.

Терехов обрадовался, что Севка сидел один и наконец-то они могли поговорить по душам, хотя он сам на Севкином месте отправился бы сейчас к Арсеньевой и не зевал бы. Терехов отрезал кусок черного хлеба, посыпал его солью и, жуя и потягиваясь, улегся на кровать, молча поглядывая на Севку. Прямые белые Севкины волосы рассыпались. Севка сдвигал их пальцами, надо было бы постричься ему посмелее — кто теперь носит такие длинные волосы? Листал Севка историю Соловьева и выписывал из нее в общую тетрадь интересовавшие его мысли и факты. «Хотя, конечно, он и буржуазный историк, — прошепел как-то Терехов Севке, — но материал дает богатейший...»

— Значит, завтра свадьба... — сказал Севка и снял очки.

— Что? — не понял Терехов.

— Я говорю, свадьба завтра...

— Да, — зевнул Терехов, — мне завтра всякие шуточные плакаты рисовать нужно...

— Это в Олеговом духе, — сказал Севка, — свадьбу в такую пору устраивать. Еще бы с фейерверком.

В голосе его не было ни удивления, ни иронии, не осуждал он Олега с Надей, и все же Терехов проворчал:

— Ничего в этом плохого нет.

— Я разве говорю...

— Ты к ним не заходил? — спросил Терехов.

— Когда уж тут... — сказал Севка, но сказал так, что Терехов понял: он не заходил вовсе не из-за времени.

— Слушай, Сев, — начал Терехов, — я хотел с тобой поговорить. Только пойми меня правильно... Что-то мне не нравится сейчас в Олеге, а что — не уловлю... Его что-то гложет, и ему, может быть, нужна помощь...

— А тебя ничего не гложет? — спросил Севка.

Терехов промолчал. Он думал о семье Плахтиных, о своем друге и покровителе Сережке — старшем брате Олега, — вспоминал день, когда они с Сережкой у села Андреевского наткнулись на тот еще не зарубцевавшийся кривой окоп и в оползавших песочных его боках откопали пулемет, помятые ка-



ски и гранаты. И потом, когда Терехов, раскинув ноги, лежал за пулеметом, была вспышка, и грохот, и жесткое чувство страха вцепилось в Терехова через минуту, и пять километров, что он волок на себе Сережку, все еще веря, что Сережка жив, и у него не было времени плакать. А потом он дал себе слово заменить Олегу старшего брата, он и покровительствовал поначалу Олегу, но дороги их разошлись: Терехов уже тянул ляжку взрослой развеселой жизни, а Олег...

Севка же, откинувшись к стене и закрыв глаза, думал о том, как прошлой зимой были они с Олегом в снежном походе.

Стояла зима, но не очень уж свирепая, с тридцатью градусами. К самой Трольской горе надо было перевезти из Кошурникова три теплых вагончика и четырнадцать лесорубов во главе с прорабом Кузьминым. Бригаде этой предстояло зимовать у Трола. Вагончики доверили тянуть двум корчевателям, бульдозеру и двум трелевочным, в том числе и Севкиному.

Сначала двигались ничего, но, когда до Трола осталось семь километров, завязли в снегу. В первый день одолели двести метров, во второй — полтора километра, и так бились неделю. Где-то слева под снегом в два человеческих роста петлял сейбинский сынок Трол, а справа поджидало экспедицию незамерзшее каким-то чудом болото. Все дни Севка был в горячем движении, словно ему и было поручено тянуть собственными мускулами весь караван. И все же несколько раз он замечал, что Олег сидит где-нибудь в уголке вагончика, съевшийся и растерянный. Вокруг суетились, кричали или просто молча делали что-нибудь, бездеятельный и жалкий

Олег Севку злил, и Севка ругал себя за то, что взял в дело непривычного к нему человека.

Но когда они все же пробились к Тролу и были счастливы, как папанинцы на своей льдине, и стояли под горой, где быть городу, и поругивались, по-русски выражая удовольствие, случилось такое, что изменило их отношение к Олегу. Олег выскочил из вагончика с красным флагом в руке — где он его прятал раньше, никто не знал — и побежал вверх по трольскому склону, к фиолетовой скале, торчавшей из снега. Скала была небольшая, но обледеневшая, и взбираться на нее было опасно; Олег лез неумело, но лез, чуть было не сорвался и все же поднялся на скалу и застыл с флагом. Он стоял над парнями, над спящей долиной, ленивый ветер потрепывал полотнище, и Олег был прекрасен.

И потом Севка каждый день путешествовал на Трол, к обживавшим его лесорубам, возил им хлеб и прочую жратву, видел флаг над скалой, как над взятым городом, вспоминал о той чудесной минуте, и все, что было за неделю их снежного похода, казалось ему обычным и несущественным, а та минута была главной.

Теперь же он снова видел растерянные глаза Олега, съевшегося в углу вагончика. Он вспоминал и другие случаи, когда Олег вел себя так, что его можно было заподозрить в слабодушии, но у Севки сложилось о нем представление восторженное, и менять это представление Севка не собирался.

Терехов рассеянно кивал и думал о том, что вот дал он слово быть Олегу старшим братом, а какой он, к черту, старший брат.

— Если он и нервничает, — сказал Севка, — то, наверное, из-за Нади...

Терехов пожал плечами.

— Слушай, Павел,— встал вдруг Севка,— а тебе не кажется, что Надя любит тебя? И вся эта затея со свадьбой из-за тебя?

Терехов молчал, лежал с закрытыми глазами.

— А может,— сказал Севка,— она и тебя и его любит... Она такая...

18

Терехов водил кистью по газетным листам. Он сидел в комнатке у кухни, а за стеной, в большом зале столовой, уже шумели сейбинские жители.

Свадьбу уже играли, и Терехов был доволен, что может сидеть здесь, а не в большом зале.

Он едва успел побриться и, касаясь подбородка или щек, испытывал приятное чувство свежести, словно именно в щетине еще полчаса назад и таилась усталость. А теперь она, эта усталость, разлилась по всему телу, и если бы Терехов мог распоряжаться своим временем, он бы сейчас свалился на пол и заснул.

Нынешней ночью его разбудили, потому что дежурным у Сейбы показалось, что вода в реке снова стала прибывать, тревога была ложной, но Терехову пришлось провести у моста не один час, прежде чем он понял это. Дежурные, смутившись, объясняли, почему им померещилось, и хотя Терехов был сердит, он ушел от них молча, а заснуть так и не смог.

Днем, на каких бы участках он ни был, всюду он чувствовал, что сейбинцы живут ожиданием свадьбы, и в глазах их бродило веселье, словно сегодняшним вечером должен был наступить в островной жизни удивительный перелом. Шутки Терехов вроде бы поддерживал, но тут же, как и полагается начальству, просил не забывать о Сейбе и ее неразгаданных фокусах.

Он не знал, старался не знать, что там затевает какаэс, или комитет комсомольской свадьбы, сколоченный Рудиком Островским, и даже какие напитки было решено закупить в Сосновском сельпо, его не интересовало. Он думал только о том, какое бы дело найти своим рукам, чтобы увлечься им и ни о чем не думать. И он нашел такое дело, пришла пора восстанавливать искалеченную Сейбой трубу за мостом, а для этого надо было подготовить вогнутые деревянные блоки и, как только спадет вода, заправить их в насыпь. Терехов набрал пятерых dobroxотов с рубанками, и пилами, и топорами, пошли они к сторожке и лесному складу и там принялись колдовать над бревнами. Терехов работал с удовольствием, и ему стало жарко, он скинул с себя ватник и рубашку и голый по пояс стоял под дождем. Но товарищи его все поглядывали в сторону поселка, и говорили о свадьбе, и намекали Терехову, что пора кончать дела и топтать к столовой, а то опоздаем. И Терехов отпустил их, пообещав, что скоро тоже пойдет в поселок. Слышал голос тумаркинской трубы, звучащей неспроста, идти никуда не собиравшись и так бы провозился до темноты, если бы не прибежал Рудик Островский.

Рудик был возмущен, потому что Терехов проваливал оформление. Впрочем, он тут же остыл и принялся рассказывать Терехову, как все здорово идет, как перевозили Олега и Надю в сельсовет, как на обратном пути стелили им под ноги доски до самой столовой, и как Надя совсем не запачкала свое чудесное платье.

В столовой гомонили и смеялись сейбинские, и было светло от горящих свечей, не зря сосновские кооператоры грузили их мешками на трелевочный трактор. В беспокойном, качающемся свете Терехов увидел клееночную живопись на стене, знакомые лица с пьяными уже глазами и в самом конце зала прямо перед собой торжественного Олега и Надю во влахермском серебристом платье. «Терехов, Терехов! — загалдели вокруг. — Иди к нам! К нам!» «Терехов! Терехов! — вскочила Надя. — Иди-ка сюда!» — Налейте, налейте все! — почти кричала Надя. — Сейчас мы будем пить с Тереховым.

И Терехов не мог не улыбнуться, не мог не поцеловать Олега и Надю, как добрый родственник или друг семьи, не мог не выпить за их счастье и не кричать потом со всеми: «Горько! Горько!»

«Терехов, Терехов! — опять загалдели за столом. — Садись с нами! С нами!» Терехов улыбался смущенно, а сам прикидывал, как бы ему оказаться подальше от Олега и Нади. «Терехов! — схватили его за локоть. — Садись сюда». Чья-то крепкая рука потянула его, и Терехов, потеряв равновесие, осел на стул.

— Будем соседями, Терехов, — засмеялась Илга.

— Ничего у тебя ручка! — удивился Терехов.

— Пригласишь меня танцевать? А то я приглашу!

Илга смеялась громко и непривычно, и лицо у нее было неожиданно счастливое, а может, подумал Терехов, просто она захмелела за свадебным столом.

А на столе этом под свечками стояли бутылки и распоротые консервные банки с костями чехони и балтийскими кильками в томатном, естественно, соусе. Чего было в достатке, так это всяких прошлогодних солений — капусты, огурцов, помидоров, груздей — из сосновских погребов. В завершение ужина предлагалось разложенное по столу печенье, сухое и ломкое, галеты не галеты, но и не подарок кондитеров. Основой же свадебного пиршества была картошка, вареная, теплая, дымившаяся еще.

Лили вино и водку в стаканы, банки и жестяные кружки; Терехов почувствовал, что пьянеет, и это показалось ему удивительным. А уже пришло время, когда общая компания разломилась на мелкие группки, и в каждой из них были свои интересы и разговоры, и кое-кто уже и не помнил, ради чего он пришел в этот зал. И только иногда разногласия взрывалась словом к молодоженам, криками «горько», «горько», и крики эти снова объединяли всех.

Терехов старательно занимал себя разговорами с соседями, и Илга его поддерживала, и все же он не мог не поглядеть в сторону Олега и Нади, а поглядывая, любовался Надей и был удивлен счастливым выражением Надиного лица, словно ждал от сегодняшнего вечера иного. Он все выгадывал подходящую секунду, когда можно было бы сбежать из этого благополучного зала, потому как боялся, что в конце концов учудит какую-нибудь глупость, которая всем испортит настроение.

Постепенно Терехов рассмотрел за столом всех своих знакомых, увидел, кто где сидит, и заметил, что Севку посадили в самом конце стола, возле молодоженов, а у Арсеньевой сосед — Чеглинец.

— Терехов, ты чего такой задумчивый? Ты обо мне забыл!

— Извини, Илга, я устал немножко.

— Скоро утихомирится эта противная речушка, и наш Терехов отдохнет. А мне уезжать в Курагино, и Терехов обо мне забудет...

И хотя слова Илги были грустные, она улыбалась, и глаза ее блестели, говорила она с мягким и нежным акцентом прибалтийцев, и Терехову она сейчас

нравилась, и он стал гладить ее прямые русые волосы, и Илга не отстранилась, не застеснялась людей вокруг, смеялась громко и счастливо.

— Как же это он о тебе забудет? — сказал Терехов. — Не забудет он. Мы тебя сюда вытребуем. Нам нужен врач.

— Я разве врач? Я не врач. Я зубной техник. Страшная женщина с бормашиной вместо сердца. Слышишь, как жужжит.

Принялись сдвигать столики к стене, под плакаты, чтобы было где поплясать под транзисторные ритмы. Извинившись перед Илгой, Терехов встал и пошел покурить в коридор, и там его втянули за руку в клубок спорщиков, как лицо авторитетное. Спорили пьяно и бестолково и, видимо, уже не помнили, с чего спор завязался.

Вокруг спорщиков собрался уже добрый десяток парней, куривших молча, но со вниманием выслушавших все мнения. И по выражению их глаз можно было понять, что парням этим каждая очередная реплика кажется несомненной истиной, а все, что говорилось раньше, заблуждением, в которое они неизвестно почему поверили.

Парни закивали сначала Олегу, потому что Олег рассуждал правильно, а потом закивали Рудики, потому что Рудик рассуждал еще более правильно. Терехову не хотелось вступать в этот петляющий и бестолковый разговор, он вообще любил споры только слушать и уж потом на досуге обмозговывать их суть.

Спорщики все горячились и размахивали руками, а он думал о том, что как бы ни был занят и что бы ни делал — стругал ли бока деревянной трубы, или ругался с бригадирами в прорабской каморке, или тыкал вилкой в разваренные макароны, — все это сейчас как бы покрывало на мяче, а есть одно — мысль о Наде, и отделаться от нее, отвлечься от нее он не может.

И только он подумал о Наде, как она появилась в дверях столовой. Волосы ее, густые, падали на плечи, стояла в дверях прекрасная женщина, каких и вовсе не бывает, стояла в дверях и подмигивала Терехову, видом своим говорила: «Ничего, ничего, я этим спорщикам, этим болтунам слова не скажу, а они все равно умолкнут и обернутся, не могут не почувствовать, что я здесь, что я сегодня хозяйка, и я красива, как королева, как сто королев, они не смогут не обернуться, не посмотреть на меня и не полюбоваться мною». И замолчали парни, обернулись, как бы невзначай, увидели Надю и смутились. А она улыбнулась Терехову и рукой показала ему на парней, ну вот, мол, пожалуйста, обернулись, и мне это ничего не стоило, я и не это могу, а потом сказала:

— Так не поступают советские люди. Они не бегут со свадеб, когда начинаются танцы.

Голос у нее был низкий и влажный, а слова она произносила укоризненно и нараспев.

— А, мальчики? — сказала Надя.

Все с удовольствием стали каяться и хвалить Надю, какая она сегодня, они за свой век таких не видели.

— И тем не менее вы здесь, — сказала Надя, — а я там... Ждать вас я не буду. Сама приглашу кого-нибудь из вас. Сейчас кто-то из вас у меня заплещет.

Что-то воинственное и грозное появилось в ее глазах, и парни присмирели, будто бы и вправду она сердилась на них и теперь выискивала жертву. А Надя переводила прищуренный взгляд с одного парня на другого, и Терехов ждал, что она снова посмотрит на него и позовет его, он был уверен в этом, но Надя

шагнула к Севке и сказала: «Пойдем, Сев, я тебя больше всех люблю».

В зале уже толклись в танце пары, хотя музыки и не было почти слышно. Терехов принялся отыскивать Илгу и увидел, что она танцует со столяром Васильевым. Илга заметила Терехова и засмеялась, показала ему нос, и Терехов горестно развел руками. На стуле у стены сидела Арсеньева, закутанная в свой монашеский платок, а рядом пристроился Чеглинцев и толстыми пальцами строил какие-то сложные фигуры в надежде рассмешить Арсеньеву. Терехов подошел к ним и сказал:

— Алла, давай потанцуем.

— Хорошо, — безучастно сказала Арсеньева.

Она поднялась и протянула ему руку, а сама глядела куда-то вбок, то ли на черные окна, то ли на тощие освещенные свечи, и, когда они танцевали, она так ни разу и не взглянула ему в глаза и в Севкину сторону не посмотрела. А Терехов смотрел в Севкину сторону, и видел Надю, и видел, какая она красивая, и как она красиво танцует, и какое у нее лицо красивое и радостное. Шепот музыки оборвался. Терехов отвел Арсеньеву к ее стулу и сказал, что уж больно у них с ней танец официальный получился.

— Да, — согласилась Арсеньева.

— Слушай, Терехов, — сказал Чеглинцев, — давай выпьем.

— Давай, — сказал Терехов.

— За любовь! — почему-то засмеялся Чеглинцев, подмигнул Терехову и подцепил в кастрюле остывшую картофелину.

— Давай за любовь...

— За любовь, — сказала Арсеньева.

Прорезался танец побыстрее, фокстрот не фокстрот, но приятный. Чеглинцев встрепенулся, сделал движение рукой, приглашая Арсеньеву, но одновременно он хотел прожевать картофелину, и, пока он мешкал, Терехов подал руку Арсеньевой и повел за собой в середину зала.

— Чарльстон, — сказал Терехов. — А чего ты такая скучная?

— Я всегда такая...

— Хотя сегодня будь веселой. Ну улыбнись, а? Вот! Как ты улыбаешься! Был бы помоложе лет на пятнадцать...

— Болтун ты, — засмеялась Арсеньева. — Все вы болтуны...

— Уж сразу и болтун, — сказал Терехов. — Это самый длинный наш разговор. И то с благородными целями. Улыбку у тебя выпрашивал. А ты улыбнулась и совсем другим человеком стала.

Арсеньева все еще улыбалась, оттаивало человеческое внутри нее, сползала ее затворническая маска, и подлинное, что в ней было и что в ней есть, проглянуло в глубине ее серых глаз. Она танцевала с Тереховым, и ей было весело, и она не стеснялась своего веселья, не считала его преступлением и танцевала не так, как пять минут назад, а живо и с удовольствием, и старая закалка домашних дансингов помогала ей вести чарльстон. И Терехов от нее не отставал, хотя в танцклассе и не учился, а на глазок в толчее асфальтовых пятаков у ребят поярче познавал новинки, последним танцором никогда не был и теперь чарльстонил лихо и как бы даже ехидничая над и без того несерьезными движениями. Сначала вокруг них притоптывали с десяток пар, кто дурачился, а кто всерьез, но не умея, и постепенно пары эти кто когда, но кончили танцевать, а в середине зала остались Терехов с Арсеньевой да Надя с Виктором Васильевым, столяром, са-

мым модным парнем в Сейбе. Танцу полагалось и кончиться, но мелодия не обрывалась, а теперь она была слышна ясно и вся; чьи-то пальцы в Японии или в какой другой стране прыгали по клавишам и дергали тугие струны банджо, и четверо в мокрой и черной гайге при свечах, оплывающих в жестяные кружки, выделяли черт знает что, красивое и озорное. И когда они остановились, им захлопали, и Надя, раскрасневшаяся, довольная, подскочила к Терехову и затараторила:

— Терехов! Терехов! Какие мы молодцы, а? И ты молодец. Ты про меня сегодня не забудь. Обещаешь?

— Хорошо,— сказал Терехов.— Обещаю.

Подожел нахмурившийся Чеглинец.

— Терехов,— сказал Чеглинец и посмотрел сердито на Арсеньеву,— у меня к тебе дело.

— Какое дело?

— Пойдем со мной. Увидишь.

— Я танцевать хочу.

— Пошли, пошли. Не пожалеешь.

— Алла, извини...

— Не пожалеешь,— повторил Чеглинец.

За столиком, куда вел Терехова Чеглинец, сидело несколько парней и мужиков, и среди них были Исполнов с Соломиным, и Терехов подумал, что Исполнов, наверное, раздобылся спьяну и решил рассказать историю моста. «Садись»,— сказали Терехову и протянули стакан с водкой.

— Значит, вырвал ты из наших дезертирских рядов Чеглинцева,— сказал Исполнов.

— Ага,— кивнул Терехов,— он сам вырвался.

— А ты ему настроение сегодня портишь,— показал свой золотой зуб Исполнов.

— Ладно, кончай,— проворчал Чеглинец.

— Я порчу? — спросил Терехов.

— Ты его не слушай,— сказал Чеглинец.

— Я бы послушал. Только про другое.

— Многого ты захотел! — захохотал Исполнов.

— А то ведь уедешь дня через два...

— Дня через два, думаешь?

— Вода-то спадать начинает...

— Ну и хорошо, и уедем мы с Соломиным! — засмеялся Исполнов и ручищей своей похлопал задремавшего было Соломина по плечу, и тот встрепенулся и на всякий случай закивал.

— Вот и рассказал бы,— заискивающе улыбнулся Терехов.

— Не за этим тебя позвали,— нахмурился Исполнов.— Не за этим тебя позвали.

— А зачем?

— Давай выпьем.

— Развлечь мы тебя хотели.— Лицо у Исполнова стало неожиданно добрым, глаза его хитрили.— Давай, Соломин.

Соломин проснулся еще раз, заулыбался Терехову, сказал, вроде бы извиняясь: «Это меня один азербайджанец научил, мы с ним в армии в лазарете вместе лежали с дизентерией». «Вместе с дизентерией вы лежали,— переспросил Исполнов,— или с азербайджанцем?» — но Соломин ему не ответил, а взял спичку, зажег ее от огонька свечки и спичку эту горящую сунул в растянутый рот и, поддерживая ее там несколько секунд, вытащил обратно и показал ее пламя всем, поклонившись направо и налево, как делал, видимо, лазаретный циркач, впрочем, поклонны получились у него неуклюжие и виноватые. «Ну и что,— сказал Терехов,— я тоже так могу». Он тоже сунул горящую спичку в рот, но она погасла. Исполнов загоготал, и тихонько засмеялся. Соломин, схватил свечку и огнем воткнул ее в глот-

ку, потом поставил свечку на место, достал из кармана кусок газеты, поджег ее и, когда бумага запылала, стал глотать огонь. «Вот дает! — обрадовался Чеглинец.— Он не такое может. Ведь можешь, Соломин, можешь!» Соломин кивал, а в глазах его было что-то рабское и, тоскливое, будто он шуткой служил и понимал, что выше не прыгнет, и жалел себя. Он был пьян, но стал от этого еще тише. «Знаешь, Терехов,— закричал Чеглинец, радуясь,— бумага и свечка — это ерунда! Мы сейчас кусок тряпки найдем, бензином ее намочим, он и ее проглотит. Пойдем, Соломин!» Он потянул Соломина за руку, и тот, вставая, сказал: «Это меня один азербайджанец научил. Мы с ним в лазарете лежали».

— Понял? — сказал Терехову Исполнов.— А тебя какая-то муть интересуется. Ты вот горящую паклю попробуй проглоти.

— Зачем мне глотать-то? — спросил Терехов с вызовом.

— Ну просто так...

— Нет, зачем мне глотать-то? — спросил Терехов.

— А я знаю? — засмеялся Исполнов, и глаза у него снова стали злыми.

— Сами и глотайте,— сказал Терехов.

— Терехов,— подошла Илга,— а как твои обещания?

— Правильно, Терехов,— подмигнул Исполнов,— ты уж свои обещания выполняй...

— Ладно, помолчи,— сказал Терехов.— Пошли, Илга.

— Ты про меня забыл, Терехов,— шепнула Илга и улыбнулась, но в шепоте ее были укор, и обида, и надежда на то, что Терехов не согласится с ее словами.

— Как забыл! — возмутился Терехов, хотя и вправду он забыл о ней, он не думал о ней, когда плясал с Арсеньевой и смотрел на тишайшего Соломина, глотавшего огонь, он не думал о ней, а думал о Наде.

Но теперь Илга снова была рядом и снова нравилась Терехову, и он любовался ее добрым лицом и слушал с удовольствием певучие, смягченные чужим выговором слова, гладил русые волосы; вчерашняя коммиссарша скинула свою жесткую кожаную куртку и револьверы оставила дома, в черном чемодане вместе с никелированными щипцами, сокрушающими зубы, и угловатые, резкие движения свои забыла, словно бы все прежние дни на Сейбе была вот такой, теплой, женственной и нежной.

— Откуда ты такая взялась? — спросил Терехов.

— Откуда, откуда! — засмеялась Илга.— Из Латгалии, есть такая земля, из Краславы, город такой...

— Я и не слыхал о нем...

— Зря.

— Мы с тобой выпали из ритма. Нас затолкают...

— Затолкают... Знаешь, какая прекрасная земля Латгалия, она зелено-голубая...

— Лучше Саян...

— Лучше...

Она замолчала, хотя и собиралась рассказать о чем-то, это чувствовал Терехов, замолчала, и погрустнела, и потускнела, может быть, тосковала по своей зеленой и голубой земле, от которой ее никто не отрывал, или боялась она, что Терехов вовсе не рядом, а еще дальше от нее, чем был вчера. Терехов же переступал с ноги на ногу и все на одном клочке пола, подчиняясь правилам самоуверенного провинциального стиля, и молчал, не мешая Илге, но и не подталкивая ее к рискованным словам и дей-

виям, порешив, что пусть все будет, как будет. Илга его волновала, и ему было радостно и сладко чувствовать ее тело, ее волосы, ее руки и грудь и пожимать, что он волнуется ее тоже.

— Знаешь... — сказала Илга и замолчала.

— Что? — не понял Терехов.

— Наш город знаменит памятником... Он у нас особый... я нигде такого не встречала... Памятник любви...

Она произнесла это слово не сразу, помолчав, не решаясь, а произнесла, испугалась, взглянула на Терехова быстро и опустила глаза, как будто только что призналась Терехову в любви и не знала, что делать дальше. И Терехов не знал, что ему делать.

— Лет двести стоит... Лесничий из-за Даугавы на балу влюбился в дочь барона... И она в него... Обычная история, лесничий был беден, барон возмущился, подыскал дочери богатого жениха...

— Давай присядем, — сказал Терехов, — какая-то непонятная мелодия началась, твист не твист.

Теперь, когда они сидели, ей, наверное, было легче, хотя все равно он чувствовал ее тело и ее тепло, и она чувствовала его, и оба они были наэлектризованы, и Терехов понимал, что слова помогают ей.

— Я все равно до конца расскажу, — улыбнулась Илга, — ты не отвливай.

— Я не отвливаю...

— Те двое договорились покончить с собой... В одно и то же время... Он должен был зажечь на холме костер, а она собиралась выйти на балкон и лампой просигналить: «Прощай». У него было ружье, а у нее кинжал... Ужасно сентиментально, да? Сейчас нам смешно... Но все так и было... Он увидел свет лампы и застрелился... А она... Прибежали слуги, отняли кинжал. Потом она вышла замуж, нарожала детей. Смешные люди, да?

— Кто их разберет...

— А может быть, и несмешные... На месте его гibelи и поставили памятник...

Она замолчала, выговорила и посмотрела ему в глаза, хмельно и простодушно, и он не отвел взгляда; вокруг шумели, смеялись, танцевали, но все это было где-то далеко, а для нее, кроме него, вообще ничего нигде не было.

— Пойдем потанцуем, — сказал Терехов.

— Пойдем, — кивнула она.

И через секунду, когда они уже танцевали и снова были рядом ее глаза, ее волосы и ее тело, Терехов верил, что только в ней и была радость, только в ней и была истина, в любящих ее глазах, в мягких словах ее и обжигающих прикосновениях ее тела, только в ней, и Терехов верил сейчас в то, что так будет всегда и ничто не изменится, да и не надо ничему меняться.

— Знаешь что, Терехов, — остановилась вдруг Илга, — я устала. Пойду-ка подышу свежим воздухом, а потом домой.

— Вот ведь странная вещь, и я тоже устал.

— Ты меня проводишь? — спросила Илга.

— Провожу...

— Нас, наверное, не хватятся...

Этого Илга могла и не говорить. И он и она знали прекрасно, что в сумраке общежития они будут одни, и только Илгина неуверенность подсказала ей эти слова.

— Ты чего ворчишь, Терехов?

— Я не ворчу. Пошли.

«Пошли, — думал Терехов, — пошли. И сейчас мы пройдем мимо всех, мимо радостной толкотни, мимо Олега с Надей, и все увидят нас вдвоем, и

Надя увидит...» И вдруг, прерывая ленивую и нескоро эту мысль его, ворвалась другая, злая, будоражащая, и теперь Терехов думал о том, что все его забавы с Илгой неестественны, они — для Нади или из-за Нади, и это нехорошо, и нечего приставать к Илге для того, чтобы успокоить самого себя. И, подумав так, Терехов замолчал, и Илга молчала, только в сенях столовой, накинув на плечи куртку, она сказала:

— Не молчи, Терехов... Мы пойдем?

— Нет, — сказал Терехов, — я останусь...

— Ты не проводишь меня?..

Он не видел ее глаз, и это немного помогало ему, да к тому же он был уверен сейчас, что поступает правильно.

— Ничего, — сказал Терехов грубовато, — не заблудишься...

Она обиделась — Терехов чувствовал это — и могла бы повернуться и уйти, хлопнув дверью, прежней комиссаршей, гордой и рассерженной, но она стояла рядом, не уходила, и были ли у нее слезы, он не видел. И вдруг она шагнула к нему, теплыми руками своими обняла его, сказала тихо:

— Терехов, ну пошли...

И было столько тоски и надежды в ее словах и ласки, материнской или девичьей, не все ли равно, по которой Терехов соскучился, что он испугался, он боялся растаять сейчас и боялся слов Илги, и из-за боязни этой пробурчал: «Иди, иди», — и оттолкнул от себя Илгу, оттолкнул, не рассчитав сил, оттолкнул, понимая, что никогда не простит себе этого, и она отлетела к двери.

— Ты пьян, Терехов... Ты пьян...

— Да, пьян, и ты могла бы это понять...

Стукнула дверь за Илгой, стукнула, как охнула, а Терехов прислонился к стене, и был себе противен, и ругал себя, и говорил себе: «Ведь было бы хорошо с ней, а остальное не все ли равно!» Он понимал, что ему надо выскочить в дождь и догнать убегающую Илгу, но сдвинуться с места он не мог.

— Терехов! Павел! Весь вечер я тебя ищу, — вынырнул из ниоткуда Севка. Глаза у него были добрые и довольные.

— Пошли, — сказал Севка.

— Куда? — спросил Терехов.

— Туда. К нам.

Пока шагал Терехов за Севкой в темноте коридора, он ничего не видел и не слышал, а все продолжал спорить с самим собой, то он был прав, а то неправ, и когда в столовой он поднял голову, сразу зажмурился, и свадебный шум оглушил его.

«Ну, хорошо, — думал Терехов, — ну, хорошо...»

А что было хорошо, он уже не помнил, но щемила его мысль о чем-то потерянном и ускользающем, а навстречу плыли выученные наизусть лица и улыбки, и непонятные плакаты коробились на стенах, подмигивая ему.

— Твист, твист! — закричал кто-то. — Прорезался твист! — И этот кто-то тряс транзистором, тряс над головой, звук погромче хотел вытрясти, или хвастался, что в его руках словленной жар-птицей бьется невиданный танец нынешнего шестьдесят первого года, лихие запреты которого успели пробудить к нему интерес. И сразу все в зале остановилось и стали глядеть на соседей с надеждой, что те и покажут им твист, и никто не двигался, все ждали и слушали жесткую, упругую музыку, и тут Надя вылетела на середину зала и, оглядев всех, объявила с удалю, с какой решаются на рискованное дело: «А ну, была не была! Кто тут смелый?» Смелых стала выталкивать толпа, тех, кто, с всеобщей точки зрения, и должен был поддержать Надю, но кандидаты мя-



лись, и только Виктор Васильев, сейбинский законодатель мод, как бы неохотно, двинул плечом и шагнул к Наде. Выражение лица у него было небрежное и суровое, он вроде бы не собирался заниматься такими пустяками, но его вынудили, и он шел из-под палки. А Надя уже была в движении, и движение это все убыстрялось, колющие носки туфель ее уже растирали пол, как будто ввинчивались в него, все быстрее и быстрее, Надины руки ходили взад и вперед все быстрее и быстрее, длинные, крепкие ее ноги почувствовали дерзкую сладость ритма, и они

не то чтобы подстроились, приловчились к этому ритму, нет, они подчинили его себе, и транзисторные музыканты в своем далеком далеке дули в трубы и рвали струны гитары, поглядывая на сейбинскую невесту. Васильев, таежный фронт московских кровей, отстал и померк, не мог не померкнуть в соседстве с Надей, сначала он все еще сохранял вид, что ему до этого твиста и дела нет, встав перед Надей, он с небрежным изяществом переступал с ноги на ногу, чуть сгибая их в коленях, и слегка, даже ласково, поглаживал черными носками туфель шершавый и пыльный пол. Но и он разошелся, захватил его Надин вихрь, разошелся, будто разозлился, не сбросил своей скучающей маски, но вошел в твист, и тут все поняли, что он танцует быстро и, наверное, правильно, но старательно, словно работает, это бросилось в глаза, а старательность в искусстве не прощается. И все хлопали теперь только Наде и подзадоривали только Надю, а Надя жила в танце и озоровала в нем, где она научилась ему, исхлестанному в газетах, если только на экране разглядела или кто из знающих ей его показал, или, может быть, она сама сейчас изобрела его, не могла не изобрести, не все ли равно, она танцевала так, и, значит, твист был такой. Глаза Надины смотрели лукаво и вместе с тем ликовали, она радовалась тому, что у нее так здорово получается, как радуется джигит, обуздав дикого скакуна и ощутив рабскую покорность животного, так и Надя ликовала, чувствуя себя хозяйкой танца, чувствуя, что она может и так, и так, и эдак, и она показывала всем, как она может, импровизировала, у нее все выходило здорово и даже, если она сбивалась с непривычки, поправлялась, не робея, на ходу придумывала новые па с вдохновением и той счастливой природной грацией, которую не привьют тебе никакие балетные училища, никакие годы жестокого тренажа. Все выходило здорово, и Надины глаза смеялись: «Видите, как все хорошо? Видите, как я умею, как красивы и ловки мое тело и мои ноги? А что же вы стоите? Или вы мне не завидуете? Давайте, давайте решайтесь, не пожалеете, ну что же вы?»

Терехов и вправду смотрел на Надин ликующий танец с завистью, в нем просыпался азарт, ему казалось, что он понял незамысловатую грамоту твиста, и, не выдержав, он оглянулся, увидел рядом Арсеньеву, потянул ее за собой, она шла с покорным равнодушием, но когда они, словно в быструю реку, прыгнули, вошли в твист, мина страдающей монахини снова исчезла с лица Арсеньевой, и глаза ее стали веселыми и добрыми, а движения упругими и спортивными, и было видно, что танец она знает и он ей нравится. И Терехову танец нравился, и всего-то они твистовали с минуту, но Терехову танец нравился, и он боялся, как бы не оборвалась мелодия, как бы оркестранты не бросили свои инструменты, как бы не сорвали голос и так уж охрипшие парни. «Надо же, — думал Терехов. — Нам бы в былые годы твист на разминки... Мышцы наращивать без скуки...» Ему нравилось глядеть на Арсеньеву, и он улыбался ей и все же любовался Надей, в горячем спринтерском ритме твиста почувствовала она его взгляд, и подмигнула ему, и поманила пальцем — «переходи на мою дорожку» — и вдруг, сама, как бы между прочим, будто так и полагалось, оказалась напротив Терехова, а ее партнер уже танцевал с Арсеньевой.

Теперь Надя была рядом, и она была красива; какие еще танцы придумают для нее взамен «стукалочек» и «казанов», кастрированных «каблучков» и содранных «терриконов», чтобы поняли все, на что способна девчонка двадцатого века, какие танцы придумают ей, какие танцы порекомендуют в длинном ува-

жаемом списке, впрочем, что ей до рекомендаций и запретов! Она была перед ним, озорная, длинноногая девчонка, она смеялась и забавляла всех, она была его невестой, а стала чужой женой, она двигалась в метре от него, и он мог протянуть руку и поймать ее пальцы, но он не мог протянуть руку и поймать ее пальцы, и они с Надей были не рядом, а в отдаленных парсеками точках Галактики, и лучше бы они не видели друг друга, танцую этот проклятый твист. И все же надо было что-то сделать, чтобы шагнуть к ней, надо было что-то предпринять, и Терехов мучился, думая об этом, он хотел...

— Все.

— Надо же, как быстро, — сказала Надя и взяла Терехова под руку, она дышала часто и устало, — нет, но как мы с тобой! А? Какие мы молодцы! А, Павел?

— Да, ничего, — сказал Терехов. — Ничего себе нагрузка. Я даже взмок. Будто стометровку бежал.

— Нет, на самом деле, какие мы молодцы! — не унималась Надя, все еще переживая радость движения, и смотрела на Терехова, как ему казалось, восторженно и с благодарностью.

— Зачем вы! Это же плохо, это же безобразно! — вырос перед ними длинношей моторист Козев, пальцем тыкал в грудь Терехова. — Это танец толстых. Ведь у нас есть столько замечательных танцев: подгорка, полянка, падекатр, кадрили... или вы не понимаете момент... или вы не русские люди!..

— Мы турки! — сказал Терехов сердито.

Козева отводили от них с шумом, на лице его было снисходительное выражение правдолюбца, а Надя вдруг вскрикнула:

— А что? Давайте кадрили! Терехов, давай! Где у нас гитара?

Нашлась гитара, нашлась и гармошка, они прилаживались друг к другу недолго и неуклюже, и заиграла странная мелодия, и в ней слышались и всплески барыни, и цыганочки, и коробейников, и черных очей, и все это не было окрошкой, а казалось одним новым напевом, в котором было что-то родное, щемящее и вместе с тем удалое, бражное, и это удалое подымало парней и девчат с фанерных сидений и толкало в раздавшийся уже круг. А Надя, хохоча, вела Терехова в этот круг, беспечная, взбалмошная девчонка, могла бы и остепениться, начиная супружескую жизнь. Семья — это ячейка государства, и надо было бы мужа втягивать ей в свои танцевальные развлечения, а не его, Терехова, постороннего мужчину, нетрезвого к тому же. И все ж Терехов был рад, что Надя вела его, что он видел ее и любовался ею; может быть, это был их последний танец, хорошо бы последний; не помнил он фигур кадрили или вообще не знал их, умел только, как и все парни из влахермских династий, делать цыганочку, но твист раззадорил его, и ему казалось, что он сможет все. Кадриль не вышла и рассыпалась, а плясали русского у кого как получалось. Терехов шел пока медленно, подчиняясь Надиной плавности, и она плыла, откинув голову, и глаза ее лукавили, и ей было хорошо. Терехов чувствовал, что не играет она в русского, не пародирует его, как бывает иногда в хмельных компаниях наших сверстников, а снова живет в танце, он нравился ей, и Терехов шел за ней, готовый пуститься впредь и выкинуть черт знает какие колотца, стоило бы только ей подмигнуть, и азарт снова разгорался в нем. А она плыла, плыла через века Василисы Прекрасной и Снегурочки, Солохой, утихомирившейся на мгновение, Кулавой, заворажива-



ющей Леля, ничему ее не учили, а в генах, в сложениях нуклеиновых кислот тысячи русских баб, тысячи невест, озорных и нежных, передали ей свою красоту и свое умение, и оттого мучился и страдал Терехов. И снова расстояние, отмеренное навсегда, отделило его, отрезало его от Нади, и ни она и ни он не могли пройти это расстояние, уничтожить его, они двигались все быстрее и быстрее за начавшей вдруг спешить мелодией, словно гнались за чем-то недостижимым, впрочем, глаза их вовсе не были озабоченными или мрачными, наоборот, они смея-

лись и радовались движению. Малявинским вихрем летело и плавилось все вокруг, красного только не хватало...

Взяла Надя Терехова под руку и повела, а куда? Не все ли равно, чьей она была невестой или женой, только сегодня в Сосновском сельсовете ее поздравляли, и теперь она вела его за собой и была счастлива, но тут Терехов увидел Олега. Олег улыбался, а веко у него дергалось и щека тоже. Терехов вспомнил все и отвел Надину руку.

— Ты куда, Павел? Посидел бы с нами.

— Пойдем в наш угол, Павел,— предложил Олег.

— Сейчас, сейчас,— заторопился Терехов,— мне только нужно Севку найти. Он меня искал, я ему зачем-то нужен.

Севка спал, уткнувшись носом в руки, уложенные на столе среди консервных банок, стаканов и тарелок с печеньями. Горячий стеарин капал на Севкин рукав и застывал лаком. Терехов подумал, что приятеля надо отвести домой и уложить в постель, разморит его еще, а то и вырвет, и Терехов попытался приподнять Севку, но услышал, что Олег начал читать стихи.

Тогда он оставил Севку и опустился на стул, потому что неудобно было сейчас вести Севку через зал. К тому же Терехов любил слушать чтение Олега, на память приходили видения влахермской поры, счастливой хотя бы потому, что, отодвинувшись в прошлое, она обзавелась радужным ореолом, да и читал Олег хорошо. Терехов притих, как притихли все, и смотрел на Олега. Олег забыл обо всех и читал стихи только для себя, а получалось так, что он читал для всех, и все принимали его волнения и раздумья, хотя многие и не знали, чьи стихи он читает, да и вообще стихи не уважали. Олег читал тихо или это только так казалось, и была какая-то печальная строгость в его лице, отрешенность от всего, что было перед его глазами, но иногда стих взрывался горячностью мысли или буйным словом, и голос Олега гремел, в нем появлялась ярость и неистовость пророка. Олегу не хлопали, поэтов он не называл, и Терехов многие стихи слышал впервые, только светловскую «Гренаду» узнал. Олег замолчал, опустил голову и стоял так, кончил, наверное, и все молчали, и Олег казался им прекрасным, и они благодарили его и любили его, и если бы Олег повел их сейчас за собой, они пошли бы за ним, как за пламенным Данко. Терехов сидел и стучал пальцами по столу, ему хотелось подойти к Олегу и сказать добрые слова, беспокойство вчерашних дней уплыло, мало ли что могло померещиться; Терехову было стыдно: сильный и страстный человек стоял у стены, и понятно, почему Надя полюбила такого. Тишину разбили аплодисменты и крики, сейбинские с шумом подходили к Олегу, жали ему руки, а он стоял, усталый, выложившийся. Надя подскочила к нему, и Терехов увидел, какие у нее были глаза.

Потом свадебный вечер успокоился и вошел в свое испробованное русло, а Терехов все сидел возле спящего Севки и смотрел на Олега и Надю. Олег был молчалив и рассеян, а Надя все болтала, и глаза у нее были влюбленные и восторженные. И теперь, когда перестал действовать гипноз Олеговых пламенных слов, Терехов огорчился, теперь ему казалось, что полчаса назад Надя обманывала его и даже издевалась над ним, ведь она знает, не может не знать, не может не чувствовать, что он любит ее, и не надо было тянуть его в эти сумасшедшие танцы. Обида забрала Терехова, и он сердито налил себе в стакан водки. Она была противна, неожидан-



но тепла, бутылка зеленым своим боком пригрелась к банке со свечой. Терехов долго морщился и ворчал, вилкой пытаясь выловить томатного бычка. Он ворчал и на себя, потому что пить ему было не надо, он это еще сознавал и собирался уйти быстро и незаметно, чтобы не вытворить сгоряча и спьяну какой-нибудь глупости. Но он сидел и смотрел на Олега и Надю и теперь уже твердо был уверен в том, что она над ним издевалась, обманывала его, посмеивалась в душе, и все же глаза ее выдали. «Ну, ладно! — сердился Терехов. — Ну, хорошо!..»

То ли он грозил кому-то, то ли старался успокоить себя, держал пальцами пустой стакан, порожнюю посуду и покачивал его, глядел, как вспыхивают стеклянные грани. На секунду ему показалось, что холодное стекло загорелось, но мало ли какие чудеса могут померещиться простодушному уму, его-то, Терехова, жизнь жестоко отучивала от этого

простодушия, наивные люди из восемнадцатого века могли кинжалом и ружьем зарабатывать себе памятник любви, впрочем, только ружьем, а кинжал отобрали, дочка барона из белого дворца, у которой отняли кинжал, преспокойно рожала детей, а бедный песничий истлевал под чугунным памятником любви, раздавившим его. Фу ты, какая чертовщина, все крутится, пусть все остановится, пусть все утихомирится. Или так крутит всех танец, и он не кончится, и не исчезнет расстояние между ним и ней, отмеренное навсегда, ни он, ни она не смогут шагнуть друг другу навстречу.

Терехов встал.

Он шел, покачиваясь, тяжело — туда, где у стены напротив плыли в танце Олег и Надя. Потом повернулся и пошел к выходу.

— Погоди,— догнал его Олег.— Ты не можешь уйти от нас в такой день. Ты нас обидишь...

— Терехов, останься,— сказала Надя.

— Нет, мне тут нечего делать,— заявил Терехов.— Неужели вы сами не понимаете...

— Ты нас обижаешь, Павел...

— Не упрощай его, Олег,— сказала Надя.— Видишь, какой он...

— А какой я? Какой?

— Ты нас обижаешь, Павел...

— А, пошли вы! — сказал грубо и с отчаянием Терехов и, не глядя ни на кого, направился к двери. В сторожке, когда он возвращался после путешествия к Сейбе в поселок, Терехов увидел свет, старик попался вымуштрованный веком и к распоряжениям временных начальников относился, видимо, скептически. Терехов улыбнулся и пошел дальше. Было тихо, сейбинские жители сидели в тепле, и только на крыльце женского общежития Терехов заметил черную фигуру. Он посветил фонариком и удивился.

— Илга, ты? — спросил Терехов. Он растерялся и не знал, как говорить с ней. — Что ты тут делаешь?

— Тебя жду.

— А зачем?

— Я и сама не знаю,— сказала Илга.

Терехов сунул фонарик в карман и не спеша поднялся на крыльцо. Илга была рядом, но он не видел ее лица и ее глаз, слышал, как часто она дышит.

— И давно ты меня ждешь?

— Не знаю. Не помню.

— Ты не промокла?

— Не знаю.

— А что ты знаешь?

— Что я тебя люблю.

Она произнесла это тихо и печально и как бы для себя самой, а не для него. Терехов шагнул к ней, нашел ее руки, стал гладить ее пальцы, волосы ее

мокрые, и мокрый лоб, и мокрые щеки. Он притянул ее к себе и целовал ее, и она целовала его, губы у нее были мягкие и теплые. «Терехов,— шептала она,— Терехов», — а Терехову было хорошо, и снова явилась добрая мысль, что только в этой ласковой женщине и живет его истина, его радость и его успокоение, а остальное — не все ли равно, остального нет, и Терехов был благодарен Илге, что она оказалась с ним на одной земле, на одной саянской планете, под черными дождями. Илга прижалась к нему и все шептала: «Терехов... Терехов...» — он тоже говорил ей что-то и не обманывал ее, она смеялась и целовала его, и Терехов смеялся, но вдруг Илга напрыглась, дернулась в сторону и потом, упершись в его грудь ладонями, оттолкнулась от него и, резко повернувшись, шагнула в коридор общежития.

Терехов пошел за ней не сразу, коридор был пустой и тихий, жители его веселились сейчас в столовой, Терехов нашел Илгину дверь и, нажав на нее, понял, что она заперта изнутри, Илга стояла за дверью, и Терехову послышалось, что она плачет.

— Перестань, Илга... Отопри...

— Нет, нет, нет!

— Открой, Илга. Пусти.

— Ты Надю любишь! Уходи!..

— Я никуда не уйду. Пусти, Илга...

— Нет, нет, нет! Ты любишь Надю!

Она всхлипывала, а потом замолчала, ждала, что он скажет сейчас. «Не люблю я Надю. Я люблю тебя», — наверное, ждала, только этих слов ей и надо было, вымаливала она эти слова у Терехова.

— Не все ли равно,— сказал Терехов хмуро.— Кто знает, как будет дальше. Мало ли как все повернется дальше.

— Уходи, Терехов, я прошу тебя...

— Хочешь, чтобы я выломал дверь?

— Тогда я убью тебя!

— Вот это любовь,— сказал Терехов.

— Уходи, уходи, уходи...

Последнее «уйди» было сказано совсем тихо, как мольба, как гаснущая надежда, и потом молчание, молчание, которое нельзя было вытерпеть, и Терехов, забеспокоившись, сначала слабенько постучал в дверь, точно боялся, как бы Илга не сотворила чего, ведь она росла в городе с чугунным памятником любви, потом стал стучать громче и забарабанил так, что доски дверные затрещали, но вдруг подумал: «А зачем? К чему это все...»

— Ну, ладно. Ну, как хочешь.

И он, нахмурившись, пошел коридором, остывал, все еще надеялся, что Илга не выдержит и выскочит за ним следом, но дверь не открылась, и тогда Терехов сказал себе: «Ну и дура... Мало ли как все могло повернуться в жизни... Ну и дура...»

(Окончание следует.)



Борис Слуцкий



Россия увеличивала нас:
ее штабы, ее масштабы,
ее поля, ее баштаны,
ее Урал, ее Кавказ.
И самые обычные слова
становятся необычайны,
когда подхватывает их Москва
от радиовещания до чайной.



Брали на обед по три вторых,
первого ни одного не брали.
Трали-вали, говорит старик,
инвалид, участник поля брани.

Смотровые ордера
получали в райсовете.
По сто граммов хлопали с утра.
Не боялись никого на свете.

Обсуждали изредка судьбу.
Смело командирам возражали.
И с большим достоинством в гробу
в выходных костюмах возлежали.

Лесорубы из Карелии,
курский соловей, псковской печник —
псы семи держав,
как угорелые,
бегали от них.

Родной язык

В моей профессии — поэзии —
измена Родине немыслима.
Язык не поезд. Как ни пробуй,
с него не спрыгнешь на ходу.
Родившийся под знаком Пушкина
в иную не поверит истину,
со всеми дохлебает хлебово,
разделит радость и беду.
И я не только достижениями
и восхищен и поражен,
склонениями и спряжениями

склонен, а также сопряжен.
И я не только рубежами,
их расширением прельщен,
но суффиксами, падежами
и префиксами восхищен.
Отечественная история
и широка и глубока
как приращением территории,
так и прельщением языка.

Светлые окна

Рай Боттичеллиев — зал гимнастический:
десятиклассницы с влагой гностической
в темных и светлых прекрасных глазах —
с ветки на ветку,
как птицы в лесах!

С ветки на ветку,
с бруса на брус
в темных и светлых костюмах спортивных!
Рай молодых и активных. Спортивных.
Как он блондинист, брюнетист и рус!

Здесь не веселье, а счастье.
Не сила —
счастье. И счастье, а не красота.
То, что Икара под солнце носило,
то, что хоралы пело с листа.
Тени прекрасно скользят по стене,
в ритме блаженства движется тело
бремени — вне,
времени — вне,
вот — не взлетело оно — взлетело!
Вот вспарило оно до небес!
Вот оно кануло наземь
и сразу
падает к небу тяжести без,
огненно чертит во тьме свою трассу!
Видимо, люди летали всегда,
до изобретенья аэроплана.
В этом сплетенье тел и талантов
горе — не горе,
беда — не беда.
Молча у окон сияющих стану.
Из глубы воспоминаний достану
дом во Флоренции.
Я молодой
плюю глаза на весну Боттичелли.
Я молодой, незнакомый с бедой!
Есть ли на свете беда, в самом деле!

Нет ничего, кроме весны.
Резкою явью становятся сны.

Погоня

Вдохновение — отдохновение.
Устаешь, но как от любви.
Освежает его дуновение,
и мгновение это — лови!

Вдохновение — чувство полной,
безупречной удачи, перевыполненной
задачи,
сто процентной отдачи.

Словно в самом конце войны, когда
от волнения в горле першит —
вдохновению всегда некогда,
вдохновение вечно спешит.

Как погоня задыхающаяся —
хоть погиб, зато нагнал,
вдохновение — рассыхающийся
перед пуском воды
канал.

Канонады твои, катаклизмы
и обрывы твои
с высоты!
Как строительство социализма
нелегко, вдохновение, ты.

Дом

Молодой человек с разговорником,
крепко сжатым в руке,
разговаривает с дворником
на своем полуязыке.

Адрес, вызубренный с младенчества,
повторяется без молодечества.

Дворник недопонимает,
после полупонимает,
но внезапное его озаряет,
озаряется дворник весь.
Он метлой об асфальт ударяет,
объявляет пришьелцу: «Здесь!»

Двор московский с начала столетья
никогого великолепия
не утратил и не приобрел.
Наконец он сюда забрел.

Дом большим казался в Париже,
оказался же он пониже,
но, конечно, именно тот.

— Кто, скажите, в доме живет!
— Люди!

Дворник точно и дельно
отвечает:

— Жильцы живут.
И под этот ответ идейный
тучки по небу тихо плывут,
детвора играет в квадрате
коммунальнейшего песка.
— Бога ради.
Бога ради.
Бога ради.
Какая тоска!

Вихри, радости, жалости, совести
навсегда отшумели уже.
Чувство Родины с чувством собственности
тихо спорят в душе.

Он отцу обещал,
клялся матери,
франк за франком деньги копил,
а теперь это все истратили:
нетерпенье, жадность, пыл.
Двор как двор,
и дом как дом.
Тучки по небу тихо ходят.
Отрывая ноги с трудом,
навсегда со двора он сходит.

Величие души

А как у вас с величием души?
Все остальное, кажется, в порядке,
но, не играя в поддавки и прятки,
скажите, как с величием души!

Я знаю, это нелегко, непросто.
Ответить легче, чем осуществить.
Железные канаты проще вить.
Но как там в отношении благородства!

А как там с доблестью, героизмом,
славой!

А как там внутренний лучится свет!
Умен ли сильный,
угнетен ли слабый!
Прошу ответ.



Поэта подбирают,
как ходока:
дойти, куда надо,
сказать, что надо,
а если дорога нелегка,
так что же:
надо, значит, надо.

Поэт должен знать,
к кому идти,
как знал ходок, что идти нужно к Ленину,
и, выбрав путь, не сбиться с пути,
шагать и шагать,
спокойно, уверенно.

Нет у поэта закваски, закалки
пахаря,

вздымающего поля.
То ему шатко, то ему валко:
уходит из-под ног земля.

Но чтобы поэт мог состояться,
он должен в очереди достояться,
чтобы выслушали,
чтобы услышали...



Скамейка на десятом этаже,
к тебе я докарабкался уже,
домучился, дополз, дозадохнулся,
до дна — черпнул, до дыр — себя сносил,
не пожалел ни времени, ни сил,
но дотянулся, даже прикоснулся.

Я отдохну. Я вниз и вверх взгляну.
Я посижу и что-нибудь увижу.
Я посижу, потом рукой махну —
тихонько покарабкаюсь повыше.
Подъем жесток, словно дурная весть,
и снова в сердце рвется каждый атом,
но, говорят, на этаже двадцатом
такая же скамейка есть.

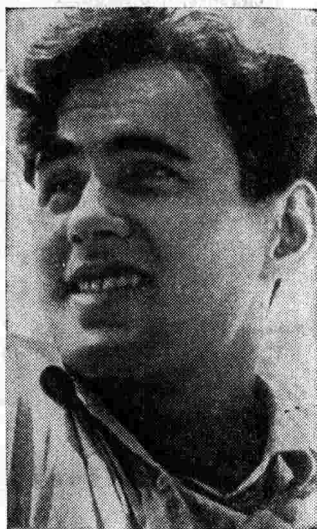


Ответственные повествования
словесность составили нашу.
Случайные импровизации
в России не процвели.
Ни смутные волхования,
ни сюрреализма каша
нашей цивилизации
впрок никогда не шли.
Российские модернисты
были ясны и толковы,
писали неводянисто
и здравого смысла оковы,
пусть злобствуя и чертыхаясь,
но до гвоздя пригвоздив,
навалили на хаос,
порядок в нем учредив.

Как критики ни грызутся,
но в формуле нет изъятий:
отечественные безумцы
были здравых понятий.

□ □ □

Роман
Солнцев



Барьер Урала

Тянуло вниз, штурвал бежал из рук,
потом летели невесомо-сонно.
Винты сливались то в блестящий круг,
то кисло ныли, как кружок лимона.
И хоть ответ был в принципе и прост —
машина хороша, не подкачала,
вставал проклятый снова тот вопрос:

а как

она

возьмет барьер Урала!
Сейчас уже, конечно, это было,
но в годы те все было незнакомо —
на перевале в синюю Сибирь
ломались самолеты, как солома!
То ль ветры там встречаются вверх,
то ль не учли чего, рискуем рано,

но был вопрос для многих на веку:
а как

она

возьмет барьер Урала!
Сейчас легко. Москва! За 5 часов
примчит вас реактивный к Енисею,
в таежный край оленей, гор, снегов,
где я живу сегодня, как умею.
Средь новых ГЭС, у стилой синевы
красивых слов всегда недоставало.
И вот пошла лавина из Москвы...
И я подумал про барьер Урала.
Нужны нам очень песни у костра,
стихи, чтоб в них романтика мерцала...

Но как

они

возьмут барьер Ура...

Они возьмут,

возьмут

барьер Урала!..



Грозы отошли за Мекки и за Ниццы.
Сухость хлеба жаркого на моих губах.
Над полями шепчутся поздние зарницы.
Шепчутся девчата в яблонных садах.
Слов почти не слышно. Шорох, шорох,
шорох.
Шорох капель с кровли, шорохи листья.
Сорок сонных шорохов в замолчавших
селах.
В спальне вашей шорох — не уснете вы.
Ведь из-за окошка, если вам не спится
и меня, угрюмого, рядом с вами нет,
красят раму с шорохом в алый цвет
зарницы,
тут же красят с шорохом в самый синий
цвет...



Ждал унижения, что ли,
и виноват был сам.
Лязгнуло!
Мимо окон
поплыла ты, как зимняя ветка...
Чтобы хоть видеть тебя еще,
я сквозь вагоны бежал,
но поезда очень коротки,
как жизнь человека...



В лесу —
чудес, как синих клякс вокруг стола!
Теплынь и мгла.
Броди, застенчивый охотник.
Из-за сосны — береза выглядывает, бела.
Из-за березки — красна девица выходит.
Столб солнца в землю
вбит в кустах,
в сырой жаре!
На нем
лишь мы оставить, походя,
сумеет
порезы слов, как на серебряной коре...
А завещаний написать мы не успеем.

Как все таинственно и вечно!

Отчий дом...

Мох и мостки.

И соловей с полночным пеньем.
Лениво шлепающий на луну паром...

А завещаний написать мы не успеем.

□ □ □

Виктор
Бокон



У МОРЯ И У ГОР

Абхазия

Я знаю, ты добрая очень, Абхазия!
Ты щедро поделишься с нами последним.
Спасибо за то, что ты нам не отказываешь
Ни в море, ни в солнце, ни в отдыхе
летнем.

Гляди! Твои гости смеются и радуются,
Отважно в далекую даль заплывают.
Леса твои смело на скалы карабкаются
И землю от зноя собой прикрывают.

А Черное море легко и атласно
Лежит и синее у каждой калитки,
И дышит — и это дыханье прекрасно
Для нас и для дружной семьи эвкалиптов.

В ущельях шумит вековое собрание
Воды, необузданно рвущейся к морю,
А выше, в горах, снеговое сверканье
И Риза с восточной своей красотой.

Абхазия! Ты и морская и горная,
В долинах гудят и работают пчелы.
Ты — мать-героиня, ты — девушка гордая,
И очень люблю я твой профиль точеный!

Не просто мне

Свиданья утренние с морем,
С восходом солнца и с тобой!..
Давай все огорченья своим
Соленою морской водой!
Давай ранения залечим,
Седой волне подставив грудь!..
Мне не за что тебя и нечем
Хоть где-то, в чем-то упрекнуть.
А если сам бываю труден,
Прости, я это сознаю,
Не просто мне, когда я людям
Себя и сердце отдаю.
Не устаю светить и верить,
И ты мне в этом помоги.
Давай одним масштабом мерить
Твои шаги, мои шаги!

В ущелье

Холодно в ущелье, мрачно,
Спрятаны стволы во мху.
Только звезды многозначно
Обозначены вверху.
Кажется, что в их потоке
Ни начала, ни концов.
Вот где черпали пророки
Опыт древних мудрецов.
Вот где музыка чабанья
Обретала плоть и дух,
Чтобы древние сказанья
Пел овце простой пастух.
В грудь гранита, в камень дикий,
Дни, часы, века, года
С диким оголтелым криком,
Как орел, клюет вода.
Ребра старого утеса
Выступили из воды.
Он поглядывает косо:
— Издевайся, изводи!
Всюду, каждое мгновенье
Мне природа говорит,
Что извечное боренье
Разрушает и творит.

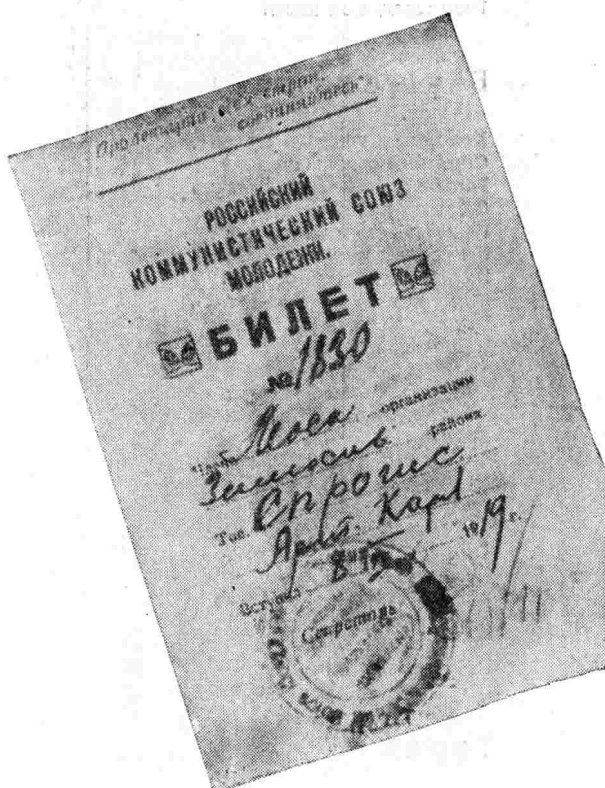
Терек

Терек я по внешности
Сравнивал с конем.
Пены белой бешенство —
Ключьями на нем.
Он, скакун порывистый,
Удила грызет,
Бьется белорыбцей
В горный горизонт.
Он копытом здорово
Может в камень бить.
Терек — тигр, которого
Трудно укротить.
Терек — это каменщик,
Фартук грязно-бел.
У него пока еще
Очень много дел.
Потому у Терка
Скорость и разбег,
Что за ним, за Терком,
Смотрит сам Казбек!..



КОМСОМОЛЬСКИЙ
БИЛЕТ №1830

АРТУР СПРОГИС



Дата выдачи этого билета — 8 марта 1919 года. Он выдан Замоскворецким райкомом РКСМ г. Москвы Артуру Карловичу Спрогису. Тогда, в марте 1919 года, Артур вступил в комсомол.

Вот он стоит, видите, в центре, у дерева, с двумя приятелями, также получившими в этот день комсомольские билеты. Им по пятнадцать, как и ему. Но за его плечами уже был солидный боевой опыт. В феврале 1919 года Артур ушел на фронт — в седьмой Латышский стрелковый полк — из имения Дикли, где его родители батрачили у немецкого барона. Кстати сказать, отец Артура, рабочий Рижского вагоноремонтного завода, в то время был уже больше-

виком, побывал в германском плену и участвовал в партизанском отряде...

Артур сражался с белогвардейцами в районе Риги и Великих Лук. ЦК комсомола отозвал его с фронта на учебу. Однако Артур считал, что с учебой можно подождать, а сначала надо расправиться с врагами Советской власти. Он становится чекистом (в пятнадцать лет!). Участвует в ликвидации левозерновского мятежа в Москве и в других операциях.

В 1920 году его вызывает к себе Дзержинский. Феликс Эдмундович предлагает Артуру: учись!

...Москва. Кремлевские пулеметные курсы комсостава. Курсанты охраняют Советское правительство.

Артуру Спрогису повезло так, как он не смел и мечтать: он стоит на посту у квартиры Владимира Ильича Ленина, несколько раз встречается и разговаривает с вождем мирового пролетариата.

Осенью 1920 года Артур становится разведчиком, пробирается в тыл белой армии Врангеля. Затем борется с отрядами батьки Махно. И снова его возвращают учиться. На этот раз Артуру удается закончить военную школу имени ВЦИК, и его посылают командиром взвода на границу.

Мелькают годы, даты, боевые эпизоды. Надо вдуматься в них, чтобы ощутить все величие этой биографии комсомольца двадцатых годов — одного из многих!

...После окончания Высшей пограничной школы ГПУ, в 1936 году, Спрогис уезжает воевать в Испанию, сражается под Малагой, Гвадалахарой и Мадридом. Он советник по разведке, командир партизанского диверсионного отряда. Часто встречается с Матэ Залкой.

Чтобы просто рассказать не о всей его жизни, нет — лишь об основных, самых ярких этапах, — нужно написать не заметку, а роман. Пока коротко



А. К. Спрогис (снимок 1922 года).

сообщу лишь о том, что в годы Великой Отечественной войны Артур Спрогис был сначала командиром партизанского отряда в Белоруссии, затем, с 1943 по 1945 год, — начальником штаба партизанского движения Латвии. В 1941 году он отправлял на задание



А. К. Спрогис (снимок 1968 года).

юную девушку, комсомолку, остриженную, как мальчишка. Позже мир узнал ее имя. Зоя Космодемьянская!

Примечательны удостоверения, которые выдаются Артуру Спрогису командованием Западного фронта. В одном из них говорится:

«Майору Спрогису и другим лицам по его указанию разрешается переход фронта в любое время.

В другом сказано:

«Всем начальникам партизанских отрядов оказывать полное содействие в его работе всеми средствами». И далее: «Удостоверение действительно до полной победы над врагом».

Сейчас Артуру Карловичу Спрогису 64 года. Он полон сил и энергии.

Не каждому под силу поднять то, что пронес на своих плечах латышский стрелок, член РКСМ с 1919 года Артур Спрогис, награжденный двумя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны, Красной Звезды и медалями. Восемнадцать правительственных наград! А на днях ЦК ВЛКСМ наградил ветерана комсомола Почетной грамотой.

Не многим даются такие награды.

Их надобно заслужить всей жизнью.

Как Артур Спрогис.

И. ГОЛОСОВСКИЙ

Тамаз Чиладзе

ЖАТВА

РАССКАЗ

Перевод с грузинского
А. Беставашиви.



Рисунок В. Юдина.

Река блестела под солнцем и, казалось, не двигалась вовсе. У самой реки, на пригорке, стояла избушка, крытая соломой. В тени за избушкой лежали козы.

Распахнув ворот рубахи, повязав шею платком, Зураб шел, упорно глядя под ноги, словно заранее выбирая, куда ступить. Раскаленная желтая земля потрескалась. Через извилистые трещины с трудом перепирались большие красные муравьи. Знойную полуденную тишину нарушал только стрекот кузнечиков.

Река так высверкивала, что на нее невозможно было глядеть. И небо слепило, как огромный кусок жести.

...Когда Зураб сошел с поезда, рассвет только начинался. Воздух был напоен особой предутренней свежестью. Солнце еще не восходило, но чувствовалось, что оно уже в пути, и невидимые пока лучи его зажигали края облаков, обнимающих вершины гор.

Зураб обогнул низенькое здание станции и вышел на дорогу. Справа начинался огород, обнесенный проволокой. В огороде, кроме груши с обвисшими ветвями и чучела в соломенной шляпе, ничего не было.

Дальше пыльные заросли крапивы проглядывали сквозь завалившийся плетень.

Женщина в пестром платке открыла калитку и выпустила на дорогу коз. Зураб дождался, когда она поглядит в его сторону, и помаhal ей рукой:

— Далеко ль до села?

Женщина не ответила.

— Сколько километров будет?

Она опять не ответила, остановилась и смущенно опустила голову.

«Глухая, что ли?» — подумал Зураб, улыбнулся на всякий случай и прибавил шаг.

Теперь по обе стороны от проселка раскинулись поля. По левую руку хлеб был уже снят, а справа пшеница стояла нетронутая, тихая и торжественная.

Зураб свернул с дороги и раздвинул плотную стену колосьев. На него дохнуло прохладой, будто ступил он в мягкое облако, лежащее на земле. Он сорвал один колосок и растер его на ладони, вылушив зерна.

Над полями сияло чистое небо и отливало зеленой, словно глубина его была выложена мягкой шелковистой травой. Никогда еще Зураб не видел такого высокого неба. Он уже раньше замечал за собой — стоит подумать о чем-нибудь хорошем, как небо становилось выше. О чем же думал он теперь? Ни о чем. Просто радовался тому, что он здесь.

Рассвело, а солнце все не появлялось, словно желая постепенно приучить природу к свету, чтобы внезапно не ослепить ее.

«Если бы Нана была со мной!..»

И ему показалось: Нана идет ему навстречу и красное платье ее раздувает утренний ветер.

— Зураб!

И лицо у нее такое, будто она вестник солнца.

«Если бы Нана была со мной!..»

Впереди на дороге стоял комбайн, издали похожий на огромного жука. Он неловко растопырился на узком проселке, как будто только что прилетел из-за дальних гор и не знал, куда деваться дальше. Зураб только собрался обойти комбайн, как увидел двух парней. Они лежали навзничь на брезенте и, видимо, исправляли поломку.

Зураба они не замечали.

— Здорово, ребята!

Парни повернули головы и поглядели на пришельца.

— Здравствуй! — ответили оба в один голос и опять занялись комбайном.

— До села далеко?

— Да нет. — Один поднялся с брезента и сел. — Пойдешь по тропке направо, дойдешь до реки, реку не переходи, ступай опять вправо, там начнется ивняк — и до села рукой подать.

— Спасибо. — Зураб собрался идти.

— Погоди, — окликнул его парень. — Ты спешишь?

— Да нет.

— Тогда, может, подождешь: мне письмо передать надо.

— Пожалуйста.

— Габо! Дай карандаш!

Габо тоже поднялся, ощупал комбинезон, но карандаша не нашел. Тогда он стал выкладывать на брезент содержимое своих карманов: платок, нож,

мотки тонкой проволоки, катушку ниток, медяки, осколок зеркала и мятую пачку сигарет.

— Нету.

— Поищи как следует.

— Да нету же, тебе говорят.

— А в другом кармане?

— Я же смотрел.

— Да вот карандаш, — вмешался Зураб, — за ухом у тебя.

— Ух ты! Забыл совсем! — Габо засмеялся. — Держи. — Он бросил товарищу карандаш, и тот на лету поймал его, потом достал блокнот, вырвал страничку и огляделся по сторонам, на чем бы пристроиться. Не найдя ничего твердого, подложил под бумагу шапку и задумчиво помусолил карандаш.

— Ты садись, — посоветовал Габо, — он когда еще кончит!

Зураб сел на брезент.

— Вы комбайнеры?

— Да, — ответил Габо, — барахлит чертов Харитошка!

— Харитошка? — засмеялся Зураб.

— Он у нас Харитон, я — Габо, а этот — Сосика. А тебя как?

— Зураб.

— Небось, городской?

— Точно.

— А к нам зачем?

— На практику.

— Студент, значит?

— Я в будущем году кончаю.

— А потом куда?

— Не знаю.

— А я вот знаю. Не задерживаются у нас городские. Ты не первый. Многих я видал!

— Ну и что, раз видал? — обиделся Зураб.

— А то самое! Приезжают многие, а остаются не очень. Как знать, может, кабы я жил в городе, на село и глядеть бы не стал...

— И все-таки я к вам приеду. Где мне еще работать?

— Женатый?

— Да.

— Дети есть?

— Нет.

— Как же так?

— Габо, придержи язык! — отвлекся от письма Сосика.



— Была б у меня жена... — протянул Габо и гулко стукнул себя кулаком в грудь.

Зураб посмотрел на Сосику. Тот о чем-то задумался, приложив карандаш к губе. В расширенных глазах его стояла грусть. Некоторое время он бессмысленно глядел в одну точку, потом опустил голову, снова взялся за письмо.

— А на кого ты учишься? — спросил Габо.

— Буду агрономом.

— Эх! — вздохнул Габо.

— Да так...

Сосика сложил исписанный лист вчетверо и протянул его Зурабу.

— Когда будешь в конторе, спроси счетовода...

— Не счетовода, а Цисо, — подсказал Габо.

Сосика нахмурился.

— Все село знает, что же от человека скрывать! — наивно развел руками Габо.

Сосика нахмурился еще больше.

— Спросишь Цисо и скажешь: это письмо передал тебе влюбленный Сосика!

Сосика, не найдя ничего под рукой, схватил бадейку и погнался за товарищем. Тот бросился от него, продолжая кричать:

— Спросишь Цисо... Цисо!

Солнце словно вырвалось из преисподней. И небо было теперь не небо, а просто бескрайнее пространство, освещенное солнцем.

Тропка вилась среди оголившихся полей. Колкая стерня желтела до самого горизонта.

Становилось жарко. Казалось, солнце решило показать всю свою мощь и власть. Кругом ни деревца, чтобы можно было укрыться в тени. Вот-вот должна была показаться река.

«Если бы Нана была со мной!..»

— Когда я кончу, обязательно приедем сюда. Верно? — Он спросил так, словно она в самом деле была рядом.

— А где тут речка?

— Скоро увидишь.

— А как она называется?

— Не знаю.

— Ты говорил, близко.

И ему показалось, и так отчетливо показалось, будто Нана идет с ним. Он слышал частый стук ее каблучков и вдруг спросил вслух:

— Устала?

— Нет.

— Еще немного.

— Вот она! — воскликнула Нана.

Река блестела под солнцем и, казалось, не двигалась вовсе. У самых берегов почва была темной. Наверное, вода спала, и земля не успела обсохнуть.

Противоположный берег был таким же плоским, и поверхность реки, густая и выпуклая, как ртуть, медленно скользила по жнивью. По эту сторону стоял паром. Толстый канат тянулся через реку, провисал под собственной тяжестью и, исчезая в солнечном блеске, уходил на другой берег.

— Здравствуй, парень! — услышал вдруг Зураб.

В ожидании пассажиров паромщик лежал в тени. Он был голый по пояс, в рваной шапке, надвинутой на самые брови. И шапка и волосы казались серебряными от покрывавшей их тонкой пыли.

Зураб подошел ближе и поздоровался. Некоторое время оба молча оглядывали друг друга.

— Садись, чего стоишь! — произнес наконец паромщик.

— Я спешу, — ответил Зураб. — Мне в село надо.

— Куда в такую жару!

— Ведь тут недалеко.

— Это верно. Но жарища...

— А я искупаюсь — легче станет.

— Сгоришь на солнце.

— Не сгорю. Только вода, наверное, теплая.

— Бог с тобой! Разве эту сумасшедшую реку согреешь!

— Отчего же нет? Течение небыстрое.

— Уж я-то ее лучше знаю! — обиделся паромщик.

— Так, значит, заносит?

— Только держись.

— А паром как?

— Моего молодца и Арагва не одолеет, — похвастал паромщик.

— Работы, я погляжу, здесь немного, — улыбнулся Зураб. — Народу не шибко.

Паромщик достал из кармана две сигареты и протянул одну Зурабу.

— Покурим...

Зураб чиркнул спичкой. Собеседник его подул на сигарету и разогнал дым рукой. Кожа на руках была сморщенная и потрескавшаяся, как картофельная кожура.

— Народ теперь весь в поле. Жатва. Поглядел бы ты, что на мосту делается! Машина на машине, хлеб везут. А ты, небось, думаешь, на что тут паром.

— Нет, не думаю.

— Ты мне правду скажи.

— Да не думаю я ничего.

— По утрам я учеников в школу перевозжу. Потом назад. Сажу — жду, когда обратно соберутся.

— И не скучно?

— Скучно? Нисколько. Разве кузнечнику надоедает стрекотать? И вода, она ведь на огонь похожа, смотришь и вспоминаешь про всякое.

— А о чем тебе размышлять столько? — улыбнулся Зураб.

— О многом. Я ведь так об этой земле тосковал, что и теперь наглядеться не могу.

— Когда это?

— Да в войну... Дал я себе клятву: если останусь в живых, вернусь домой, буду паромщиком... Чего ж ты не садишься?

— Купаться пойду.

— Опять за свое...

— Я тут разденусь.

— Давай...

Зураб разделся и вошел в воду. Река была глубокая. Он проплыл немного и лег на спину. Было так приятно, будто после сильной усталости лег в удобную кровать. Он закрыл глаза и покорился течению.

Нана стояла на пароме. Ветер срывал с колен красное платье.

— Жатва! Жатва! — то ли кричали где-то, то ли в колокола звонили.

Зураб вдруг пришел в себя и поплыл к берегу. Его отнесло довольно далеко. Пришлось берегом идти до парома.

— Обсохни немного, — посоветовал паромщик.

— Я спешу.

— Что же она тебе сказала?

— Кто? — удивился Зураб. — Кто сказал?

— Да река, — хитро улыбнулся он.

Зураб проверил, в кармане ли письмо Сосики, и, так же лукаво улыбаясь, ответил:

— Сказала: иди быстрее, куда тебе надо.

Он попрощался с паромщиком и побежал туда, где виднелся ивняк.

— Зураб! Подожди меня! — крикнула Нана.

Он улыбнулся на этот воображаемый крик и, не замедляя бега, махнул рукой:

— Некогда мне, Нана! Спешу!



Наш паровоз, вперед лети!

СТРАНИЦЫ ГЕРОИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ

Как это ни трудно себе представить, но полвека назад не было комсомола. И не было комсомольцев. Были простые парни и девушки из рабочих и крестьянских семей, которые входили в жизнь и, как повелось от века, искали в ней свое место и свою позицию. Но жизнь к тому времени уже переменилась, перевернулась под острым лемехом Великого Октября, и, озаренные пламенем Революции, молодые люди — самая лучшая, самая боевая и энергичная ее часть — по зову партии спаялись в организацию, назвавшую себя Комсомолом.

История прозаичнее, чем передовая статья, и красочнее, чем художественный очерк. И как это ни странно на первый взгляд, но за «горнилом классовых боев» и «вихрем пятилеток» стоят очень простые дела Ванюшек из Косачевки и Семеновки, Марушь с Выселок и Борок, Санек с Красной Пресни. И чтобы почувствовать преемственность поколений, чтобы увидеть, как длится полувековая комсомольская эстафета, надо уметь разглядеть за бронзой памятников простую и трогательную телесность тех, кому они поставлены. Надо различать за символами людей. За свершениями — работу. За патетикой — простоту.

Об этом наша подборка. Эти предельно документальные рассказы — как листки календаря. Они правдивы и непритязательны. Отдельные странички, написанные очень разными людьми и в разное время, но все так или иначе входящие в единую и подлинную летопись Ленинского комсомола.

А. Иванова

ОН ЕЩЕ НЕ БЫЛ КОММУНИСТОМ...

Худенький, обнаженный до пояса юноша лежит на больничной койке. Он без сознания. Хриплое дыхание вырывается из груди. А столпившиеся вокруг люди в белых халатах не могут отвести глаз от его спины. Глубокими ранами кровоточат вырезанные на ней буквы «РКП» и ниже — «М».

Юноша пришел в себя лишь через несколько дней. О том, что с ним произошло, врачи и сестры могли только догадываться: раненого привезли

с Украины, где в то время бесчинствовали банды Махно. Восемнадцать месяцев лечили Ваню Никишкина в курской больнице, только через год он стал ходить. И тогда сам нашупал рубцы на спине — отметку батики Махно.

Махновцы отрубили ему и пальцы на ногах. Походка Вани теперь стала нетвердой, волочащейся. А еще недавно он был лихим плясуном и бойко выбивал одесскую чечетку.

Временами тоскливо сжималось сердце. Сделал ли он все, что наказывал ему командир и что было в его силах? Теперь все чаще он возвращался к недавнему прошлому, вспоминал все до малейших подробностей.

Летом 1918 года, шестнадцати лет, уехал на фронт с подмосковной станции Мытищи, не успев даже попрощаться с отцом и матерью.

Однажды его вызвал командир.

— Поручаю тебе, Ваня, сложное и, прямо скажу, опасное дело: нужно пробраться в гнездо Махно, разведать обстановку и в зависимости от нее действовать. Никто не должен знать об этом, даже из своих. Я скажу ребятам, что ты уехал домой, в отпуск.

Командир говорил, а Иван уже видел себя бродячим артистом. Он умеет играть на гармонике, поет, пляшет, показывает фокусы. Назовет себя сыном погибших циркачей, — поверят.

А. ИВАНОВА. ОН ЕЩЕ НЕ БЫЛ КОММУНИСТОМ...

5. «Юность» № 10.



На фото: так начинается будущий спектакль. Режиссер И. Никишкин «пробует» новую пьесу на ребятишках.

Быстро сменил Иван красноармейскую одежду на штатскую, перекинул через плечо гармонику, а в мешок положил нехитрый реквизит фокусника.

Долго ходил он по украинским селам, пока не добрался до махновской столицы — села Гуляй-Поле. А вскоре его позвали и к самому Махно.

...Большая хата. На столах бутылки с самогоном, остатки ужина. Бандиты веселятся. Щуплый, сутулый человек с длинными волосами восседает в кресле. За стеклами очков глаза, в которых одновременно интерес и подозрительность.

— Ты откуда?.. Красный?

— Нет, что вы... Я артист...

— Артист? — переспросил Махно. — А не врешь, собака? — Сильный удар в голову. Иван пошатнулся, но устоял. А Махно вдруг захохотал и крикнул:

— Выдержал экзамен! А теперь играй!

Два месяца жил Иван в стане врагов, развлекавая махновцев игрой на гармошке и фокусами.

Но днем и ночью Ивана не покидала мысль: добыть оружие и прикончить Махно. Впрочем, бандиты были осторожны и оружия не давали.

Шли дни. Иван подружился с махновским подружником, вместе ночевали на сеновале. Поинтересовался у него вроде бы невзначай, что это за «адские машинки», которые тот налаживал. Подружник охотно пояснил:

— Здесь часовой механизм, взрывчатка. Если заведешь ручку, как гопнет... костей не соберешь.

Однажды вечером, когда минер крепко уснул после пьянки, Иван спрятал мину за пазуху, взял гармонь и направился к хате Махно. Его окликнул часовой:

— Куда, артист?

— Играть...

— Никого пускать не велено: штаб заседает.

— Что ж, пойду спать, — покорно сказал Иван часовому и не спеша удалился.

Задуманное срывалось. Но рядом с хатой Махно находился склад боеприпасов. Сюда-то под дверь и положил Иван мину, предварительно поставив стрелку часового механизма так, чтобы взрыв последовал через час. Делая вид, что прогуливается перед сном, прошел он по селу, вышел за околицу и бросился бежать. Всю дорогу

гулко колотилось сердце — казалось, вот-вот разорвется в груди.

Семь километров уже были позади, когда небо озарилось заревом. И тотчас дрогнула земля.

Немного передохнув в соседней деревне, Иван принялся искать своих. Но его уже преследовала погоня. «Артиста» опознали. Бандиты топтали его сапогами, били прикладами, пытали... А потом, словно сквозь сон, он услышал выстрелы. В село вошли красноармейцы.



Почти полвека прошло с того времени. Сравнительно недавно мне привелось встретиться с Иваном Алексеевичем Никишкиным в Доме пионеров города Советска, Калининградской области.

Иван Алексеевич рассказывал:

— Махновцы расправились со мной, как с большевиком, хотя тогда я еще не был коммунистом. Но с тех памятных дней год от года наша партия становилась для меня ближе и роднее, и в 1928 году я вступил в ее ряды.

В этом человеке с детства жила мечта. Двенадцатилетним мальчишкой увидел в Брянске — городе своего детства — представление бродячего кукольника Зайцева и полюбил кукольный театр. Любовь к театру привела Ивана Алексеевича на курсы режиссеров в Москву. Слушал лекции С. В. Образцова. Затем организовал в Брянске первый кукольный театр. Детское увлечение стало призванием.

Когда грянула Великая Отечественная война, Никишкин работал в пионерском лагере под Брянском. Там же, в лесу, стали формировать городской партизанский отряд. Иван Алексеевич знал, что по своей инвалидности не всегда сможет участвовать в выполнении боевых заданий. Но разве он мог остаться без дела?! Он строил в лесу землянки и погреба, заготавливал продукты, начинал «фугасы» взрывчаткой, готовил бутылки с горючей смесью.

А вечерами в землянке при свете коптилки командир партизанского отряда Д. Е. Кравцов вместе с Никишкиным обсуждал планы операций: пригодились опыт участника гражданской войны.

Однажды командир предложил ему составить

текст клятвы партизан. Иван Алексеевич вспомнил, как в гражданскую войну рассказывал ему командир о «красной клятве» коммунистов.

— И захотелось, — вспоминает он, — выразить в нашей партизанской клятве что-то большое, светлое. Верили мы, что враг будет разбит, знали, что и воины и партизаны сильны духом, готовы кровь пролить и жизнь отдать за Родину.

«Клянусь, что не выпущу из рук оружие, пока последний фашистский гад на нашей русской земле не будет уничтожен... Я клянусь, что скорее умру в жестоком бою с врагом, чем отдам себя, свою семью и весь советский народ в рабство коварному фашизму».

Приняв эту присягу на верность Родине, ушли в бой партизаны. Подлинник клятвы зарыли в лесу, в цинковой коробке от патронов.

После ранения в ногу Иван Алексеевич был переправлен на Большую землю. А когда вылез, работал комбайнером в совхозе Тамбовской области. Даже зимой, в мороз и метель, молотил оставшиеся в поле скирды хлеба.

После освобождения Брянска Иван Алексеевич вернулся в родной город. Несколько лет он работал режиссером областного театра кукол. Потом переехал в Советск и еще двадцать лет руководил кукольным театром городского Дома пионеров. Сколько спектаклей, интересных и умных, пробуждающих добро и обличающих зло, показал детям этот влюбленный в искусство человек! И щедро его награждали аплодисментами и любовью юные зрители.

П. Жук

ПРО ГАЛСТУК

В год 50-летия Ленинского комсомола я вспоминаю свою юность, вспоминаю весну девятнадцатого года, когда мы создавали комсомол в осажденном бандами генерала Дутова Оренбурге.

Я часто бываю в Оренбурге: обком комсомола приглашает для встреч с нынешними комсомольцами, которые достойно продолжают наши традиции. И когда мы, старые комсомольцы, собираемся вместе с молодежью, то обязательно вспоминаем наши бесконечные мобилизации: то на борьбу с белополяками, то на Южный, то на Западный фронты, то на продовольственный фронт, то на топливный... Это называлось мобилизацией, но на самом деле комсомольцы добровольно отправлялись туда, где было всего труднее. Многие комсомольцы — Алексахин, Востриков, Евсюков, Медведев, Прокудин, Полосьин, Сдобнов и другие — не вернулись с фронтов. А Михаил Нестеров, который потерял руку на фронте, и ныне

живет в Оренбурге, работает в штабе революционных традиций при обкоме комсомола.

А как не вспомнить наши субботники, на которые молодежь шла, как на праздник, с пением революционных песен! Как не вспомнить «неделю сухаря», которая была объявлена у нас, когда стало известно, что рабочим Петрограда, их семьям угрожает голод! Комсомольцы, молодежь собирали печеный хлеб, муку, крупу. Печеный хлеб разрезали и просушивали, и в общем за неделю собрали три тысячи пудов хлеба, который специальным поездом в сопровождении представителей оренбургского комсомола был отправлен в революционный Петроград.

На сегодняшний взгляд мы были порой наивны. Так, стремясь привлечь молодежь к искусству, мы приняли на I губернском съезде комсомола такую резолюцию: «Необходимо при постановке пьес менять каждый раз товарищей, разыгрывающих их. Таким образом, у нас не будет профессионализма в искусстве, в которое должна вовлекаться вся рабоче-крестьянская молодежь».

Я хочу рассказать еще одну историю, которую мне напомнил недавно в Оренбурге убежденный сединой комсомольский активист двадцатых годов Иван Коржеманов.

В период нэпа, как известно, многие комсомольцы с презрением относились к молодым людям, надевавшим шляпы и галстуки, к девушкам, носившим туфли на высоких каблуках и употреблявшим губную помаду. Все это квалифицировалось как прямое подражание буржуазии, нэпманам.

Так вот, в 3-м районе Оренбурга проходило очередное районное комсомольское собрание. Когда зал был уже полон молодежи, в него вошли три комсомольских активиста: двое из губкома комсомола и секретарь райкома. Они были в хороших костюмах, при галстуках, а в руках держали шляпы. Зал затих. Все внимание было сосредоточено на вошедших, осмелившихся одеться не по пролетарскому образцу. При выборе президиума никто из трех популярных активистов не был избран, тем самым комсомольцы осудили их «поступок».

Атмосфера накалялась.

Секретарь райкома уже готовился объявить повестку дня, как один из комсомольцев взял слово для внеочередного заявления, в котором потребовал обсудить вопрос о поведении секретаря райкома и членов губкома комсомола ввиду того, что они подпали под влияние нэпманов. В зале раздались возгласы: «На сцену, на сцену! Как дошли вы до жизни такой?! Расскажите, почему вы так разоделись, нужно осудить таких руководителей!»

Когда член бюро губкома вышел на сцену, из зала вновь крикнули:

— По кому равняетесь?

— По нему! — сказал член губкома комсомола и показал на портрет Владимира Ильича Ленина, висевший в зале.

На портрете Владимир Ильич был изображен в своем обычном костюме и, естественно, при галстуке... Ленин, чуть прищурившись, смотрел с портрета в зал.

Небывалая для комсомольских собраний того времени тишина воцарилась в зале. Наконец кто-то громко крикнул: «Ну чего время тянуть, надо приступать к деловым вопросам!»

**Иван
Демичев**



КАК МЫ ПОСЫЛАЛИ КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕВУШЕК НА УЧЕБУ

В конце августа 1925 года из Белевского укома комсомола мы получили указание послать двух девушек-крестьянок на учебу во вновь организованную сельскохозяйственную школу. В то время деревня крайне нуждалась в специалистах, особенно из среды молодых крестьян, сызмальства знакомых с сельским хозяйством.

Подобрать девушек на учебу было нелегко: родители не разрешали им даже ходить на лекции, доклады и комсомольские собрания, тем более мало кто согласился бы отпустить дочерей в другой район, да еще на два года.

Одна из девушек, которую наше районное бюро комсомола посылало на учебу, была из бедняцкой семьи. Звали ее Настей, и она доводилась сестрой секретарю Астаповской комсомольской ячейки Васе Фомушкину.

Квартируя у Фомушкиных, я несколько раз беседовал с родителями Настей, и они дали согласие отпустить дочь на учебу.

Сложнее было со второй кандидатурой. Мы решили, что это будет девушка из бедняцкой семьи.

Но все наши разговоры с девушками не увенчались успехом: то сами они отказывались уезжать от родителей, то родители их не отпускали.

Видя наше затруднение, Настя Фомушкина посоветовала уговорить ее подружку Дуняшу Панфилову. Эта кандидатура нам показалась подходящей: хорошая девушка, из бедняцкой семьи.

Члены бюро — Ваня Сигаев, Сережа Рыженков и я — стали попеременно «обхаживать» Дуняшу: несколько раз встречались с нею на посиделках,

в хороводе. Наши уговоры подействовали: Дуняша изъявила желание ехать в сельскохозяйственную школу. Я обрадовался, но радость оказалась преждевременной. Наша кандидатка сказала:

— Я согласна, если мама отпустит. А вы уж сами с ней поговорите.

— А как отец? — спросил я.

— Отец поступит, как велит мать. В девичьи дела он не вмешивается.

На следующий день я вошел в покосившуюся, дряхлую избушку Панфиловых. На шатком дощатом столе на перевернутом вверх дном чугушке стоял заправленный керосином пузырек с тоненьким фитильком; как мышиным глазом, он освещал избушку. Из каждого ее угла истошно кричала бедность, убогость.

Мать Дуняши пристально и долго всматривалась в мое лицо, а потом произнесла:

— Да ты, кажись, михайловский будешь?

Я подтвердил это.

— Кажись, из Демичевых? — продолжала она.

Я подтвердил и это.

Сощуриив глаза, она спросила: — А к нам-то, в Астапово, зачем, да еще в позднее время, пришел?

— Я работаю секретарем комсомола и квартирую у Фомушкиных, так что позднее время мне ничего не значит, ходить недалеко, — сказал я хоззяйке.

Панфилова очень любезно расспрашивала меня о моих родителях: где отец, кто работает в поле, платят ли мне в комсомоле и сколько. Когда расспросы подошли к концу, я заговорил с ней о цели моего прихода.

Тут же любезный тон Панфиловой сменился на невероятный гнев. Встав с растрескавшейся, шершавой лавки, она закричала:

— Чтоб моей дочери, как и вам, окаянным безбожникам, этим самым комсомольцам... как вас там по-вашему называть, антихристову печать на грудь припечатали?..

В то время среди неграмотных и религиозных крестьян ходили нелепые слухи, распространявшиеся кулацко-поповским элементом, — слухи о том, будто всем коммунистам, безбожникам и комсомольцам, как продавшимся дьяволу, на тело поставлена дьявольская печать.

— Какую печать? Кому? — спросил я.

— Да дьявольскую печать вам, безбожникам.

Я снял с себя рубашку и сказал:

— Нате, смотрите, где и какая на мне печать?

Хозяйка смутилась, начала креститься, но все же внимательно осмотрела мое тело. Не увидев на мне никакой печати, она, однако ж, продолжала свое:

— Нам, верующим, антихристову печать не смеет показаться, вот я ее и не вижу.

— Если вам, верующим, печать не видна, то почему же я, не верующий в бога и черта, ее не вижу?

— Это уже один бог знает, — неуверенно проговорила хозяйка.

Долго еще я разговаривал с Панфиловой, наконец она сказала:

— Не знаю, про печать, может, и не так, но я слышала такой разговор в деревне от самостоятельных людей.

— Ну, ладно, об этом не будем спорить, — примирительно заметил я. — Думайте про веру как хотите, а вот о судьбе Дуняши надо подумать как следует. Вы с мужем неграмотные, век свой жили в бедности, так дайте дочери в люди вый-

ти, стать грамотным специалистом. Она тогда сама будет жить настоящим человеком и вам станет помогать. Мы, комсомольцы, для вас же стараемся.

Но, не дав мне договорить, Панфилова выхватила из-под печки кочергу и, потрясая ею над моей головой, закричала:

— Уходи, смутьян! Куда хочешь затащить мою дочь?.. Как жили, так и будем жить. Без вас проживем! Вон из избы! Чтоб духу твоего тут не было!

Пришлось уйти.

На следующий день, узнав, что отец Дуняши дома, я снова пришел к Панфиловым. Хозяйка встретила меня неприветливо.

— Что, смутьян, опять пришел сбивать с толку девчонку? Поищи других дураков, а мы свою дочь никуда не пустим. Мужичке агрономом не быть.

— Да нет, я пришел не за этим, а по другому делу. Хочу посоветоваться с вами. Вы, наверное, знаете Машу? — И я назвал фамилию девушки из богатой семьи.

— Знаем, — ответила хозяйка. — А что?

— Отец и мать просили меня послать их дочь учиться на агронома, тем более что жить-то будут там за счет казны: и учение, и жилье, и питание, и обувь, и одежда — все государственное. Вот я и пришел посоветоваться: как вы думаете, получится ли из нее хороший агроном?

Мать Дуняши, внимательно выслушав меня, вдруг очень заинтересовалась подробностями учебы и жизни в сельхозучилище. Я же, отвечая мельком и невпопад, умышленно продолжал расспрашивать Панфилову про ту девушку из богатой семьи, исподволь подчеркивая, что ее родители — большие хитрецы и знают, как вывести в люди свою дочь.

— Да что ты все про эту девку? Далась тебе гачка, как будто других в деревне и нет, — не выдержала Панфилова.

— Ведь я к тому, что ее родители уж очень просили об этом. А я их плохо знаю. Нам нужно послать девушек не балованных, не лежебок, а работающих. Вот я и пришел за советом...

И тут, прикрыв рот кулачком, мать Дуняши спросила:

— А что, другие, кроме той девки, не нужны, что ли?

— Как нет? Нужны! Да вот другие, вроде вас, не отпускают девчат.

Тогда Панфилова вдруг сказала:

— Коль квартира, харч, одежда с обузей казенные, я бы и то, пусть бы и согрешила, отпустила бы свою Дуняшу. Уж как-нибудь без нее управимся по дому. А ты что скажешь, отец? — спросила она мужа.

— Да я, как ты. Мы были пнями и пням богу молились, бедные, неграмотные. Может, дочь станет человеком...

— Право, если только можно, Иваныч, забудь мою горячку, запиши дочь в ту агрономическую школу, — подытожила наконец хозяйка.

В душе я был несказанно рад, что наши комсомольские усилия не пропали даром.

— Уж сделай милость, Иваныч, — просили Панфиловы, — ты же дружок нашего зятя, Миши, похлопочи по-свойски за Дуняшу...

И я обещал «похлопотать».

Бюро комсомола послало в сельхозшколу Настю Фомушкину и Дуняшу Панфилову. Вскоре Панфилова вступила в комсомол. Обе девушки стали хорошими, грамотными специалистами.



А. Гурвич

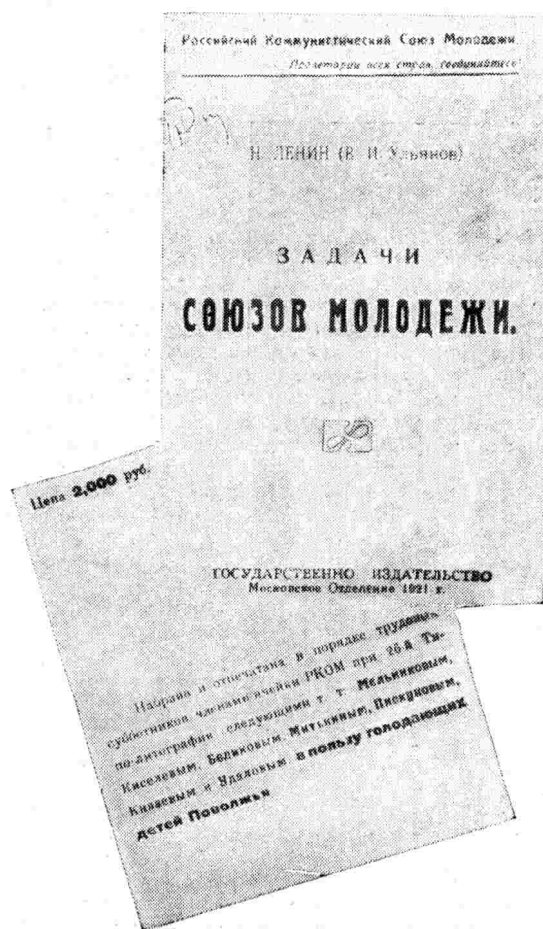
ЭТИ ДВАДЦАТЫЕ ГОДЫ

Говорят, что североамериканские индейцы носят на поясе небольшие капсулы, сделанные из рога. В них хранят ароматические вещества. Когда индейцу хочется вспомнить что-либо очень отдаленное, он открывает одну из капсул, и аромат заключенного в ней вещества как бы погружает его в давно минувшие дни.

Быть может, неплохо и нам обзавестись такими капсулами. Открыл — и пряный аромат окружит дыханием прошлого... А быть может, и не надо. Ведь окружающая жизнь сама напоминает о пройденном и пережитом, воскрешая в памяти былое.

...Для меня комсомольская юность началась осенью 1920 года на подготовительном отделении Московского электромеханического института имени Ломоносова. Многие преподаватели не скрывали тогда своего враждебного отношения к Советской власти, открыто злорадствуя по поводу трудностей, переживаемых страной, с сожалением вспоминая дореволюционное время. Их поддерживало и большинство студентов. Лишь после создания подготовительного отделения (позже переименованного в рабфак) в институте появились первые комсомольцы, и организовалась ячейка. Поначалу в ней было всего пять или шесть человек. Тогда-то и я, тринадцатилетний мальчишка, вступил в комсомол.

Отлично помню, как травили нас студенты, особенно старшекурсники, как окружали в коридорах с криками: «Ячейка идет, ячейка!» Дело доходило и до драк. Помню, как преподаватель географии Давыдов вышвырнул меня из аудитории за попытку вступить с ним в спор, когда тот, рас-



сказывая об одной из стран Западной Европы, стал расхваливать ее политический строй.

Заседания ячейки приходилось устраивать в самых неподходящих местах: в коридоре или на лестничной площадке. Изредка, правда, удавалось занять пустую аудиторию. Свое помещение появилось значительно позже.

С первых же дней создания ячейки мы зачистили в комсомольский клуб Городского района. Здесь мне вскоре поручили организовать библиотеку. Увлеченный этим заданием, я стал пропускать то день, то два в институте, а затем и вовсе забросил учебу, став освобожденным работником клуба.

Зимой 1920/21 года районный клуб находился у Сретенских ворот, в помещении маленького кинотеатра «Фантомас». Как-то недавно мне довелось побывать в нем, снова подняться по крутой и неудобной лестнице на второй этаж, в наш бывший клуб. Планировка его не изменилась: тот же уютный зал, те же две крохотные комнатки. Только там, где помещалась раньше наша библиотечка (всего несколько сотен брошюр), я увидел табличку «Директор», а место драмкружка занял буфет. Да, именно здесь, в «буфете», Арский, Иванов-Загребский, Валя Афанасьев и другие ребята разучивали роли в незамысловатых пьесах, готовили вечера самодеятельности с непременным «солистом» — Колей Чиколени...

Выступал на клубных вечерах и 10-летний мальчик Женя Крекшин. Он случайно забрел в наш клуб и прочел такие свои стихи:

На помощь красному Поволжью
Все те, кто бодр, свеж и молод!
Пусть дрогнет перед молодежью
Наш лютый враг — проклятый голод.

Мальчишка был плохо одет, жил с одинокой, очень нуждавшейся матерью (она работала уборщицей) и был постоянно голоден. Ребята подкармливали его. Помогали чем могли. Очень уж нам хотелось, чтобы из Жени вырос «настоящий поэт». Стал же он не поэтом, а журналистом, работал в журнале «Знамя», погиб на фронте в Отечественную войну.

Осенью 1921 года началась активная работа по созданию ячеек на предприятиях. Дело это оказалось не простым. Далеко не вся молодежь правильно и объективно ориентировалась в новых условиях. Этим пользовались остатки меньшевиков и других враждебных партий.

Мне поручили попытаться создать ячейку в швейной мастерской Альшванга. Войдя во двор, я по крутой лестнице поднялся на второй этаж, где находился завком, и обратился к его председателю:

— Как бы собрать молодежь? Я из райкома комсомола.

— Пойдем, парень, — ответил, поднимаясь из-за стола, крупный мужчина, — проведу тебя.

И провел — к той же лестнице, крепким подзатыльником указав самый короткий путь из мастерской во двор...

По вечерам жизнь райкома обычно переносилась в клуб. Здесь велись горячие споры, обсуждались самые разнообразные вопросы. Здесь же дружно работали и над стенной газетой. Это была в полном смысле слова стенная газета, занимавшая всю стену клубного фойе, от пола до потолка. Буквы — чуть ли не в пол-аршина. Красок у нас не было, и газету писали лаком, оставшимся еще от старых хозяев «Фантомаса»...

Летом 1921 года страшная засуха поразила Поволжье. Тысячи людей погибали голодной смертью. Московские рабочие старались всем возможным помочь голодающим деревням: собирали вещи для посылок, организовывали субботники, делали отчисления от своей скудной зарплаты. Группа комсомольцев из 26-й типографии решила напечатать во внерабочее время какую-нибудь полезную брошюру или книгу, а гонорар за издание направить в фонд помощи Поволжью.

Узнав о затее печатников, секретарь МК РКСМ Борис Трейвас (а может быть, тогда он был еще заведомом, а секретарем стал несколько позже — не помню) посоветовал:

— Напечатайте речь Ленина на Третьем съезде.

Надо сказать, что первое издание этой речи, выпущенное в 1920 году Главполитпросветом, мгновенно разошлось, и лишь у немногих счастливых сохранились экземпляры, зачитанные чуть ли не до дыр. Был такой экземпляр и у редактора нашей стенгазеты Андрея Горлова, дававшего его читать лишь после клятвенных уверений вернуть в срок и в полной сохранности.

Мысль напечатать речь Владимира Ильича поддержали многие наши активисты: Лиза Теремьякина, Шура Митрофанов, Гурген Восканян, Саша

На фото: 1921 г. Группа комсомольцев Городского района Москвы. Слева в первом ряду — Л. Гурвич.



Ацаркин. Стали обсуждать практические вопросы издания. Бумагу печатники 26-й типографии брались обеспечить сами, кроме обложечной — альбомной, как они ее называли. Раздобывать ее поручили мне.

За бумагой пришлось идти в Госиздат. Так я оказался у Отто Юльевича Шмидта, председателя правления Госиздата.

Из-за громадного письменного стола навстречу мне встал очень высокий человек с большой бородой. Пригласил сесть. Узнав суть просьбы, сразу же обещал дать бумагу. Порывшись в одном из ящиков стола, Шмидт достал несброшюванный экземпляр какой-то книги.

— Это первый оттиск, — сказал он. — Собрание сочинений Ленина мы выпускаем по решению съезда партии. И то, что делают молодые печатники, очень нужно, очень полезно.

Из кабинета я ушел с резолюцией на выдачу стопки альбомной бумаги.

Через Н. К. Крупскую издание брошюры было согласовано с Лениным. Согласие Ильича еще больше воодушевило молодых печатников. Текст они набирали вечерами, после целого дня напряженной работы. Сами корректировали, сами правили и верстали.

Печатали по ночам на старенькой плоскопечатной машине. Подчас ее приходилось крутить вручную — ток подавался с перебоями. Несколько ночей ребята вовсе не уходили домой. Заснут на пару часов тут же около машины — и снова за работу.

Трейвас предложил напечатать на обложке брошюры фамилии всех, кто участвовал в этих типографских субботниках. Ребята возражали, считая это нескромным. О споре узнала Крупская — рассказала об этом Ленину. Вскоре Надежда Константиновна сообщила нам, что Владимир Ильич считает предложение Трейваса правильным. И тогда на последней странице обложки появился следующий текст:

«Набрано и отпечатано в порядке трудовых субботников членами ячейки РКСМ при 26-й типографии следующими товарищами — Мельниковым, Киселевым, Митькиным, Пискуновым, Кня-

зевым, Беликовым и Удаловым в пользу голодающих детей Поволжья».

Цену брошюры установили в две тысячи рублей — немногим более стоимости коробки спичек в то время.

Брошюры роздали по районам. И сразу же начались звонки: «Почему нам мало дали? Все уже разошлось. Добавьте!» Пришлось просить ребят из 26-й типографии о допечатке. Они сразу согласились, но, оказывается, все лимиты на бумагу уже были исчерпаны. Снова обратились к Шмидту, и снова он помог нам. Так сверх первых экземпляров было напечатано еще 12 500.

С той поры речь Ленина издавалась только в СССР 423 раза на 74 языках. Общий тираж превысил 16 миллионов экземпляров. А синенькая брошюрка, выпущенная комсомольцами Горрайона, бережно хранится в отделе редких книг Всесоюзной библиотеки имени Ленина.

Идешь по улицам Москвы, и дома рассказывают тебе о твоей юности, о далеком и незабываемом прошлом. Вот, например, Большая Дмитровка (ныне Пушкинская улица), где чуть ли не каждый дом напоминает мне об эпизодах жизни московской комсомолии.

Десятки собраний, съезды и конференции, вечера и встречи происходили в Колонном и Голубом залах Дома союзов. Наискосок от него, в бывшей опере Зимина (нынешний театр оперетты), мы принимали шефство над флотом, праздновали пятилетие комсомола, часто митинговали по разным поводам.

Квартал, начинающийся от Столешникова... Это почти десятилетняя история МК, размещавшегося то в Косьмодемьяновском (кто теперь знает, что был такой переулочек!), то в крохотных комнатухах на верхотуре углового здания по Глинищевскому, то, наконец, на обширном втором этаже дома № 22. Высокие, светлые комнаты, широченный коридор, большие окна — мы не сразу привыкли к такой роскоши. Вот и сейчас я мысленно иду по Б. Дмитровке, захожу в дома, в которых довелось работать почти восемь лет.

Первые месяцы — в отделе печати МК, бывшем одновременно и редакцией газеты «Юношеская правда». Газета выходила нерегулярно: то раз в две недели, то почаще. Ее периодичность обычно зависела от получения продуктов, которыми мы расплачивались с рабочими типографии. Раздобыли малость муки, сахару, консервов, табаку, — значит, есть с чем идти в типографию.

Постепенно положение стало меняться. Нас прикрепили к 16-й типографии на абсолютно официальных началах. Газета стала приобретать иной вид. Появился художник Николай Дутов, и на страницах заперстрили рисунки, карикатуры, заставки. Редактор Илья Лин придумывал броские заголовки, ему помогал Николай Кабанов (он же А. Том). Став позднее довольно известным журналистом, корреспондентом «Комсомольской правды», Николай лет через десять погиб, участвуя в экспериментальном дальнем перелете одного из первых советских самолетов.

Быстро рос тираж, и газета стала самокупаемой. Стихи Безыменского, Жарова, Малахова, первые рассказы Шолохова, очерки по науке и технике, хлесткие фельетоны — все это способствовало популярности «Юношеской правды».

...Все острее ставились перед комсомолом задачи борьбы с враждебными влияниями на молодежь.

Улица первых лет нэпа — это сразу вылезший из всех щелей частник, наглый, ловкий, быстро жирующий и широко пользующийся открывшимися возможностями пожить всласть. Государственная торговля делала лишь самые первые шаги.

В кино преобладали заграничные боевики — картины, рекламировавшие «роскошную жизнь» и сверхудивительные приключения.

Значительная часть молодежи охвачена длительной безработицей. Только-только возникают первые школы фабзавуча, возникают в муках и в поисках не только форм обучения, но и самих возможностей своего существования.

Активизировались меньшевики. Они пробовали даже создать свой союз молодежи.

Московский комитет комсомола решил открывенно рассказать молодежи о причинах всех трудностей, дать публичный бой меньшевикам и их подголоскам. Для этого была созвана общегородская конференция рабочей молодежи. Состоялась она в Доме союзов, в переполненном Колонном зале. Сразу после доклада А. В. Луначарского на трибуне появился меньшевик, пытаясь сбить делегатов с толку клеветническими обвинениями. Один за другим выступили молодые рабочие — большинство впервые в жизни оказалось на трибуне — и дали меньшевику отпор.

...Быстро разраставшийся книжный рынок — очень широко расплодился частные издательства — наводнялся бульварной литературой и переводным «чтивом». В МК возникла мысль создать свой книжный магазин для молодежи с тщательным отбором продаваемой литературы. В перспективе виделось и собственное издательство. Ни помещения, ни средств, ни опыта — словом, ничего у нас не было, кроме одного: горячего желания создать свой центр. Организация его была поручена мне.

Вид у будущего директора был весьма непрезентабельный: обшарпанные холщовые брюки, босоногий. Сандалии с едва державшимися подметками бережно хранились в потрепанном плотняном портфеле и надевались лишь при входе в то или иное учреждение. Много раз ходил я в

отдел Моссовета, ведавший распределением торговых помещений и вечно забытый частниками, захватывавшими все сколько-нибудь подходящее. Хождения были безрезультатными. Выручили краснопресненские комсомольцы, разузнавшие о пустовавшем большом магазине в доме на Тверской, близ нынешней площади Маяковского. Руководствуясь принципом революционной целесообразности, мы захватили его явочным порядком.

В августе 1922 года магазин открылся. Появилась большая вывеска:

Книжный магазин МК РСМ
«Красные всходы».

Сюда стали приходить комсомольские активисты, работники райкомов и МК, молодежь с приятней, писатели, библиотечные работники. Здесь обсуждались новинки литературы, устраивались диспуты, составлялись рекомендательные списки, устраивались тематические выставки. «Красные всходы» быстро полюбили молодежи.

Магазин стал популярным и в книжно-издательском мире. По объему же своей торговли он был, пожалуй, самым крупным книжным магазином Москвы первой половины 20-х годов. Появились его филиалы в рабочих районах. В одном из них продавцом работал начинающий комсомольский поэт Яков Шведов (автор песни «Орленок»).

Потребность в книгах быстро росла, и МК пришел к выводу о необходимости создания своего крупного издательства. Так возник юношеский сектор издательства Моссовета «Новая Москва». Начав с совсем малого, с выпуска двух-трех книжек в месяц, крохотный коллектив юнсектора во главе с Сашей Ацаркиным (ныне Александр Николаевич — доктор исторических наук, профессор МГУ, автор ряда трудов по истории комсомола) развил свою деятельность до огромных по тем временам размеров. Ежегодно выпускались сотни названий с миллионным тиражом.

Юнсектор быстро откликался на многочисленные проблемы, вставшие перед московским комсомолом. Такие серии книг, как «Воспоминания старого большевика» (в ней впервые появились воспоминания А. И. Елизаровой-Ульяновой, А. С. Енукидзе, Б. З. Шумяцкого и др.) или «Библиотека фабзавуча», «Библиотека сельхозкружка» (более пятидесяти названий), «Политграмота комсомольца», «В мире науки и техники» и многие другие, стали важнейшими пособиями в практической работе комсомольских ячеек. В юнсекторе вышла и первая книжка рассказов Михаила Шолохова, тогда еще неизвестного автора.

— Вы же совсем захватили издательство! — воскликнул как-то директор «Новой Москвы», член партии с 1907 года Т. Я. Драудин. — Для других отделов скоро и бумаги не останется.

Но книги, подготовлявшиеся юнсектором, были настолько актуальными, живыми, интересными, что Драудин сам активно помогал тому, чтобы продукция юнсектора стала преобладающей в издательстве. Немалую помощь оказывал в овладении навыками редакционной работы и главный редактор издательства — профессор В. М. Фриче.

Потомки, вероятно, никогда не перестанут удивляться выносливости, энергии, удивительному жизнелюбию людей, создававших нашу страну. А ведь это были обыкновенные люди. Те же двадцать четыре часа были в их сутках, те же пять чувств помогали ориентироваться в

пространстве. И все-таки никому не удавалось еще с такой неумолимой властью покорять «пространство и время». Помогало обладание шестым чувством, чувством классовой революционности, ощущение себя хозяевами страны.

Формированию этого шестого чувства у комсомольского актива двадцатых годов способствовало повседневное общение со старыми большевиками. Молодежь встречалась с ними повсюду: на фабриках и заводах, где немало старых партийцев работало и на руководящих постах, и у станков, и во всех звеньях государственного аппарата. Не говоря уж о партийном аппарате, значительная часть которого состояла из бывших подпольщиков.

Общение с ними учило любви к людям, скромности, уважительному отношению к каждому человеку. Однажды, после жаркого спора с Луначарским — повода уж не помню, — Косарев заметил:

— Какая у него сила убедительности!.. Ведь знаю, что он не прав, что еще не разобрался в нашем деле, но как он умеет доказывать свою правоту! Ведь доказывает, а не просто отказывается. Хочет, чтобы мы согласились с ним, а не ушли побитые. А мы так не умеем...

Помогали старые партийцы и политической учебе молодежи, особенно широко развернувшейся после смерти Ленина. Помню, как в связи с совместным чтением последних статей Ленина возник у меня разговор с Яковом Ильиным (бывший фабзавучник завода «Красная Пресня», он в 27-м году работал заместителем редактора «Комсомольской правды»).

— Понимаешь, — говорил Яша, — в ячейку приходит парнишка еще без мировоззрения, оно у него лишь начинает складываться. Он старается проявить свои знания и силы: заговорит, например, о несправедливом мастере или ошибках комсомольского секретаря. У него появились свои мысли, быть может, и не всегда резонные. А мы порой превращаем его в обывателя поневоле. Если входящий в жизнь парнишка увидит, что его принимают всерьез, что он пришел в свою семью, — он будет расти морально, впаяется, что ли, в нашу организацию, постепенно будет складываться как большевик. А вот если он встретит окрик «Не твое дело», «Что ты в этом понимаешь» или, что хуже всего, «Надо помалкивать», то у него неизбежно возникнет разочарование. Появится вопрос: раз поведение мастера или промахи секретаря не мое дело, то что тогда мое дело? И он будет искать выхода своим силам, заткам, запросам. Но уже где-то вне нашей ячейки. Будет ли искать «свое» дело на гулянках или выпивках или устремится в погоню за длинным рублем, — во всех случаях он станет обывателем поневоле. Ведь только в коллективе может развиваться общественный человек, думающий не только о себе, а обо всех. Это зависит от того, как мы его встречаем. От обстановки в ячейке.

Вскоре поднятая Ильиным тема стала предметом широкой дискуссии на страницах «Комсомольской правды».

Великий революционный энтузиазм роднит все поколения комсомола. И нет большей радости, чем увидеть и почувствовать его в делах и свершениях новых поколений.

В. Ганчук



«ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!»

Письма эти писались не для печати. Просто их автор рассказывал сестре о первых шагах своей инженерной работы, обо всем, что волновало и его и многих таких же, как он, комсомольцев тридцатых годов.

1931 год — пусковой год многих новостроек первой пятилетки. Вступали в строй 518 заводов. Партия направила на самые трудные участки строительства тысячу молодых специалистов. Среди них был Вианор Ганчук. На Московский автомобильный завод (АМО, теперь Автозавод имени Лихачева) он пришел в самое горячее время: полным ходом шла реконструкция, монтировалось новое оборудование. Особенно напряженным было положение в литейной нового чугуна.

...Потом была война... А после победы В. Ганчук двадцать два года работал начальником цеха на московском механическом заводе. Сейчас он на руководящей работе в Министерстве приборостроения.

г. Николаев,
25 июня 30 г.

Здорово, Люська!

Не писал долго потому, что у нас 1 июля кончается учебный год, а отсюда все выводы. Ты ведь знаешь, сколько работы в конце года. Сиджу день и ночь напролет — сдаем годовые зачеты. С 1 июля по 1 сентября будут летние каникулы. Но все лето придется чертить — кончать проект.

Два слова о нашем институте. Из простого техникума, каким был несколько лет назад, он превратился в Николаевский машиностроительный институт и вполне заслуживает свое название. Прошла реформа вуза, открылись новые факультеты. У нас две смены — дневная и вечерняя. Набор два раза в году — весной и осенью. Институт — как улей: с раннего утра и всю ночь кипит жизнь всех смен и факультетов. Занимаются, чертят, проектируют, «шамают», ходят, бегают — и так день и ночь. Жизнь вузовская бурлит в широких берегах. В институте теперь около 200 студентов, теперь он один из лучших в Союзе по судостроению и машиностроению.

У меня сейчас энергии — бездонная бочка. Много сил отдаю учебе, и все же кипит сила. Скорей хочется на производство — работать и работать.

В январе выпуск. Еще один сложный проект, и нас выпускают новыми специалистами для стройки...

г. Николаев,
15 января 31 г.

Люська, милая!..

Прежде всего я инженер!!!

Расскажу все подробно. Вторая половина декабря была для нас «решающим кварталом». Мы развели темпы действительно революционные. Работали 18—20 часов в сутки. Всюду — в институте, в городе знали, что 4-й механический работает ударно, по-большевистски, знали, что группа легких двигателей заканчивает вуз на месяц раньше срока. Всюду были только слова: «Темпы, темпы, темпы!!» Наша бригада побила рекорды скорости. Из соревнования мы вышли первыми, закончили проект 26 декабря. Комиссию по защите проектов назначили на 31 декабря...

Итак, последний бой был 31-го. Отметка защиты у меня — отлично. Вышли мы из института в тот раз уже не студентами, а инженерами, но все же по старинке пошли обедать в студенческую столовую.

1 января, 6 часов вечера. Театр имени Скрышника трещит от народа. Над сценой огненные слова: «Сегодня мы передаем социалистической стройке 101 молодого пролетарского инженера». На вечер 200 человек — представители всех общественных организаций города и заводов. Весь Николаев в этот день говорил о выпуске 101-го. В газете «Красный Николаев» — страница о нас. С большим подъемом проходит собрание. Один за другим нас приветствуют райкомы комсомола.

Буря аплодисментов: встречаем секретаря заводского партийного комитета. Он не просто красивые фразы, а деловые огненные слова бросает: «Вчера вы были студенты, сегодня — пролетарские инженеры, завтра мы дадим вам полки ударников пролетариев — командуйте полками, стройте социалистическую промышленность!»

В этот вечер мне было немного грустно. Все товарищи — кто с матерью, кто с сестрой, с женой — были на выпуске. В такой переломный вечер в моей жизни не было тебя...

г. Гороховец,
10 марта 31 г.

Люся, дорогая!

Я жив, здоров, пишу из г. Гороховца, в 75 верстах от Нижнего Новгорода. Не волнуйся! Все благополучно.

Из Харькова выехал сильно взволнованным. Приехал в Москву 28-го. Москва начинает свой день рано, мели дворники улицы, с шумом пролетали трамваи, грузовики, все куда-то спешили, стоял над улицами какой-то гул. Долго бродил по Москве, пока узнал адрес Речного объединения, куда у меня была путевка.

Было распределение. В несколько часов мне предстояло решить, куда ехать. Сидельковский, мой товарищ, работающий в Гороховце, сильно агитировал меня за свой завод. Рассказал, что в Гороховце совершенно нет на заводе инженеров и мне сразу придется стать главным механиком завода. Об одном он предупредил, что с «шамовкой» плохо.

Вместе с приятелем, судостроителем, я решил рискнуть и ехать в Гороховец.

...Когда приехал на место, нас уже поджидали на станции сани, высланные с завода. Надели кожаные, и сани понеслись к городу. Сразу ударила в лицо мягкая северная зима. На полях ровный глубокий снег. Крутом леса. Через 1—2 часа подъезжаем к городу. На берегу завода, по скату горы разбросан город, на горе сосновая роща. Сани подвезли нас к дому директора, где мы и сейчас живем. Нас застал не сходящий на севере со стола самовар. В этот же день, 1 марта, пошли на завод и приступили к работе.

Несколько цифр: Гороховец находится в 75 верстах от Н. Новгорода, в 11 верстах от станции Московско-Нижегородской ж. д. В Нижний 3 часа езды, в Москву — 9—10 часов.

Меня сразу назначили помощником главного механика завода с окладом на первый месяц в 225 р. Сейчас назначили уже главным механиком завода...

г. Ярославль,
30 марта 31 г.

Алло — из Ярославля!

Люся, сегодня утром приехал в Ярославль. Ходил по городу, набирался впечатлений. Город красивый, большой, театр, трамвай, автомобили. В центре — парк с дубовыми аллеями. Трамваем доехал до шведского завода. Заводы на окраине города. На шведском — все по-заграничному. Меня поразил прежде всего сам завод — новенький, в стиле небоскребов; внутренность зданий и цехов блестит безукоризненно. Нигде ни пылинки, все отполировано, выкрашено — красота!

Со шведского электрозавода я пошел на автомобильный (здесь же, в Ярославле). Меня очень интересовало посмотреть процесс изготовления автомобиля. Завод большой, делает грузовики в 5 тонн. Здесь не то что на шведском; другая атмосфера — горячая стройка. А там — мертвый автоматизм.

Долго был на заводе, все осматрел.

...Вчера в Москве был в Мавзолее. Видел Ленина. Такой, как на портретах...

г. Гороховец,
11 апреля 31 г.

...Знаешь, что значит темпы, знаешь, как бо-
рются большевики за эти темпы?! Чуть начинает
светать и до глубокой ночи светятся на заводе це-
ха. В силовой станции напряженность: двигатель
работает без половины фундаментных бол-
тов — работает с риском, машинисты следят за
машиной, как мать за больным ребенком, но ос-
тановить двигатель нельзя. Остановить двига-
тель — станет завод, замолкнут цеха, все омерт-
веет. Об этом даже нельзя думать. Пусть что
угодно, но завод должен работать, должен в срок
дать стране 18 буксиров и 4 баржи... Оттого так
все напряжено до необычайности. Дать пароходы
нужно — требует речной транспорт. Нужно дать
стране баржи для перевозки тысяч пудов нефти
по волжскому бассейну. И вот поэтому нельзя
ни на минуту снижать взятых темпов — прозе-
вать немного, не успеть заклепать баржи, и в ве-
сеннее половодье их затопит.

Поздно ночью при лампах сидит техперсо-
нал — прорабатывает, сколько нужно материа-
лов, сколько недостает, что где взять, куда ка-
кие бригады перебросить. Многое решается в
эти ночи. А чуть забрезжит свет — снова на за-
вод, и целый день, как белка в колесе, надо вез-
де поспеть, все охватить, все успеть.

Так мы боремся за промфинплан.

Засосала меня, Люся, работа. Много нужно пе-
рестраивать, переделывать на заводе. Надо ада-
мовское заменить современным. Молодому инже-
неру работы пропасть, работа трудная, ответст-
венная. Болеешь за каждый болт, кирпич. При-
ходится воевать с волокитой, косностью. Прихо-
дится «мотаться» в вопросах незнакомых. А ты
инженер — должен знать!!! И вот выкручиваюсь,
спрашиваю советов старых рабочих, перевари-
ваю и тогда уж действую. На ошибках учимся —
верно это.

Москва,
31 июля 31 г.

Люська, дорогая!

Пишу из Москвы. Работаю на АМО — делаю
автомобили. За этот небольшой период времени
столько было волнений, переживаний, измене-
ний — чего хочешь! Прямо жуть!

22 июля, когда я был в Москве, послал тебе
письмо и в тот же день выехал в Гороховец.
Дал заместителю директора отношение, он про-
чел и, ни слова не говоря, наложил резолюцию:
«Освободить с 25 от должности механика, дела
сдать по акту». 24 и 25 сдавал дела, получил ра-
счет и 26 вечером — в Москву.

Перед отъездом я прощался с заводом. С од-
ной стороны — радость, завтра буду на АМО,
разверну свои знания, буду свою энергию и
энтузиазм переливать в крепкие части мо-
торов...

Но эта радость омрачена; ведь я полюбил за-
вод, с которым сроднился, с которым вместе не
спал ночи в бурное время весенней путницы.
Каждая машина, каждый станок знакомы.

Вечером в последний раз пошел в рощу. Роща
на высокой горе, отсюда как на ладони виден
город, завод, река, лес. Смотрю на завод — он
как игрушечный, видны игрушечные паро-
ходы и стройка цехов в лесах, как будто из
спичек.

Надвигается ночь...

В роще начинает пустеть, иду домой. Мимо ок-
на проходят ребята, и в последний раз слышу
любимую песню в Гороховце:

Прокати нас, Петруша, на тракторе,
До околицы нас прокати...

Распрощался с предзавкомом. Совестно было пе-
ред ним. «Ничего, т. Ганчук! Такая наша рабо-
та. В любое время могут перебросить туда, где
ты нужней! Езжай — у нас ты хорошо рабо-
тал!»

...27 утром приехал в Москву. Буду работать
инженером по сборке и транспортировке всех
частей мотора автомобиля. Стало быть, узнаю не
только моторы, но и весь автомобиль. Все это
очень интересно. На месте бывшего АМО вырос
гигантский автозавод по последнему слову тех-
ники. Раньше он выпускал 50 автомашин в ме-
сяц, теперь будет выпускать 3 000. В дальнейшем
еще расширится и будет строить автобусы.

Москва,
3 октября 31 г.

Жив и я! Привет тебе, привет!..

...Первую твою посылочку получил, второй (с
желтыми ботинками) до сих пор еще нет. Боюсь,
что пропала...

У нас в обществе туризма скоро, вероятно, бу-
дут давать по предварительной подписке зим-
нюю робу. Я подписался на теплый лыжный
костюм, свитер и рейтузы. По ударной книжке
в АМОВском магазине получу, наверно, зим-
нее пальто.

Мне живется неплохо. Главное: никогда не бы-
ваю голодным. Снабжение у нас отличное. Обе-
даю на заводе в инженерной столовой за 1 р.
Обеды очень питательные и вкусные: курица,
котлеты, рыба свежая, борщ с мясом, обед из
трех блюд со сладким.

Наш дом в основном готов. Есть стены, по-
толки, крыша, окна, двери, идет внутренняя от-
делка, проводится паровое отопление. Скоро пе-
реедем.

Пришли, Люська, свою морду. У меня над кро-
ватью в круглой рамке висит Люба (Николаев-
ская). Ты займешь на стене наипочетнейшее ме-
сто.

Наш завод сейчас в разгаре борьбы. Каждый
день с конвейера сходят новые десятки машин.

Москва,
7 октября 31 г.

Вчера получил твоё письмо — успокоился! Я
уж думал, что случилось с тобой. Мы с тобой
прямо ненормальные! Я не пишу — ты волнуешь-
ся, ты не пишешь — я страдаю. Вообще, за меня
можешь быть спокойна, меня никакая холера не
возьмет. Чувствую себя здорово, «шмаю» хоро-
шо, работаю много, но это мне в пользу.

О заводе. Первого октября был торжественный
пуск. Последние дни перед ним возвращался до-
мой за полночь. Чтобы скорее шло дело, не при-
ходилось считаться, кто ты — рабочий или инже-
нер. Я руководил установкой конвейеров механо-
сборочного отдела. Моя бригада была в большин-

стве своем из молодежи. 30 сентября заканчивали подвесной конвейер — работа очень опасная, под потолком цеха. Поздно ночью ребята захотели идти домой. Одного рабочего я послал наверх, под фонарь, крепить подвески. Он на дыбы: ишь, говорит, хорошо командовать тебе, полез бы сам! Меня заело. Дай, говорю, ключ... Залез под фонарь сам, закрепил стержни. Это подействовало. Ребята остались до утра. Конвейер 1-го был к пуску готов!

Интересное и красивое зрелище представлял собой наш механосборочный цех в канун пуска, 30 сентября. Застыли станки стройными рядами, конвейеры, готовые к сборке, тянулись длинными лентами. Все пролеты украшены красными полотнищами с лозунгами. На станках тысячи красных флажков. Вечером цех — это море огня. На каждом станке надписи: «К пуску готов», «Готов», «Программу выполнил». На главном конвейере коротко и ясно: «Готов. Даешь!»

А теперь, новые задачи: в 31-м году выпустить 2 220 машин. Это — задание, и вокруг него идет борьба. Боремся за промфинплан — за выполнение и перевыполнение.

Вчера на заводе раскрыто преступление: в штампово-прессовой в зубчатке гигантского прессы какой-то вредитель заложил кусок железа. Если бы этого не заметили, пресс вышел бы из строя, а это грозило бы остановкой завода. В литейной с конвейерной резиновой ленты вырезали кусок. Эти факты говорят за то, что есть люди, которые всячески хотят затормозить производство.

Теперь еще бдительней, еще зорче рабочие следят за оборудованием.

Москва,
28 октября 31 г.

У меня, Люся, все в порядке: живем коммуной, в комнате тихо, уютно, топится паровое отопление, тикают ходики, по вечерам гудит на дворе ветер, напоминает о зиме. Завод работает полным ходом. День, ночь, ночь, день. 25 октября собрали первые 26 автомобилей. Состоялась торжественная конференция ударников. После конференции мы на двадцати шести грузовиках, собранных и изготовленных на новом АМО, поехали отдавать рапорт правительству в Кремль. В Кремле состоялась парад — нас приветствовало правительство. Действительно, все они такие, как на портретах.

У Мавзолея Ленина машины выстроили во фронт — устроили митинг. Нас приветствовали делегации фабрик и заводов. Тысячные демонстрации. Уличное движение при проезде автоколонн было остановлено. Публика недоверчиво оглядывала наши машины — не верила, что советские. Но на блестящем никелированном радиаторе машины упрямо горели три слова — «НОВЫЙ АМО СССР».

Москва,
4 января 32 г.

Люсенька, дорогая, здравствуй!

Я сволочь ужасная. Подумай только, сколько времени я тебе не писал, и все потому, что в жизни моей произошли колоссальные сдвиги. Я

тебе писал, как увлекся общественной работой в цехе. Действительно, увлекся. Я до того болею жизнью цеха, что ежедневно не уходил с завода раньше двух ночи. Вся работа цехового комитета лежала на мне. Будучи членом цехкомитета, я одновременно был председателем производсектора и помощником начальника цеха по соревнованию — ударничеству и производственным совещаниям.

С 3 декабря у нас на заводе началась кампания по составлению встречного промфинплана четвертого, завершающего года пятилетки. Вот тут-то и настала горячая пора.

Все шло отлично. Бюро партячейки решило выдвинуть меня начальником цеха. Но 18-го вечером меня вызывает начальник механосборочного отдела: «Вот что, т. Ганчук, тебя забирают в литейную ковкого чугуна. Это — постановление парткомитета и директора завода».

Меня это — как обухом по голове. Неохота уходить из цеха: привык. Но постановление партийного комитета завода отменить нельзя.

Новый отдел, куда меня направили, — самое узкое место на заводе. Все время сидит в глубоком прорыве и задерживает выполнение общей программы.

Меня назначили механиком отдела литейных ковкого чугуна. Такое повышение мне и не снилось. Я теперь подчиняюсь начальнику отдела и через него — директору завода. В моем ведении все машины, станки, механизмы, конвейеры, краны, электропечи, вагранки и пр. и пр. — словом, все оборудование восьми цехов литейных ковкого чугуна.

Работаю я по сменам: днем, вечером, ночью, по две и по три смены подряд.

В литейных обстановка адская: жара, ядовитый дым, пыль от формовочной земли, огненное пламя жидкого металла, трескотня пневматических машинок, жужжание формовочных станков, тревожное вытье сирен, грохот барабанов... словом, посторонний человек не знает, куда повернуться, боится, чтобы что-нибудь не задело, не обварило металлом, боится попасть под конвейер. А я к этому привык — это симфония производства; здесь рождается металл и крепкие детали автомобилей.

Исполнился ровно год моей инженерской работы. Работа у меня такая, о какой я все мечтал, будучи в институте. Я имею дело с живыми машинами. Мои руки ничем не отличаются от рук рабочего. Я не только команду, но сам, засучивши рукава, показываю, как нужно работать. Эта установка останется во мне на всю жизнь.

Я, Люська, горжусь, что работаю на одном из важнейших участков индустриализации. Горжусь, что вношу свою долю в борьбу за генеральную линию партии — за социализм.

Я ударник. Готовлюсь вступить в ряды партии большевиков. Поработаю еще немного и подам заявление...

Новый год встретили выплавкой 85 тонн металла — подарком началу четвертого, завершающего года пятилетки.

Посылаю тебе свою морду в «Амовце»; почитай газету, как мы боремся, о чем пишем, что волнуется!

Целую крепко,

Р. С. Меня посылали в дом отдыха, но я не поехал, не хочу — работать некому. Поеду летом...



Виктор Буханов,

специальный корреспондент «Юности» на IX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Софии.

AVE, СОФИЯ!

...И ВЫШЕЛ НА ЭСТРАДУ НЕГР, волоча за собой гибкий шнур микрофона. Он взмахнул рукой, никелевая змея со свистом обернулась вокруг узкого его тела и припала электронной головкой к лиловым губам. Хриплый вопль возвестил конец томительному ожиданию, и тогда с трибун огромного, еще необжитого дворца «Фестиваль-68» посыпались с грохотом люди, тысячи людей, и страшно загудели электрогитары, закричала, как у стен Иерихона, золотая труба, погас большой свет, заматались прожекторы, и удивительная установка светомузыки засветилась скачущим адским пламенем. Ритмичные судороги сводили необозримую толпу, джазовый гром валом перекачивался из конца в конец ромбовидного зала, острые лучи выхватывали из полумрака взлетающие волосы, карминовые рты, закрытые в сладком напряжении глаза, белые джинсы, красные косоворотки, черные свитеры, сумки, ремни, руки, ноги...

Шейк кончился. С последним тактом крик тысячи глоток взлетел под свод дворца, собранного из острых кристаллообразных элементов. Руки танцевавших взметнулись, как протест против оскорбительной праздности. И тотчас музыка возобновилась, и горланый голос джазового муэдзина из восточной Африки вновь подчинил всех деспотическому ритму шейка.

С любопытством и недоверием смотрел я на этот бал молодежи, и беспокойные мысли одолевали меня. Не ахти как много симпатии внушала мне эта вакханалия автоматизма, а масштабы делали ее просто пугающей. В сущности, танцуют всегда вдвоем, даже если это и хоровод, а тут какое-то тягостное столкновение публичного с интимным... И слишком оглушительна музыка, и слишком экстравагантны туалеты, и слишком непринужденны манеры, и лица вроде бы слишком бездумны...

Озноб легкого отчуждения холодил мне нервы, и мне был ясен его источник: возрастной разрыв, иное поколение, иные вкусы... Ах, уж этот бытовой конформизм старших, сколько дней он отравил мне в юности! И вот симптомы той же болезни я нахожу у себя. Боже мой, неужели мы обречены на повторение ошибок, сделанных другими до нас?

Тихо, сказал я себе под оглушительный джазовый электрошквал. Тихо! Есть высота лба, и есть ширина брюк. И может ли свидетельствовать длина юбки о глубине мысли? Вот такая трехмерная задачка. Дело ведь не в том, что танцуешь. Дело в том, куда идешь.

И выплыл из глубин услужливой памяти, тонизированной музыкой и кофе, голос Хартмута Кенига и зашел: «Скажи мне, где ты стоишь и какой дорогой идешь?»...

Это был нашумевший шлягер хорошего парня из ГДР, который он привез на фестиваль.

В КОНЦЕ КОНЦОВ, ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ может быть вызвана обыкновенным оригинальничанием, желанием выделиться из среды социально инертных людей, думал я, слушая двух английских пареньков, певших песни протеста. Они взяли на конкурсе бардов и менестрелей первое место, и полученный приз тут же передали вьетнамцам. Они сделали короткое и резкое заявление, осуждающее внешнюю политику Джонсона. И все же... Вот представьте одного из них: белая рубашка до колен, по вороту и рукавам обшита широким позументом из золотой парчи, розовые «в цветочек» брюки, веревочные сандалии на босу ногу. Черные волосы, стриженные под горшок, сливаются с бородой «а ля мужик». Несколько странная внешность, не правда ли?

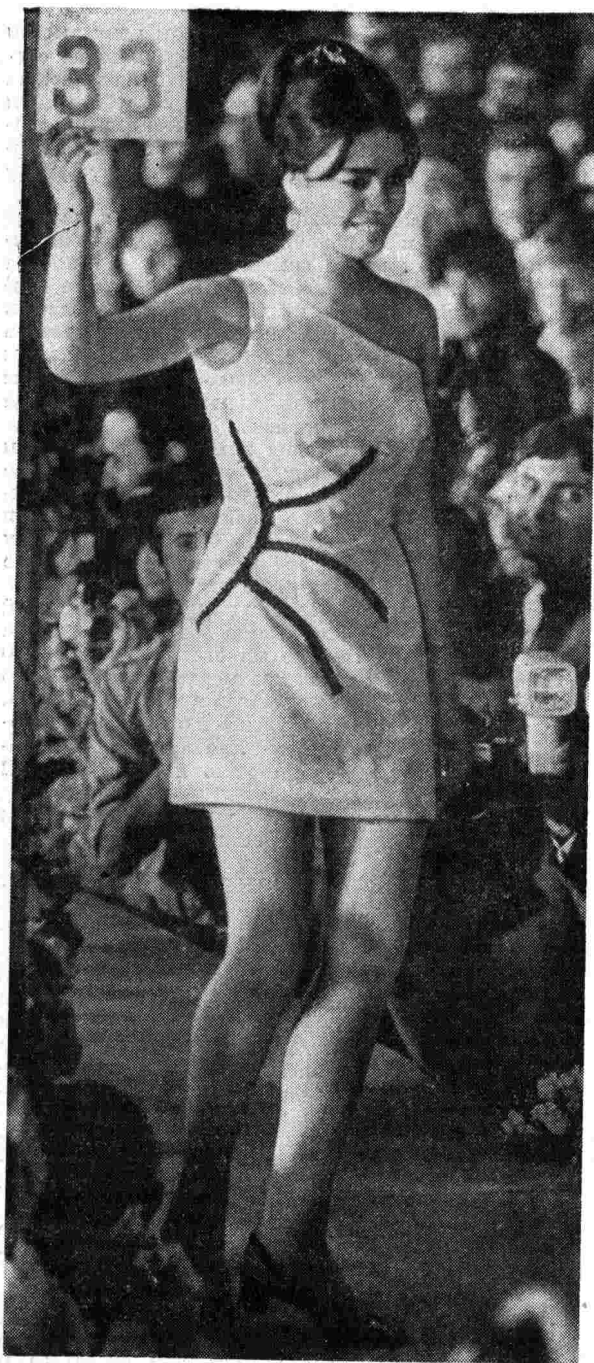
Между тем Мик Вейсс и Ник Пивс — английские комсомольцы, ребята в свои 20 лет политически зрелые, и вот что сказали они мне днем позднее:

Мик: Мы живем во враждебном и враждующем мире. Так много проблем требует немедленного решения! Фестиваль дал возможность собраться и обсудить эти проблемы.

Ник: Мы приехали из Англии, страны эгоистической. На нашем острове не любят интересоваться тем, что происходит за его пределами. Мы хотим рассказать здесь, как существующая в Англии общественная система подавляет рабочих, как она мешает людям жить и развиваться. А у себя на родине мы хотим рассказать, чем живет мир, и разбудить людей от политической спячки.

Мик: Двадцать часов в сутки у нас уходят на встречи, разговоры, общение. Я доволен политическим аспектом фестиваля. Какие впечатления я вынес? Слишком много людей из разных стран мира идеализируют жизнь Западной Европы; они не понимают, что наше общество, как подлинно капиталистическое, всячески затрудняет гуманизацию и борется против ростов социализма.

Ник: Я был в России. Вы уже полвека жи-



В 15 лет Бранемира стала «королевой красоты»...

вете при всенародном управлении, вы построили социализм, и ваша молодежь весьма отвлеченно представляет трудности и пороки нашей жизни, она даже не знает, как повезло ей самой...

Я перебиваю Ника «провокационным» вопросом и говорю, что, по опубликованным у нас сведениям, уровень жизни в Англии выше, чем в СССР. Ник возмущен:

— Кто может считать жизненный уровень главным или единственным критерием социального совершенства общества? Обыватель, филистер. Люди хотят не только есть, пить и одеваться, у них есть

более высокие потребности — потребности духа. У нас до этого никому нет дела. Общественное внимание к человеку и его развитию, ей-богу, дорожке третьей или четвертой пары штанов...

— Кстати, о штанах, — сказал я и сделал неопределенный жест в сторону Мика и его золотых позументов. — Ваша манера одеваться, извините меня, невольно вводит в заблуждение...

— Человек должен одеваться, как он хочет. Это не общественная, а частная проблема, — сухо отрезал Мик.

Не вижу оснований, почему бы мне не согласиться с Миком. «Скажи мне, где ты стоишь и какой дорогой идешь?»

Ежедневно только в Софии было до ста различных мероприятий. Если бы кто-нибудь попытался побывать всюду, ему потребовалось бы на это три месяца.

ГАЗЕТЫ ТАК МНОГО ПИСАЛИ О ФЕСТИВАЛЕ, мне трудно не повторяться, я лишь хочу высказать несколько мыслей по поводу этой встречи и напомнить ее атмосферу, и поэтому да простит мне читатель субъективность, отступления и хронологические смещения...

Я закрываю глаза и пытаюсь вспомнить, в какой день произошло то или иное. А кстати, сколько их было всего, дней фестиваля? Я не знаю. Через три дня после открытия мне казалось, что прошла неделя. Через неделю я почувствовал себя так, как если бы прожил в Софии месяц. А потом я уже ничего не чувствовал, и не было дня, и не было ночи, а было непрерывное кипение фестиваля, и в короткие часы сна ничто не прекращалось, с осязаемой реальностью снились лопающиеся ракеты фейерверка, политические страсти Свободной трибуны, джазовые гонки, теннисные соревнования и ожившие абстракции художественной выставки, и все это вклинивалось одно в другое, и я уже не знал, где рубеж между явью и снами, и только со все возрастающей скоростью несся в этой возбужденной карусели, и все огни праздника превратились в полосы, в кольцо, и это кольцо, сужаясь, давило, как обруч, ошеломленную голову, пока однажды утром, в пять, в пустом холле университета, стоя у окна, я не увидел пустой бульвар и не понял: фестиваль кончился.

Вы помните, наверное, как атаковали в буржуазных кругах самую идею фестиваля. Ее называли искусственной, устаревшей, изжившей себя. Она же оказалась столь притягательной и полнокровной, что Девятый Всемирный стал рекордным по представительству и политической активности фестивалем. Я напоминаю: в Софии встретились посланцы 143 стран — в ООН, замечу, входит на 20 стран меньше. Были молодые люди с Мадагаскара, из королевства Бурунди, с Филиппин, из Мальгашской республики. О существовании некоторых стран делегаты фестиваля слышали впервые...

Ну, вы знаете, каким роскошным зрелищем было открытие. Салют, фанфары, конфеттиобразный десант парашютистов, живой экран восточной трибуны, бегущие краски, меняющиеся эмблемы, сотни девушек с корзинами красных роз, и — как апофеоз — забили фонтаны розовой воды, и над Софией поплыл сладкий аромат Казанлыкской долины.

В общем, все было столь артистично, изысканно и в то же время с таким размахом, что я тогда же подумал: по части оформления взято верхнее «до» и впредь повторяться на этом пути, очевидно, не следует. Иначе будет, так сказать, кризис жанра.

Софийский фестиваль имеет, на мой взгляд, особое принципиальное значение: он был роскошно обставлен, изобиловал художественными конкурсами и спортивными соревнованиями, и в этом как бы подвел итог праздничным традициям всех предыдущих всемирных встреч подобного рода. В то же время он стал самым политическим, самым деловым и дискуссионным фестивалем и этим кладет начало новым тенденциям в молодежном демократическом движении. Надо думать, что последующие встречи будут носить скорее региональный, чем глобальный характер и посвящаться конкретным политическим и социальным проблемам...

Шествие на стадионе Васи́ла Левски́ было прекрасным. Его открыли вьетнамцы в зеленой полевой форме. Студент из Нью-Йорка катил перед собой коляску с двухлетней дочкой. Негритянки с берегов Замбези шли, пританцовывая, сверкая белыми полумесяцами зубов. Парни из Голландии почему-то перешли га рысь, а потом сели прямо на дорожку стадиона. Этим, как им казалось, они продемонстрировали свою независимость. А потом прошла группа из ФРГ. Она несла плакат, на котором красным по черному было написано: «ЛСД — революция против мировой бюрократии». ЛСД — сильный наркотик. Юмор? Как стало ясно днем позднее, — нет.

Так уже в увертюре к фестивалю прозвучала первая диссонансирующая нота.

«Сэт-ин» — сидячая забастовка, «тич-ин» — критическое обсуждение политических акций. То и другое было оружием «левых революционеров». Но экстремисты, приехавшие на фестиваль, таяли в его нарастающих делах, как сахар в стакане чая. В последние дни их деятельность сошла практически на нет.

БЫТЬ МОЖЕТ, КАК НИКОГДА ПРЕЖДЕ, я осознал, что есть сенсация и сенсация. Уметь соизмерять события — вот что нужно журналисту. Можно прийти в Эрмитаж, а написать о плевке, оставленном кем-то на воощеном паркете Итальянского зала.

Второй день фестиваля был посвящен Вьетнаму.

«Вьетнам — кровоточащая рана Земли», — сказал арабский студент.

«Джонсон, прекратите бомбардировки Вьетнама!» — сказал американец Тайнер.

«Мы живем твоей борьбой, о Вьетнам», — сказал филиппинец Бернардо Роза.

«Агрессия Соединенных Штатов обречена», — сказала мексиканка Эрлинда Лаурель.

Шел митинг. Я стоял в соседнем сквере рядом с солдатами из взвода пиротехников. У минометов лежали ровными рядами маленькие конусообразные мины. Они очень походили на шариковые бомбы; одну из них — горький подарок — мне привезли из Вьетнама. Такие же желтые, с черными печатными знаками. Но начинка у них другая. Букеты огней, длинные струи белого пламени и шаровые молнии фейерверка таятся в них, а не смерть.

В тот день — 29 июля — Вьетнаму были посвящены митинги и манифестации, концерты и кинопросмотры, молодежь работала для Вьетнама, собирала средства для Вьетнама, сдавала кровь для Вьетнама...

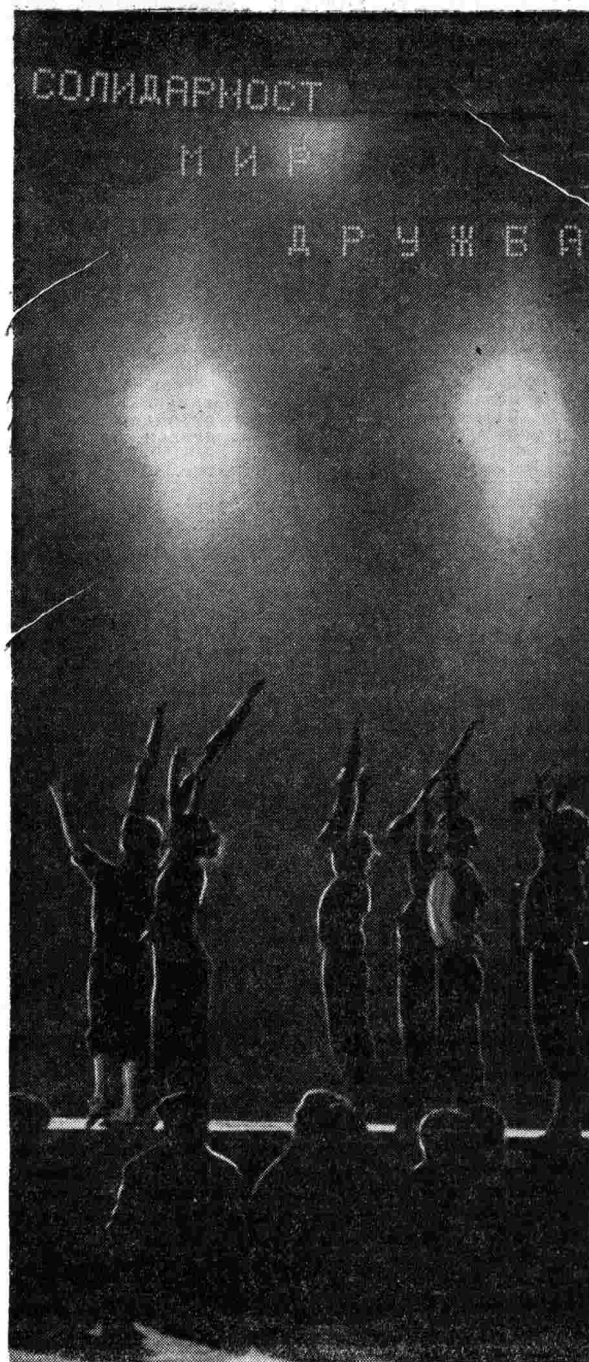
Ничего об этом не было в крупных газетах Запада. Ни строки. Но была обильная информация о «заварушке» у американского посольства. Я был там, и это дает мне право говорить о несоизмеримости маленького пикантного эпизода с основными событиями дня.

С коллегой из журнала «Советский Союз» мы стояли у витрин «Тексима», когда мимо галопом пронеслись десятка три длинноволосых парней. Один из них попытался увлечь и нас. Он был возбужден, зрачки расширены до самого райка, длинные волосы прилипли ко лбу.

— ЛСД — против мировой бюрократии? — осведомился по-немецки мой коллега.

Парень ухмыльнулся, пустил слюну и бросился догонять своих.

Они бегали и бегали вокруг посольства, выкрикивали «Мао-Мао, Че-Че-Че» и пытались устроить «сэт-ин» у ограды, но удалось присесть только человеку восьмью, и тут пришли молодые болгары и болгарки в национальных костюмах и, подхватив на руки очень лохматых и очень «революционных» энтузиастов ЛСД, с возгласом «Вечна дружба!» унесли их в сторону минеральных бань.



«Мы победим!» — артисты борющегося Вьетнама в день закрытия фестиваля.

Фото А. Птицына.

Экстремистский мятеж не состоялся; была несущественная и мимолетная возня, и было обидно за тех, кто придал ей характер сенсации и отвел для нее первые полосы газет.

Днем позднее я беседовал в «Хемусе» с одним из мальчишек, к свитеру которого был приколот портрет Троцкого.

— Вы, русские, утратили революционный дух. Центр коммунизма переместился в Пекин, — сказал он.

— Что вы знаете о Китае? — спросил я.

— Мао — величайший революционер нашего времени, — сказал он.

— И кормчий, — сказал я. — К чему он привел Китай?

— Вы поддерживаете Вьетнам только декларативно, — сказал он.

— Вы живете в Норвегии? — спросил я. — Это норвежские ракеты сбивают американские бомбардировщики? — И я показал перстень из дюрала сбитого самолета.

— Вам нужно учиться революционному духу у Китая. Хотите, я дам вам работы Мао?

— Что вы знаете о Китае? — снова спросил я. — И, кстати, отчего бы вам не поехать в Китай для укрепления мировоззрения? Дадут униформу и цитатник. Какая экономия: Мао вместо всех философов мира. Хотите стать навозом времени? Быть может, вас сочтут недостаточно красным и пошлют в лагерь для покраснения. Я видел такой лагерь у границы по Черному Иртышу. В обыкновенную подзорную трубу. Встают до восхода, работают в цепях. Хорошая школа. Укрепит вашу индивидуальность и веру в великого нормчег...

— Вы закоснели в ревизионизме. Свет придет с Востока...

— Это который алеет? Я слышал эту песню. Боюсь, он алеет от невинно пролитой крови. Послушайте совета, поезжайте в Китай...

...В 20-этажном отеле «Хемус», который был отдан журналистам, установлены прекрасные бесшумные лифты с запоминающим устройством. Каждое нажатие кнопки на любом этаже тут же западает в «память» всех трех кабин. Войдя в лифт, никогда не знаешь, куда он тебя привезет. У него своя программа, и он займется тобой, когда дойдет очередь и когда обойдет все этажи, откуда уже уехали те, кто его вызывал. Но на это лифту наплевать. Потому что это не автоматизированный, а заавтоматизированный лифт.

Когда я говорил с норвежцем, я невольно думал о лифте. Юноша не умел размышлять, он был запрограммирован. Точнее — запропагандирован. Но таких было мало. И они не вызывали интереса. Ибо Софийский фестиваль был фестивалем людей думающих. Об этом я расскажу в главе о Свободной трибуне. А пока...

И вот проходит королева, качая медленной серьгой, благоговейно кавалеры...

КОЙ ЧЕРТ БЛАГОГОВЕЙНО! Они ворвались в зал «Универсиады», вмещающий четыре тысячи и вместивший на этот раз шесть. Передние ряды упирались грудью в деревянный помост, по которому должны были прошествовать претендентки на звание «мисс Фестиваль», а задние, подобно атлантам, на самой верхотуре амфитеатра подпирали плечами свод концертного зала. В креслах сидели по двое, а на спинках кресел сидели девушки: второе августа был объявлен их день.

Какой искус, молодые люди, какой искус! Нежная польская красота (снимите шляпу, сударь), черный кастильский огонь (где моя гитара?), экваториальный темперамент рожденной на озере Чад (когда уходит самолет в Кукаву?), фарфоровая грация аннамитки (перейду в буддийскую веру) — тридцать четыре претендентки на корону «королевы красоты» (почему среди них нет русской?).

Розданы карточки, мы все — шесть тысяч — ставим номера. Я вписываю номер 33, в полной уверенности, что эта милая девушка — из Камбоджи. Два часа подсчитывает голоса электронная машина. Выпрыгивает номер тридцать три. Но она вовсе не из Камбоджи, эта девушка, она болгарка, ее зовут Бранемира Стоянова, ей 15 лет, она будущая балерина, и ее будущее достойно зависти.

Ну, вот, теперь у нас есть своя королева. На этом можно было бы и кончить рассказ о конкурсе красоты, но мне хочется добавить еще вот что. Не помню, под каким номером вышла девица, сорвавшая не менее шумные аплодисменты. Это была блондинка с носом Сирано де Бержерака, совиными глазами, с хорошим боксерским разворотом плеч и худыми ключицами, в ямки над которыми можно было спрятать по маленькой дыне. Тяжелым шагом уставшего докера она прошла по языку, безразлично глядя в онемевший на минуту зал. А когда «Универсиада» вскипела восторгом, девица одарила всех широкой улыбкой и исчезла. Публика не унималась: мужество неизвестной девушки было оценено по первому классу.

В конце концов, что есть красота?

ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТАЯ АУДИТОРИЯ Софийского университета заполнялась до отказа все дни от десяти утра до девяти вечера. Здесь была Свободная трибуна, и я считаю ее одним из серьезнейших мероприятий фестиваля. Политические дискуссии были увлекательны, как перипетии хорошего детектива. Я не слышал ни единого слова в защиту капитализма, но это вовсе не значит, что собравшиеся были единомышленниками.

Антеро Хентия, Финляндия: Мы исходим из того, что социалистическая система обеспечивает максимальный прогресс культурного и промышленного развития общества, что социализм — самая человеческая форма общественной организации. (Аплодисменты.) Нужно воздерживаться от канонизирования теории, возникшей в определенную эпоху; нельзя считать ее компетентной догмой для всех стран, условий и времен... Сейчас возник опыт новых форм социалистического и коммунистического движения, хотя существо остается единым. (Часть зала свистит и топает ногами: намек уловлен.) Форма и стратегия социализма не может быть одинаковой в тоталитарных странах Латинской Америки, в развитых странах Западной Европы, в аграрных государствах Среднего Востока...

Марианн Годрик, Франция: Приход к социализму позволил бы нашей стране выйти на великий путь, уже пройденный русскими коммунистами... Июльские события показали, что у студентов, к сожалению, политическое сознание развито меньше, чем у рабочего класса. По своим социальным вождениям большинство студентов тяготеет к буржуазии. (Зал бурно аплодирует критичности французики.) Социализм не должен быть ни чем иным, как движением большинства...

Катарина Колачкова, ЧССР: Гуманизм не осуществлен ни в одной капиталистической стране... В то же время капитализм Японии, Швеции, Австрии перестал быть той огромной бедой, как раньше, он позволил решить большие экономические и социальные проблемы и стабилизировать строй (Настороженное внимание зала.) Но капитализм не доказал и не сможет доказать, что в его цели входит гуманизация общества. Об этом свидетельствует, в частности, ужасающая преступность Америки... Сущность того, что происходит сейчас в Чехословакии, — это концентрация внимания к гуманистическим вопросам, к чуждам людей. Никакого мирного вращения капитализма в социализм у нас не происходит! (Топот ног, крики недоверия: аплодируют скандинавы, некоторые немцы из ФРГ. Напомню, что происходило это 30 июля, но сущность назревающих событий была уже ясна для многих.)

Абдель Баюми, ОАР: Мы относим начало строительства социализма к 1961 году. Мы создавали тогда авангардную силу из самых разных элементов: крестьян, студентов, городской бедноты, торговцев. В этом была ошибка, потому что основой авангарда может быть только рабочий класс... Мы поняли это. Израильская агрессия привела к бедственному положению тысяч беженцев, она ежедневно разжигает нашу экономику. Так кто же помог нам в нашем великом бедствии? Только социалистические страны! (Шквал аплодисментов.)

Уолтер Конинг, Голландия: Капиталистическая эксплуатация сильно смягчена. Прибыли наших рабочих превращаются в прибыли государства и возвращаются в конечном счете снова к рабочим. (Перебивая шум.) Но это вовсе не значит, что

мы довольны капитализмом. Наше общество очень недемократично. Образование труднодоступно. Однако наш социализм должен быть иным, чем в странах Восточной Европы. Я очень интересуюсь развитием социализма в Югославии, в Китае. Почему здесь нет представителей Китая? Я хотел бы услышать их голос.

Нужно развивать личную свободу в странах социализма. Социализм и свобода должны идти вместе. Возможно ли это, спрашиваю я? (Оглушительный топот и свист покрыли последние слова Конинга.)

Марсела Ниппинг, ФРГ: Рабочим ФРГ запрещают выражать свое недовольство в общественном порядке. Только что принятое чрезвычайное законодательство напоминает законы 33-го года. Мы видим энергичную, хотя и замаскированную пока попытку осуществить идеалы нацизма. Идет невиданная милитаризация страны. Осуществляется индивидуальный террор против прогрессивных людей; но мы, молодые коммунисты, клянемся: нас не сломишь! (Как аплодировали этой красивой и хрупкой девушке!..)

Франсиско Симоэс, Бразилия: Мы говорим: единственный путь к социализму на южноамериканском континенте — это вооруженная борьба; и мы знаем, что говорим, ибо все другие пути после 64-го года закрыты. Контрреволюция вооружена бомбами и орудиями североамериканских империалистов, и что нам остается, кроме борьбы? (Слезы выступили на глазах этого парня.) Да будет с нами героический дух Че Гевары и Хо Ши Мина, и революция придет в Бразилию, как на Кубу — с винтовкой в руках! (Это был сам темперамент, и он покорила аудиторию не логикой, а накалом неистовой страсти профессионального борца.)

Я привел так много цитат, чтобы показать читателю: дискуссия была нужна хотя бы для того, чтобы прийти к большему единодушию в понимании социализма. Все за социализм, все клянутся социализмом, но понимают его так по-разному...

Я помню, как искал консисторию, и остановил прохожего, и он сказал мне: право, право, право. И после трех поворотов я вышел на старое место, потому что право — по-болгарски прямо... Семантическое заблуждение в политике может привести к куда более драматическим блужданиям. Вот почему так необходимо единение, вот почему солидарность стала главным требованием времени.

Информация и дискуссия Свободной трибуны укрепила возможность не только говорить о необходимости социальных изменений, но и осуществлять их сообща во имя торжества социализма на Земле.

Я БЕСПРИСТРАСТЕН, НО ЭТО ТАК: наша делегация на фестивале производила на редкость приятное впечатление. Она насчитывала 800 человек, среди них 400 — художественная группа, 200 — спортивная.

Бурильщик с Нефтяных Камней Сурид Джафар-заде и балерина Малина Сабирова; слесарь из Кишинева Вера Раецкая и доктор физико-математических наук Юрий Журавлев; поэт Олжас Сулейменов и теннисистка Галина Бакшеева — о каждом из них можно писать очерк.

Меня поразила ответственность, с которой каждый относился к фестивалю и к своей миссии на нем.

Валерий Попенченко, чемпион Токийской Олимпиады, лучший боксер-любитель мира, кандидат наук, член ЦК ВЛКСМ — каждый день его на фестивале был расписан по минутам. Он работал в спортивном клубе, выступал на митингах, в течение вечера подготовил доклад вместо заболевшего представителя Франции, бежал в кроссе Солидарности, дискутировал в двусторонних встречах... Он был мобильнее фоторепортеров, серьезнее ученых, активнее завязанных общественников. Он был не почетным представителем, а убежденным деятелем.

То же самое я мог бы сказать практически о каждом. Накануне советского гала-концерта я зашел в артистическую залу, в ней переодевались, размина-

лись, настраивали инструменты, плясали, пели, поло-скали горло, жонглировали и делали обратное сальто. Над выходом на сцену висело «Ни пуха, ни пера!».

В углу стояла высокая и мрачная Джильда Мажейкайте и вдыхала через распылитель эвкалиптовое масло. В поезде, по дороге в Софию, она простудилась. Накануне на митинге, посвященном Вьетнаму, Джильда пела на открытой эстраде, пела, несмотря на простуду. Была ночь. Дул пронизывающий ветер, а через три дня предстоял конкурс, и болело горло, но Джильда пела, потому что митинг был посвящен Вьетнаму, и она не могла быть малодушной.

На гала-концерте мне было жаль ее: с таким напряжением она выступала, с таким надрывом... Но Джильда приехала не развлекаться, а работать, и это очень хорошо, что она стала, несмотря на недомогание, лауреатом конкурса: это вполне по заслугам...

Когда я спросил ребят из «Элана» (ФРГ), что они думают о советской делегации, то получил ответ: «У вас нет безучастных людей, и в этом ваша политическая сила...»

На каждые одиннадцать делегатов приходилось по журналисту. Такого наплыва прессменов не знал ни один Всемирный фестиваль.

ЕСЛИ ВЫ ВСТРЕЧАЛИ ОЧЕНЬ ЗАГНАННОГО ЧЕЛОВЕКА с воспаленными глазами, то наверняка это был аккредитованный при фестивале корреспондент.

С вечера он мучительно выбирал из ста мероприятий те пять-десять, которые наивно полагал посетить. Целый день он носился по городу на трамваях, микроавтобусах для прессы, попутных машинах. Ему всегда казалось, что самое интересное именно там, где его нет.

Он берет интервью, ловит отрывки фраз, собирает, как старьевщик, детали, сравнения, образы, гоняется за нужными людьми и чувствует себя почти всегда таким одиноким...

Это ощущение одиночества происходит оттого, что некогда сжиться, сдружиться, некогда остановиться — и поэтому коллекционируешь не столько встречи, сколько потери.

Приходит вечер, люди расходятся с концертов, гуляют по бульварам, а корреспондент сидит где-нибудь за столиком кафе или на скамье под уличным фонарем и разбирает корявые записи в блокноте, сортирует фото пленки и вдруг — о чудо! — слышит над собой:

— Ну что, Ваше Одиночество? Устали ноги, которые кормят?

Не обольщайтесь. Это не тот, кто рассеет тоску и усталость дня. Это такой же утомленный репортер. И он тоже не знает, куда деть свое одиночество.

СЕДЬМОЕ АВГУСТА УЖЕ... В пресс-центре университета взято последнее интервью, выпит последний джинфис. Я поднимаюсь на второй этаж, стою в пустом мраморном холле. За широким окном ветер шевелит на неметеной мостовой цветные лоскуты карнавала — серпантин, флажки, увядшие цветы.

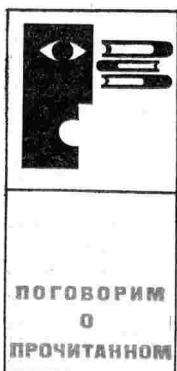
Ночь уходит, цепляясь подолом за деревья, под которыми молча целуются влюбленные.

Седьмое августа. Каштаны на Русском бульваре уже в рыжей осенней подпалине, но колкие шарики плодов еще цепко держатся на ветвях.

Гаснут огни. Стихла музыка. Умолкли ораторы. Вот пришел конец, и мне жаль покидать тебя, София, гостеприимный город, лоно дружбы и мира. Но что же делать, если пришел конец?..

Прощай, фестиваль. До свидания, болгарские друзья. Вы поставили мировой рекорд сердечности и радушия. Стоит только мне мысленно произнести ваши имена — Чавдар, Тамара, Христо, Пенчо, Манол, Цанка, «папа Никол», — и теплота и благодарность захлестывают меня...

Прощай, фестиваль.
Ave, София!



Вяч. Иващенко

И передай товарищу!



Февраль сорок третьего. Мы сидим у «буржуйки», поставленной меж шкафом и диваном. У нас гость — молоденький парень, не намного, должно быть, старше меня, на несколько лет всего — в шинели, в сапогах, с командирской полевой сумкой. Он приехал с фронта, из-под Сталинграда, где погиб мой двоюродный брат Володя. Он и служил с ним вместе, в одной батарее, и он видел Володю в то утро... У нас уже все как-то перегорело внутри, даже со временем стала надежда появляться: может, ошиблись, может, ранен. И тут этот парень.

Тетя достает альбом и говорит: «Вот какой был Вова...» И только тогда — был! — я и сердцем понимаю: его больше нет.

...Альбом этот сохранился, семейный, плюшевый, иногда он попадает мне в ящике письменного стола, и я собираю разлетающиеся из него письма и фотографии, желтые, выцветшие. Артек — длинноногие парни на осликах; Дальний Восток — Володя со своим отцом, молодым, красивым, с двумя ромбами на оплетенной ремнями гимнастерке. А вот брат уже взрослый на газетном тусклом снимке: он в пилотке, винтовка зажата в коленях, газета в руках: «В перерыве учений. Политбоец». И тогда вспоминается сразу та зима, война...

Когда в руки ко мне попали две небольшие книги — первая и вторая тетради «Истории ВЛКСМ», изданные «Молодой гвардией», где год за годом, начиная от первых марксистских рабочих кружков, отразилась жизнь большой семьи советской молодежи, отразилась в сотнях фотоснимков, в репродукциях, в диаграммах, — мне невольно показалось, что ожили, приблизились ко мне и тот парень из-под Сталинграда и те ребята, которых я смутно, какими-то отрывками, кадрами припоминаю из детства. Возникли не случайно, конечно: работавшие над книгой Н. Коробейников, С. Лесневский и П. Серебрянников построили «Живую летопись» (это очень точный подзаголовок книги) именно так, чтобы давно всем нам известное по учебнику, по газете было не просто

проиллюстрировано уникальным снимком, а задело в читателе личное, кровное.

Давай же вместе с тобой, читатель «Юности», откроем тетради «Живой летописи».

Тетрадь первая. Письмо деревенского комсомольца Ленину: «Владимир Ильич, приветствую Вас и крепко жму руку за Вашу стойкую и усиленную работу за Советскую Россию... Я, четырнадцатилетний мальчик, еще мал, но я отдаю все свои силы для Советской России, как вырасту — также запишусь в коммунисты, а пока я в Союзе Комм. молодежи. У нас организовали фронт труда, и я хожу на станционные работы: очищаю снег и проч.»

Каким он был, этот подросток, что как товарищу по совместному труду, по общему делу «объявлял благодарность», жал руку вождю нашей революции? Может, вот таким, как ребята из села Кашино: серьезные, умные лица у этих ребят, помощников партии и новой власти, защитников бедноты. Может, таким, как те, из Нижнего Новгорода, что записываются в Красную Армию, что идут в одной суровой колонне с пожилыми, со старшими, — совсем дети, совсем еще малыши.

Сейчас мы бы назвали их пионерами. Многих из них, например, Андрюшу Шаронова: вот он на снимке, юный разведчик, салютующий нам боевой саблей. Или — рядом с ним — совсем ребенок во флотской форме, в лихо сбитой набекрень бескозырке, с тяжелой «трехлинейкой» на плече.

Фотографии, фотографии. И скупой — только необходимое, главное — текст: «Смотрите внимательно: эти полуодетые, полуразутые люди, побеждавшие в боях, — воины Дальневосточной народно-освободительной армии». Да, была и такая армия, и об этих ребятах сложили песню: «По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед...» Это герои книг Фадеева, герои романа Виктора Кина. Мы, каждый по-своему, представляли их, а они вот какие. Крестьянский парень в треухе, с охотничьей берданкой, рядом молодой комиссар, за ним босой юноша с боевой винтовкой. Кто в чем, кто с чем...

Нельзя без волнения смотреть на этих ребят.

А вот они уже шефы возрождающегося Красного флота, строители первых каналов, учителя курсов ликвидации безграмотности. И их боевые друзья, австрийские комсомольцы на перроне Московского вокзала и немецкие молодые коммунисты. И письмо из застенков буржуазной Эстонии от комсомольцев-подпольщиков. Они пишут IV Конгрессу КИМа, Коммунистического Интернационала Молодежи: «Мы уверены, что из вас вырастает та армия, которая разрушит все тюрьмы и стены буржуазного строя». Целая армия, от тысяч к миллионам: год 1918—22 тысячи комсомольцев, год 1928—2 миллиона.

Последние страницы первой тетради: первый советский трактор, первый автомобиль АМО, строители Турксиба, Грамота ЦИК СССР о награждении комсомола орденом Красного Знамени за боевые заслуги на фронтах гражданской войны.

...Старый коммунист Александр Лаврентьевич Семенов остановил меня у неприметного двухэтажного дома: «Здесь формировался наш бронепоезд». Мы шли по новому, современному Луганску, а он все вспоминал, вспоминал: «Тут был выгон когда-то, мы тут собирались на маевки... А через этот забор я как прыгну, когда казак меня нагайкой перетянул.. А здесь был первый рабфак... Вот отсюда к Острой Могиле, где шел бой, женщины и дети на руках таскали ящики со снарядами...»

— А с кем это вы поздоровались?

— Это из райкома комсомола парень. А тот толстый дядька — это из наших первых красных директоров. Тоненький был такой, молодой...

И сам Александр Лаврентьевич — представительный седой старик с орденом Красного Знамени на парадном темном костюме — уже не тот, конечно, бравый молодец с черными усами, что на групповом снимке давних лет: «Команда бронепоезда имени товарища Руднева...» Их уже мало осталось, свидетелей героических первых лет Советской власти, красных конников и строителей Комсомольска-на-Амуре: легкую жизнь выбрали они себе, нелегкой была история страны.

Поэтому так ценны каждое свидетельство тех лет, каждый документ. Потому ценна и «Живая летопись» — коллективный рассказ комсомола «о времени и о себе».

Вторая тетрадь — годы 1929—1945. Поколение тридцатых годов. Магнитогорск, Днепрострой, московское метро... Девушки на торфяных разработках. Идут, неся на плечах тяжелые плетеные корзины, молодые женщины в лаптях и босые... Несут на ручных носилках грунт из котлована метростроевцы... Девушка-крестьянка, пришедшая в ФЗУ учиться, держит в руках напильник. Посмотрите, сколько напряженного старания в ее лице! И вот результаты этой учебы, этого труда — сверкающая мрамором станция метро «Комсомольская», трактор, выезжающий из заводских ворот.

Мы привыкли к таким снимкам в газете: новый трактор, самолет, завод. Нас не удивляет, что первокурсники, обучающиеся по новой, трехлетней программе, спокойно оперируют с «иксом», что младшие школьники знают о радио, пожалуй, больше, чем читатели старого журнала «Радио для всех». Мы привыкли к чудесам. Это и хорошо, потому что чудо стало повседневным. Но это и плохо, потому что удивление перед таким, пусть повседневным чудом — необходимое начало творческого любопытства, начало большой любви к жизни, к науке, к труду.

Мальчишка осторожно, с опаской включает электрическую лампу, «лампочку Ильича». Разве не ди-

во — электричество в избе? Он всматривается в пустой стеклянный цилиндр (заметим, цилиндр, а не сегодняшнюю колбочку), в проводочки, которые сейчас, через секунду вспыхнут, как маленькое солнце... Может, и нам, читатель, стоит повнимательнее всмотреться в теперешние обыкновенные чудеса, всмотреться и удивиться им, чтоб и мы, как тот мальчишка тридцатых годов, стали мастерами, мыслителями, первооткрывателями?

Я пропускаю много страниц: ты сам, читатель «Юности», я верю, вернешься еще к этим страницам. И вот — «Война народная...».

Первые герои этой войны — комсомольцы-пограничники. Ты увидишь их в «Живой летописи», читатель. Лопатин, Петров, Усов, Кижеватов... А на следующей странице знаменитый плакат военных лет. Он висел тогда — огромный, во всю стену дома — возле Центрального телеграфа, на улице Горького: «Родина-мать зовет!» Россия-мать с текстом военной присяги, с призывом поднятой рукой на фоне трехгранных русских штыков.

И вот другая страница: герои-летчики. Здоровцев, Харитонов, Жуков, Гастелло... Зимой возле еще теплой русской печи собирались к нам соседки-старухи, ребятишки. Чадил фитиль, вставленный в аптекарский пузырек с керосином, и мы слушали газету, которую удавалось раздобыть в МТС: «Немцы под Москвой», «Таран летчика Талахиных», «Ленинград в блокаде». Кто-то рассказывал, что на станции видели эшелон с ленинградскими ребятишками: «В чем душа держится...» И первый вернувшийся с войны солдат — одорукий инвалид — рассказывал о таинственной тогда «Катюше». На уроках мы разбирали винтовочный затвор. И с тех пор засело в моей памяти: «Составные части затвора — стебель, гребень, рукоятка...»

Мы не знали, сколько продлится война. Ей не видно было конца, и мы готовились: может, очередь дойдет и до нас, пацанов.

А пока мы, как и ты сегодня, читатель, рассматривали эти снимки: солдаты в атаке, партизаны Белоруссии на марше, комсомольское собрание в окопах, дом Павлова — несокрушимая цитадель обороны в центре Сталинграда.

Две девушки у токарного станка еле-еле достают до него, — война. Девушка со снайперской винтовкой, героиня Севастополя, — война. Мальчишка, которому вручают партизанскую медаль, — война...

И, наконец, регулировщица с флажком у столба-указателя «На Берлин!». Последние кадры великой народной войны. Сквозь мертвый циферблат берлинских башенных часов стрелает молодой советский автоматчик. И вот Михаил Егоров и Мелитон Кантария водружают над рейхстагом Знамя победы.

Победа досталась ценой жизни двадцати миллионов человек.

Седая старуха с фотографией сына в руках. Военный корреспондент заснял ее сына за день до его гибели. Эту фотографию мать увидела только через двадцать лет, в День победы... Плачущий у развалин Брестской крепости ее защитник...

...Я с благодарностью закрываю эту книгу, живую летопись моей и твоей большой семьи — комсомола.

Но эта летопись не окончена. Будет еще и третья тетрадь. Уже о тебе, о твоих сверстниках, о строителях Братска и Тайшета, о космонавтах и лауреатах конкурса имени Чайковского, о целинниках и солдатах, о сегодняшнем дне.

На фронтовом листке-«молнии», который ты увидишь в «Истории ВЛКСМ», есть обращение к читателю-бойцу: «Прочти и передай товарищу».

Прочти эти книги. И передай товарищу!

Григорий
Медынский

ЧЕСТНОСТЬ И МУЖЕСТВО

Книга тоже имеет душу, как человек. Ведь как случается: читаешь книгу, и все будто бы на месте — и сюжет, и композиция, и языком автор не обделен, все элементы прощупываются, словно колесики проверенного механизма, но нет в этом механизме того, что по-шоферски зовется «искрой». Нет души. И потому весь механизм работает впустую и читатель остается холодным. Ему претят и омертвевшие литературные каноны, и псевдоноваторство, и упрощенство, и ложная усложненность; он не сочувствует героям, не сопереживает, а то и просто не верит ни книге, ни автору, и понятие такой художественности бывает для него иной раз равнозначным понятию недостоверности.

А бывает наоборот: нет никаких притязаний ни на художественность, ни на большую литературу, не все прилажено, кое-где торчат языковые заусеницы, а читатель проглатывает книгу залпом. Его подкупает фактура жизни, ее ощутимость, реальность, искренность интонации автора, а главное, та самая скрытая «искра», которая оживляет и одухотворяет эту реальность, делает ее близкой сердцу. И тогда читатель начинает радоваться тем радостям и болеть теми болями и надеждами, думать думами, которыми думал, болел и радовался автор.

Вот с таким ощущением горячего сопереживания прочитал я записки известного полярного летчика

Михаила Каминского «В небе Чукотки», и мне очень жаль было расставаться с этой книгой, когда я закрыл ее последнюю страницу.

Мы часто говорим о комсомольцах двадцатых годов. Но ведь комсомольцы двадцатых — это зреющие, бурно растущие деятели тридцатых годов, берущие на свои плечи всю тяжесть многостороннего развития страны. Вот к этому поколению принадлежит Каминский. Сын московской рабочей окраины, познавший горькое детство, нужду, недоедание и раннюю недетскую работу, он принял фамилию комсомольца Каминского, погибшего от кулацкого обреза, и вместе с фамилией — романтику и героизм комсомола тех лет. С этим он пришел в авиацию.

«Он летал над Северным и Южным полюсами, провел долгую полярную ночь на дрейфующей станции, участвовал в двух антарктических экспедициях. Он дважды благополучно садился на морском самолете на сушу и взлетал с суши, горел в воздухе и на земле при авариях, одна из которых произошла у самого Северного полюса» — так говорит о Каминском в предисловии к книге первый летчик, прилетевший в ледовый лагерь челюскинцев, наш первый Герой Советского Союза, ныне генерал А. Ляпидевский.

Но об этих операциях мы, к сожалению, еще не можем прочесть: это, видимо, дело второй, обещанной Каминским книги. А здесь описаны лишь первые, но не менее захватывающие шаги и всей советской полярной авиации вообще и одного из ее активных и талантливых деятелей — Михаила Николаевича Каминского. И мы должны сказать ему спасибо за то, что, выйдя, как говорится, на заслуженный отдых, он лишь переменяет оружие и продолжает служить — теперь уже пером — своему родному делу.

Книга заставляет волноваться читателя, начиная с первой страницы, с первой картины торошения льда на дрейфующей станции и, далее, когда мы «идем» через всю историю освоения Советской Арктики, с первыми полетами, небывалыми посадками, горькими катастрофами, трагедиями и первыми победными шагами, спасением людей, открытиями залежей золота, олова, вольфрама и других богатств, так необходимых поднимающемуся хозяйству страны.

Я допускаю, что какие-то эпизоды здесь могут показаться необязательными, может быть, даже излишними, — у меня такого ощущения нет, потому что повествование у Каминского, даже его самые «скупные» для иного читателя технические или, наоборот, «бытовые» страницы написаны не только обстоятельно, с полным знанием дела, но и объемно с точки зрения внутреннего смысла. За каждым иногда на первый взгляд второстепенным эпизодом или штрихом чувствуется цепкий, зоркий взгляд и острый ум человека, идущего от анализа частного к большим синтетическим обобщениям и выводам.

Это выводы человека живого, смелого в действиях и честного в мыслях, проверившего все теории и принципы своими руками в горячей и смертельной схватке с самой дикой и неумной, разбушевавшейся материей, с ледяным валом, многодневной пургой, обманчивыми туманами, сибирскими морозами и из всего этого сделавшего мужественный вывод: главное решает человек.

Как много мы читали и писали о героях, о подвигах и как это возвышенно и в то же время как легко и, следовательно, неправдоподобно иной раз выглядело. Но вот перед нами живой герой и «живые», всамделишные подвиги, и в них и следа нет такой лакированной легкости. Мы точно плечами чувствуем и душой их тяжесть, и труд, и... страх. Да, тот есте-

ственный человеческий страх, который сопутствовал всем этим «почти привычным и неизбежным ситуациям». Но не тот страх, который разоружает, убивает и унижает человека, а тот — и в этом тайна «материка человеческой психики», о котором пишет Каминский, — что вопреки смертельным опасностям рождает неведомые истоки силы и мужества.

«Страх у летчиков разного свойства... Не верю, когда говорят, что летчики бесстрашны. Страх перед действительной опасностью никто из людей избежать не может. Все дело в том, что сильнее: страх или волевой комплекс, в котором главное — самообладание». Честное и мужественное признание.

Из многих и многих приведу только один пример. На оторвавшейся от берегового припая льдине течение уносит в океан группу охотников-эскимосов, они кричат, машут руками, стреляют из ружей, и им пока еще вполне можно помочь. Но религиозные обычаи не разрешают оказывать помощь бедствующим в море, это значит — вступать в конфликт с всемогущим и жестоким духом «келе», требующим человеческих жертв. Люди обречены, а их братья, обесилленные и замороженные разворачивающейся трагедией, безмолвно стоят на берегу. И только двое из них, поборов религиозное наваждение, прибежали к летчикам.

Люди в опасности! Но у летчиков тоже есть «келе», авиационные наставления, запрещающие летать над морем на одномоторных колесных самолетах. У летчиков есть и другие свои задания, которые они обязаны выполнить. А сверх всего — температура чуть ниже нуля, самая коварная температура, когда морось оседает на крыльях ледяной корочкой. Но люди в опасности! Нужно спасать людей.

Полетели. Людей нашли во тьме и ледяной каше. Спасли. Но это оказалось только одной стороной дела. А другая разворачивалась в чукотском селении, где шла ожесточенная идейная битва — с «келем», с шаманами, со всей непроглядной, как полярная ночь, толщей суеверий и предрассудков. Это была битва за победную правду новой жизни, битва, которая кончилась тем, что после собрания, после речи живого русского летчика, выстроилась очередь желающих записаться в члены аэроклуба.

Я с большой, но отнюдь, по моему, не излишней подробностью пересказал этот эпизод, вскрывающий широчайшего диапазона комплекс нравственных, идейных и политических проблем.

Другой эпизод — другой комплекс. Хотя в основе своей он тот же — честность и мужество, товарищество и взаимопомощь, — но по ходу сюжета он обрастает другими, куда более сложными проблемами.

«История одной трагедии»... При перелете через совершенно не изведанный в то время дикий Анадырский хребет пропал самолет командира авиаторов Волобуева с двумя членами экипажа. Все небольшие силы авиационного отряда были брошены на спасение людей. Но Чукотка есть Чукотка: пурга, самые непредвиденные осложнения и случайности — и в результате только самолет командира Пухова, которому вся экспедиция создала благоприятные условия для полетов, был ближе всех к цели. Но он проявлял чрезмерную осторожность. Один раз он был так близко от места аварии, что терпевшие бедствие люди слышали шум мотора и даже разожгли костер. Пухов больше всего боялся заблудиться в горах, еще не положенных на карту, и повернул самолет обратно. В итоге — люди погибли. «Его трудность стояла жизни трем великодушным людям, и

этого забыть нельзя», — замечает по этому поводу автор.

Но Пухов этот свой человеческий и профессиональный грех пытался покрыть тем, что было у него в руках, — властью, начальственным апломбом и высокими словами. И это дает автору богатый материал для анализа и осмысливания человеческих отношений, что он и делает.

«Каждая профессия предъявляет свои требования к характеру человека», — пишет он. — У врача и педагога должны быть в наличии терпение и любовь, у администраторов — распорядительность и предусмотрительность, а у летчиков в первую очередь отвага. Пухов... в роли администратора был бы на месте, но тщеславие сделало его летчиком».

И автор старается разобраться и сам и при помощи своих товарищей, великодушных летчиков и коммунистов, в главном и решающем вопросе, касающемся «материка человеческой психики»: как под видимостью человека рассмотреть его подлинную сущность? Ведь Пухов казался таким задушевым и хорошим товарищем, и «все считали, что с командиром нам повезло». Но прошло немного времени, и все увидели в нем огромное тщеславие и болезненное самолюбие.

Так что же — может быть, в самолюбии вся беда? Нет, отвечает автор, и самолюбие бывает разное: «Бывает самолюбие высшего качества, которое ведет человека к подвигу».

Самолюбие Пухова совсем другого сорта: мелкое и нечистое, оно переходит в себялюбие и, помноженное на оказавшуюся у него в руках власть, превращается в злую силу. Негодяй, себялюбец и подлец — вот эпитеты гражданского гнева, которыми автор награждает Пухова и в конце концов идет в политотдел, где официально выражает ему недоверие «как летчику и как коммунисту».

Перед автором встанут вопросы один острее другого:

«Как могло случиться, что один человек мог замордовать по крайней мере шестерых из девяти? Как он сумел разобщить и деморализовать нас, чуть ли не ежедневно травмируя нашу психику мелкими придирками и угрозами? Наш парторг Мажелис был смят одним из первых». И дальше: «Что такое коммунизм?»

Автор настойчиво и честно ищет ответы на эти вопросы.

Он приводит в пример нового командира Конкина, морского летчика, старого коммуниста, участника гражданской войны. С его прибытием на авиабазу «освежился воздух, которым мы дышали, исчезла скованность, робость, люди распрямились, установилась атмосфера единомыслия и товарищества». Конкин не ставил перед собой по команде «смирно», не требовал повторения приказаний, не кричал «пошел вон», «он просто говорил, что и кому нужно делать». И при всем том «его слушали и любили».

«Как же ты позволил Пухову смять себя и зажать в кулак всех остальных?» — строго спрашивает Каминского старый коммунист Конкин.

Тогда автор не согласился с этим упреком и только много позже понял, что «по большому партийному счету Конкин прав»: «Нельзя уклоняться от борьбы... Если коммунисты позволили сесть себе на шею проходимцу, то именно с них надо спрашивать по всей строгости».

Таков суровый, но честный разговор, который ведет автор с самим собой и с читателем, осмысливая уроки волобуевской трагедии.

Не менее мужественный разговор заводит Михаил

Каминский о забытом имени одного из пионеров нашей советской авиации, конструкторе Павле Игнатьевиче Гроховском, «источнике всего дерзкого, непривычного, бесстрашного и рискованного», изобретателе техники военно-воздушных десантов, материализовавшей теорию, созданную Тухачевским и другими полководцами Красной Армии и использованную потом гитлеровской армией.

И в этой истории автор подчеркивает высокую моральную атмосферу, окружавшую полярников. В ее формировании решающую роль автор опять-таки отводит бесстрашию, одержимости своей идеей и благородству обаятельнейшей личности Гроховского, который носил в петлице два ромба, но «смело перешагивал границу начальственной недоступности и становился для каждого только старшим, более умудренным товарищем».

В связи с этим хочется отметить общую черту книги: любовь к людям, товарищам и соратникам по борьбе.

«Моя жизнь так часто проходила по острию бритвы, что надо считать чудом, что я уцелел. Поэтому оставленное судьбой время бытия я считаю главной наградой и не хочу использовать эту награду потребительски и обывательски. Жизнь и борьба моего поколения, завоевавшего стране Арктику, стоит того, чтобы о ней знали потомки» — так писал автор несколько лет назад издательству в своей предварительной заявке. Эту гражданскую заявку он выполняет с честью и любовью, давая целую галерею благородных, чистых и мужественных людей. В ней свое место занимает и Михаил Каминский. Но это не красующийся собою всепобеждающий герой, а живой, думающий и чувствующий человек. Нет, он не может отказать себе в профессиональной гордости за необыкновенно удачную посадку, за которую выдавшие виды летчики жали ему руки, но он со всей обнаженностью описывает и свои ошибки и неудачи, когда «хочется быть волком, когда чувст-

вуешь себя опозоренным собственной глупостью и уничиженным в глазах уважаемых мною людей».

Невозможно перечислить все драматические события, жизненные конфликты и проблемы, на которых построена эта книга, сочетающая в себе романтику юности и мудрость... старости, хотелось мне сказать, но нет, не подходит здесь это слово. Стар не тот, кому много лет, а тот, кто скис, сдал и опустил, оказавшись духовным ничтожеством независимо от возраста. Человек, который любит жизнь, работает для нее, умеет радоваться ей, — такой человек сохраняет молодость до глубокой старости.

Но дело, надо сказать, не только или, во всяком случае, не столько в драматичности событий или остроте конфликтов, сколько в общей философии книги. За отдельными персонажами, деятелями и героями советской полярной авиации чувствуется мощь народа, русского национального характера с его способностью вытерпеть и устоять в любых условиях, в которые ставит его жизнь. Это особенно в данном случае относится к полярникам, целому племени первопроходцев не изведанных дотоле земель, благодаря мужеству и самоотверженности которых в этих диких и пустынных когда-то местах теперь стоят наши города, работают заводы и живут люди, добывая запрятанные в земных недрах богатства. А потому советские люди гордятся освоением Арктики как одним из наиболее славных дел прожитой нами эпохи, и слово «полярник» справедливо стало синонимом мужества и стойкости для новых поколений.

Мудрая книга, книга щедрого сердца и мужества. И очень жаль, что она вышла сравнительно небольшим тиражом в далеком Магаданском издательстве. Но, видимо, там где-то, в тех далеких краях, она и осела. А книга эта не «местная». Ее обязательно нужно переиздать в Москве, большим тиражом и сделать доступной широкому и прежде всего молодому читателю. Она многое ему скажет и многому научит.

— W —



**КОМСОМОЛЬСКИЙ
БИЛЕТ № 18373991**

ВЛАДИМИР КОМАРОВ



Этот билет выдан Ялуторовским райкомом ВЛКСМ Омской области Владимиру Михайловичу Комарову, 1927 года рождения, принятому в ряды комсомола в апреле 1943 года.

Уже будучи космонавтом, человеком, прошедшим школу жизни, он любил каждый рабочий блокнот открывать девизом. Один из блокнотов открывается такими словами: «Нужно верить в свои собственные силы...».

Однажды на небольшом самолете он возвращался на свой аэродром. Неожиданно на землю сорвался снежный вихрь. Мокрые снежинки в один миг залепили окна домов, выстеклили посадочную полосу, заглушили дневной свет. В диспетчерской мало кто верил, что машину удастся посадить без аварии. Знали об этом и те, кто был с ним в воздухе.

Чудом сели удачно после нескольких заходов. Все страшно перенервничали. Володя вернулся измученный, но сияющий.

— Отличные ребята пилоты! Посадили-таки машину!

Быстро принял ванну, переоделся и, пообедав, ушел на работу, как ни в чем не бывало.

Умел делать близким подарки. Был необычайно внимательным, заботливым, нежным.

Однажды, накануне семейного праздника, ночью вернулся из полета. Следующий день был выходным, и в доме все спали до 9 часов. А когда проснулись, ахнули: обеденный стол был сервирован и ломился от блюд, приготовленных его руками. В вазах стояли цветы. Для этого ему пришлось встать чуть свет. Где достал цветы, так и не сказал. Смеялся: «Секрет фирмы».

Перед вторым полетом в космос, о котором до последнего дня не сказал ни слова, буквально дро-

жал за свое здоровье. Панически боялся простудиться. В марте, возвращаясь из бани, натягивал меховую куртку.

Все удивлялись. Говорили:

— Здоровьем можешь поделиться с семерыми, никогда не болел, а тут такое...

Отвечал:

— Надо беречься. Надо!

Потом выяснилось: для полета больше всего подходил он. Боялся подвести всех, кто верил в него.

Многие друзья надоедали расспросами:

— Когда будешь защищать диссертацию? Ведь давно все готово.

Усмехался:

— Учиться надо ради знаний, а не степеней.

Среди многочисленных книг, оставшихся на его столе, том сочинений А. С. Пушкина, его любимого поэта. На титульном листе, в уголке, надпись, сделанная твердым, ровным почерком:

«...Пока свободой горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!...»

И ниже: «Вале от Володи в честь успешного окончания 2-го курса. 30.06. 50 г. Грозный».

Обо всем этом мне рассказала жена летчика-космонавта, Героя Советского Союза Владимира Комарова — Валентина Яковлевна Комарова. Она же подарила и этот уникальный снимок курсанта авиационного училища комсомольца Володи Комарова.

Виталий ЗАСЕЕВ



**Теодор
Гладков,**
специальный
корреспондент
«Юности»

ВЬЕТНАМ, 1968

Вьетнамцы очень любят футбол. До сих пор ханойские болельщики с каким-то мальчишеским самозабвением и гордостью вспоминают, как несколько лет назад — «еще до войны» — их армейская команда выиграла у нашей «Молдовы».

Сейчас во Вьетнаме в футбол не играют. Одна американская шариковая бомба, размером с детский кулак, начиненная крохотными стальными шариками (говорят, что это брак шарикоподшипниковых заводов), может поразить триста шестьдесят целей. Бомбы сбрасывают с самолетов целыми контейнерами. В воздухе контейнер раскрывается. В нем до восьми-

сот бомб. Вот почему сейчас во Вьетнаме не играют в футбол: трибуны стадионов собирают во время матчей слишком много целей.

По этой же причине вот уже четыре года в стране по праздничным дням не устраиваются ни демонстрации, ни многолюдные митинги. Это тоже слишком заметные цели. Потому что для тех рослых ребят, что в белых гермошлемах, разрисованных «мики-маусами», пилотируют в небе Вьетнама всевозможные «F» и «B», нет существенного различия между железнодорожным мостом, ракетной установкой, электростанцией или просто группой людей на мирной улице: все это просто цели.

Но в нынешний Первوماй традиционное заседание в Ханое все же состоялось — во Дворце Бадинь, на исторической одноименной площади. Оно открылось в семь часов утра и длилось всего час. На крыше не отрывались от рукояток пулеметов зенитчики в стальных касках, а над самой площадью непрерывно барражировали звенья «МИГов». В зале заседания на каждом пюпитре — бумажная стрелка, острие указывает направление ближайшего бомбоубежища.

Накануне была тревога: выли сирены, сливались в оглушительном лае разрывы зенитных снарядов, стремительно разматывались ввысь белые шлейфы ракет, оставляя за собой на земле тяжкий, стонущий удар пуска. Его воспринимаешь даже не ушами, а ногами. Разрыв — ослепительная белая вспышка. Когда ракета настигает вражеский самолет, вспышка оранжевая... Потом на землю сыплется частый град осколков с острыми, зубчатыми краями. Я видел листья банановой пальмы, раздвоенные осколками по всей длине: от макушки до земли...

Последняя воздушная тревога в моей жизни, тогда мальчишечьей, была лет двадцать пять назад, в Туле. В небе ревели немецкие бомбардировщики; американцы были нашими союзниками. А сейчас я прижимался спиной к каменной ограде какого-то дома, а рядом со мной стояли два специалиста из Дрездена, окончившие институт в Москве. И я был уже не в Туле — в Ханое. А над нами проносились на чудовищной скорости американские самолеты.

Невдалеке, на ставшей в секунду безлюдной улице, стоял хрупкий, как подросток, милиционер с автоматом и смотрел на нас с явным неодобрением. Мы не геройствовали, просто европейцу даже заурядного роста трудно залезть в узкую бетонную трубу индивидуального люка убежища. Они, эти убежища, словно оспины, осыпают тротуары всех вьетнамских городов. Улица казалась вымершей, но через каждые пять шагов в земле, задвинув над головой круглые бетонные крышки, терпеливо ждали отбоя люди.

В Северном Вьетнаме живет сейчас 17 миллионов человек. И вырыт 21 миллион убежищ. Не только индивидуальных, но и коллективных, на десятки и сотни мест.

Я видел убежище в госпитале — в нем сверкало хромом и эмалью операционное оборудование. В отдельной бетонной нише стоял электрокардиограф...

В селе Суан Динь я видел школу. Это сельская школа, но половина ребят в ней из города. Вспомнил, казалось бы, давно забытое слово — «эвакуированные». В сорок первом нас, московскую мелюзгу, тоже вывозили подальше, в безопасность. Но во Вьетнаме безопасности на земле нет. Он весь простреливается с воздуха, просто есть места более опасные и есть менее. Это село было менее...

Ребята сидели за партами, широко расставив ноги в одинаковых сандалиях из старой покрышечной резины. А под ногами у них во всю длину класса тянулись бетонные траншеи... Для тех, кто любит статистику: во Вьетнаме вырыто 50 тысяч

Когда эти трубы вкопаны в землю, они станут бомбоубежищами.



километров траншей. Это на десять тысяч больше, чем окружность земного шара по экватору.

Эти траншеи могли бы быть ирригационными каналами, если бы четырнадцать лет назад американцы не нарушили Женевские соглашения. Каналы очень нужны Вьетнаму. Но получилось так, что траншеи стали важнее.

Девочки пели нам в классе песни, вьетнамские и советские. Это был подарок гостям. Еще нам подавали тяжелую, в палец толщиной, громадную шляпу из тугих жгутов рисовой соломы. Девочки плетут их сами для защиты от «шариков». У одной на кофточке был черный бантик. Мы уже знали, что он означает; не знали только, кого потеряла девочка.

Первый раз мы увидели черную ленточку на галстуке молодого парня, работавшего в управлении Хайфонского порта: накануне у него убило мать, отца, трех сестер и двух братьев. Одной бомбой. Через месяц ровно после того, как мистер Джонсон объявил об ограничении бомбардировок. На Тхоя это ограничение, видно, не распространилось. На школьницу Тхань тоже.

Худощавый, подтянутый молодой человек с черной ленточкой ходил по причалам, отдавал какие-то распоряжения докерам, оформлял погрузочные документы. Работал. Четко и спокойно. А ведь только вчера... Но сегодня пришел теплоход. Его ждали. Груз нужен республике. Нужно работать. Так все сейчас работают во Вьетнаме.

...Ханой наводнен велосипедистами (номер не сзади под седлом, как у нас, а на верхней трубке рамы, ближе к рулю). Велосипедистов тысячи, и почти у каждого на багажнике пассажир, а чаще пассажирка. Сидит, как амазонка, ноги на одну сторону, и даже не придерживается руками; руки обычно заняты сумкой или третьим пассажиром — ребенком.

Велосипедисты снуют во всех направлениях, лавируют в густом потоке уличного движения с невероятной ловкостью; от непрерывного мелькания спиц, если смотреть на них минут десять, начинает кружиться

голова. Кажется, вот-вот кто-нибудь в кого-нибудь врежется, и пойдет, и пойдет... Но ничего, никто ни в кого не врежется. Каким-то чудом им удается избегать неминуемых вроде бы столкновений, даже звонками не пользуются (зато автомобилисты, правда, довольно редкие, гудят почти непрерывно).

На тротуарах тесно, но никто никогда вас не толкнет и не наступит на ногу, никто ни с кем не ссорится, не услышишь даже громкого слова. В крохотных кафе толпятся люди, медленно потягивают холодное пиво. Возле кинотеатров очереди, терпеливые и вежливые. Очень много парикмахерских, куда приходят (если есть время) надолго — это своеобразные клубы, где обсуждают все мировые и местные новости.

Со звоном и лязгом проходит трамвай, весь облепленный людьми. В переулке от главной улицы прямо на мостовой базарчик — торгуют бананами (вот уж никогда не подозревал, что на свете существует около пятисот сортов бананов), свежей рыбой, ярко-оранжевыми плодами папайи, огурцами и рассыпными сигаретами. Когда война, всегда торгуют сигаретами поштучно.

И всюду дети, очень много детей, хотя большинство из миллионного населения столицы эвакуировано в сельские местности. Внешняя мирность Ханоя (конечно, если поблизости нет следов бомбардировок) усиливается еще и тем, что светомаскировки нет — в нынешней воздушной войне от нее все равно никакой проку, в случае тревоги просто-напросто во всем городе выключают свет.

Высоко над крышами домов репродукторы. Они предупреждают о приближении к городу американских самолетов. Первое предупреждение — за семьдесят километров, второе — за пятьдесят, третье — за тридцать. Это уже тревога: воют сирены, и звенят по камням осколки. С этого расстояния американцы иногда бьют по городу ракетами. Они идут со скоростью, в несколько раз превышающей скорость звука. Поэтому их не слышно. Но видны повсюду результаты их попаданий.

Утром улицы пусты, рабочий день начинается в пять утра. В девять — перерыв до вечера. Потом снова

ва работа. Это не обычная тропическая сиеста. Опыт четырех лет войны показал, что такие часы для работы самые безопасные.

Слишком мало пробыл я во Вьетнаме, чтобы написать о нем, как хотелось бы и как нужно. Впечатления калейдоскопичны, многие наблюдения случайны и субъективны. И все же надеюсь, что эти отрывочные заметки передадут в какой-то степени увиденное. Вот некоторые записи из блокнота, начатого еще во Владивостоке.

Наше «Раздольное» идет Японским морем. Дельфины. Морось (это хорошо — нет облетов). Смотрим передачи японского телевидения: урок английского языка ведет нахального вида молодой американец-верзила. Японский диктор ему по грудь. Потом голливудский «вестерн», потом самурайский фильм — все время рубятся на двуручных мечах, потом реклама автомобилей и, наконец, «реслинг» — зверская драка, а на самом деле умелая инсценировка. Телевизор разрывается от улюлюканья тысяч зрителей, а за соседним столиком свободный от вахты Саша Абакумов сосредоточенно штудирует учебник физики. Саша — палубный матрос, но одновременно и студент-заочник. Ему не до «реслинга».

А еще через стол — оглушительные удары по столешнице: «морской козел». Моторист Адам Лира — громоздкий, плечистый, с неожиданно детским лицом, не отрываясь от игры, вытаскивает из кармана пачку сигарет, разглядывает и ворчит под нос:

— «Аврору» весь мир знает, а сигареты выпустили — подарить стыдно. То же самое — «Байкал»...

Потом выстреливает костяшкой по столу и торжествующе гаркает:

— Рыба!

Тонкий залитый. Чуть вздымается ленивая волна, словно асфальт в котле. Сидим в каюте капитана Валентина Трофимова. Капитану — по-морскому «мастеру» — тридцать четыре года. Миша Шарабарин — третий помощник и комсорг, он сорок первого года рождения. Но уже окончил высшую мореходку и порядком поплавал. Ходил и во Вьетнам. Рассказывает, как в прошлом году на его глазах «фантомы» на хайфонском рейде расстреливали рыбацьи джонки. Третий — Евгений Владимирович Богданов, начальник радиции. На судне его называют «наш Маресьев». В тот год, когда Шарабарин появился на свет, Богданов потерял на фронте ноги. Плавает лет тридцать. Не разрешали — писал Ворошилову, добился. По мачтам Богданов, несмотря на протезы, лазит не хуже бочмана Грицюка. Отличный рассказчик и преферансист и, между прочим, Почетный радист СССР.

Сидим, делимся «морскими былями», вдруг — тревожный голос вахтенного. Слева по борту стремительно нарастает серая громада американского авианосца. Название — «Райт». Считается легким, но мы против него — ялик. Экипажа на нем свыше двух тысяч. Нас сорок восемь. Сигналист семафором и по радио требует остановиться. Продолжаем идти по курсу.

«Райт» приближается метров на сто пятьдесят, вот вот раздавит. В последний миг, вздыбив волну, круто повернул... Еще через час — самолет. «Мерлин». Летит низко, чуть не срывая концы мачт, отчетливо видно лицо пилота. Трофимов только усмехается:

— Это уже что, семечки!

Только сейчас почему-то замечаю, что наш капитан голубоглаз. Идем дальше. К ночи должны стать на рейд.

Хайфон красив. Двухэтажные, похожие на виллы дома. Город-склад: все улицы забиты ящиками с оборудованием, станками, машинами. Большинство контейнеров, судя по надписям, из СССР, Польши, Венгрии, ГДР, Чехословакии.

Из Хайфона до Ханоя 110 километров. Знаменитая дорога № 5 тянется вдоль железнодорожного полотна (узкоколейка, вроде наших пионерских, но неправдашняя). Едем ночью, медленно и осторожно. На всем ее протяжении американцы уже все сто раз разбили, а вьетнамцы сто раз восстановили. Она, эта дорога, особенно переправы, как птица Феникс, что каждый раз возрождались из пепла. Красную реку у Ханоя переезжаем по временному мосту, бревна на плаву, под тяжестью машины они оседают, колеса наполовину в воде. Вдали видим постоянный мост — красивый, арочный, словно из иллюстраций к Жюль Верну. Его строил Эйфель, автор знаменитой парижской башни. Мост разрушен...

Улица Ли Тхай То. Никаких военных объектов — это район мелких торговцев, ремесленников, часовщиков, парикмахеров. Пробираемся через развалины дома: в нем погибло одиннадцать человек, в том числе восемь детей. Одна из погибших — учительница Данг Чан Линь. Муж ее погиб еще раньше, от «шарика». Напротив, через улицу, тоже развалины, но их уже расчистили и подвезли кирпич. Новый дом построят на том же самом месте. И заселят старыми жильцами. Кто остался в живых, конечно.

Самое красивое место в Ханое — парк Единства, с великолепным озером. Незнакомое дерево, усыпанное крупными алыми цветами, как детскими шариками. Называется дерево — павлин. Крона, как веер, действительно похожа на распушенный павлиний хвост. За озером видны четырехэтажные корпуса крупнейшего в республике Политехнического института. Мы там были, познакомились с проректором, депутатом Национального собрания товарищем Нгуен Дук Тхыа. Он же председатель местного отделения Общества вьетнамо-советской дружбы. Прекрасно говорит по-русски, потому что учился в Москве, в Институте стали. Просит передать привет своему профессору Ивану Николаевичу Кизину.

Товарищ Тхыа рассказывает, что институт сейчас рассредоточен, его семь тысяч студентов (включая вечерников) учатся в десяти различных местах, кафедры и лаборатории расположены порой в двухстах километрах друг от друга. Рассказ заканчивает деловой фразой:

— Это создает некоторые трудности в процессе обучения...

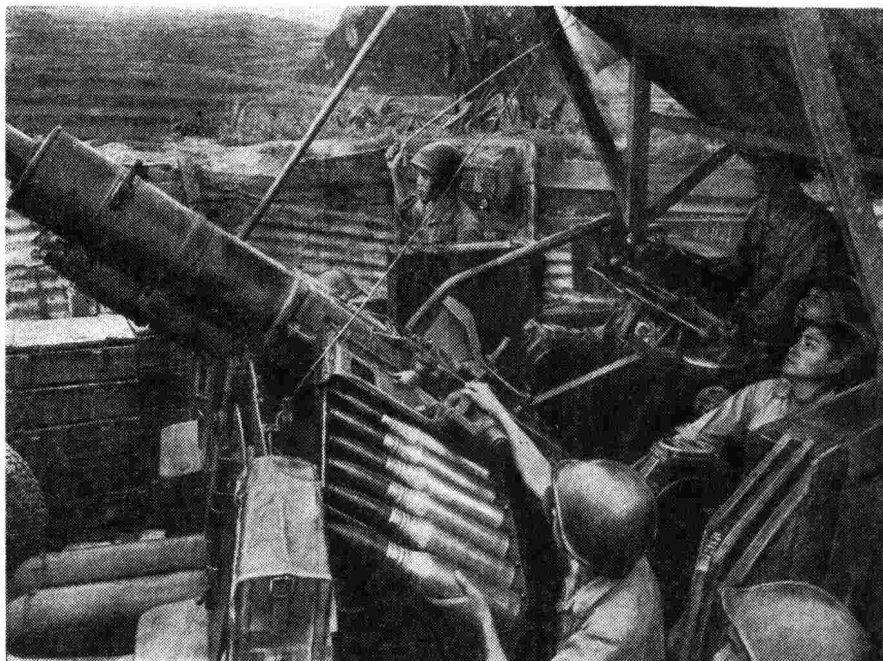
И все!

Зенитная батарея. Естественно, энская. На месте орудия долго не стоят, батарея непрерывно кочует, она уже прошла чуть не тысячу километров на одном и том же пятачке: чтобы не засекали. Солдатам, конечно, приходится нелегко, и было бы еще труднее, если бы не помогли крестьяне: таскать орудия, рыть укрытия и ходы сообщений, подносить снаряды.

Очень моложавый, как все вьетнамцы (на самом деле ему сорок), капитан Хань увлеченно рассказывает сначала о боях, а потом — как его солдаты выстали шестнадцать свиней.

— Армия должна также помогать крестьянам.

Он прав, капитан Хань. Когда война, всегда не хва-



На зенитной батарее.

тает продовольствия. Правда, это относится сейчас только к Вьетнаму. В США карточек нет. Зато есть богатые дивиденды, это — тоже война.

А во Вьетнаме — нормы, и жить трудно. Потому что в месяц положено 150 граммов мяса, столько же сахара, и риса не хватает и овощей. В год дают по 6 метров хлопчатобумажной ткани; хорошо, что в тропиках нет нужды в шерстяной одежде.

Случайное знакомство возле советского посольства: молодой парень с Гомельщины Миша Назарчук. Он мастер-хлебопек. Учит вьетнамских товарищей печь хлеб из советской муки. Ее доставляют теплоходами. Наше «Раздольное» тоже не раз ходило в Хайфон именно с мукой. Раньше во Вьетнаме хлеб выпекать не умели.

После Вьетнама я был в Китае. Недолго, всего три дня, но с меня хватило и этого. Всего час полета на старом «Иле» от Ханоя до Наньнина. Здесь ночевка. Потом стоянка в Ухани и сутки в Пекине. Весь самолет размалеван красными иероглифами. Внутри — ограниченный лишь габаритами салона портрет человека с розовым, пухлым лицом. Потом я видел тысячи его портретов. Он всегда улыбается. У живых, не портретных китайцев мы не разу не видели улыбки. Губы хунвэйбинов обоего пола всегда плотно сжаты. У пожилого пограничного врача было лицо смертельно усталого человека, а глаза грустные и все понимающие. В Ухани я видел, как гнали на работу землекопов — строим, под знаменами, с барабанным боем. Сбоку их подгоняли какие-то люди с красными книжечками в руках, на ходу они скандировали лозунги. Впереди колонны несли огромный портрет улыбающегося розовощекого человека. Рабочие плелись с лопатами и ломами. Не улыбался никто.

Перед каждым взлетом и посадкой в салон выходила худенькая стюардесса в серых брюках из ка-

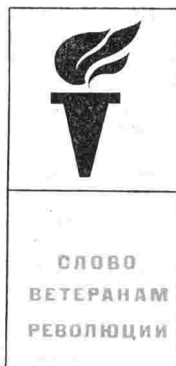
кой-то похожей на мешковину ткани, такой же курточке и сдвинутой назад кепке, такой же, как на портрете. Она не делала обычных сообщений о полете, но каждый раз по десять минут читала цитаты из красной книжечки. Такие же книжечки навалом лежали на наших столиках: на китайском, русском, английском, французском, испанском языках. Кончив с цитатами, стюардесса начинала петь, потрясая фотографией все того же улыбающегося человека. Она не просто пела и читала — она боролась, упоенно и самозабвенно. С кем, за что?

В зале Уханьского аэропорта я насчитал пятьдесят два аляповатых портрета одного и того же человека, не считая его же белораморной статуи. И было обидно за страну, в которой еще недавно творил Ци Бай-ши. Я листал книжечку в красной хлорвиниловой корочке, читал убогие сентенции, и было горько за страну, чей народ уже многие тысячи лет был славен своей мудростью.

Молодые, сильные ребята в зеленой солдатской униформе, с настороженными, испуганно-злыми лицами становились за спиной при каждой проверке паспортов. Какие-то молодые парни и девушки в ресторане за соседним столом, прежде чем приступить к скромной еде, обратясь к портрету, долго возносили к нему слова благодарности. За что?

Вспомнилась двадцатилетняя вьетнамская медсестра Тю Тхи Дык из села Тэй Тонг. Ее родители погибли еще в первую войну за Освобождение. Она осматривала мальчика Ле Ван Зау, проверяла, как у того заживает рана. На стене медпункта, сложенного из бамбуковых жердей, висели винтовка и стальная каска. Сильные пальцы Дык бережно ощупывали мальчишескую руку. Он стоял, закусив губу, а она говорила ему какие-то ласковые слова.

Она знала, за что отдали жизнь ее отец и мать. Она знала, за что борется и она и мальчик Зау. Она знает, за что борется ее страна. Она знает, кто ее враги и кто ее друзья.



Анастас Микоян

Бакинское подполье при английской оккупации

(1919 год)

Из воспоминаний

Размышляя о тех днях, я все больше удивляюсь, сколь пророческими были многие высказывания Степана Шаумяна. Вспоминаю хотя бы его предупреждения морякам Каспийской военной флотилии.

Надо сказать, что история Каспийского военного флота вообще представляет немалый интерес.

В октябре 1917 года этот флот, став на сторону большевиков, сыграл немалую роль в революционной борьбе за переход власти в руки Бакинского Совета рабочих и солдатских депутатов. Однако вскоре в личном составе флота произошли довольно большие изменения. Ушли многие передовые, наиболее активные моряки. Это способствовало тому, что в критические дни боев за Баку против турецко-мусаватистских войск моряки флота, обманутые эсерами и через них же частично подкупленные англичанами, проголосовали за приглашение англичан в Баку и тем самым предали Советскую власть.

Степан Шаумян, резко осуждая за это моряков флотилии, сказал тогда, обращаясь к ним, что они очень скоро убедятся в допущенной ошибке. События, развернувшиеся в ближайшие месяцы в Баку, раскрыли глаза обманутым морякам. Они поняли всю низость своего поступка, раскаялись в нем и в подавляющем большинстве вновь стали на сторону Советской России. Во всяком случае, после второго прихода английских оккупантов в Баку моряки Каспийской военной флотилии были в одних рядах с бакинскими рабочими и дружно вели общую борьбу с оккупантами. Товарищи рассказывали мне, что в день победоносного завершения всеобщей политической забастовки рабочих Баку — в декабре 1918 года — орудия всех военных кораблей Каспийской флотилии дружно салютовали в честь этой победы.

Продолжение. Начало см. «Юность» за 1967 год №№ 11, 12; за 1968 год №№ 1, 2, 5, 6, 9.

Для английского оккупационного командования Каспийская военная флотилия оказалась «крепким орешком». Она была хозяином положения на море, причем хозяином, настроенным к этому времени откровенно большевистски. Завести здесь свой флот англичане еще не успели. Вокруг флотилии шла ожесточенная борьба. Одни меньшевики, выступая на Рабочей конференции, требовали разоружить Каспийскую флотилию и превратить ее в обычный торговый флот. Другие меньшевики, как, например, Рохлин, предлагали отдать флотилию полностью в распоряжение азербайджанского правительства. Англичане, в свою очередь, мечтали передать Каспийскую флотилию генералу Деникину, который к тому времени обосновался в Петровске. Коммунисты же добивались, чтобы флотилия ушла в Астрахань, в распоряжение Советской власти. В этом направлении они и вели соответствующую работу среди личного состава флотилии.

В феврале 1919 года английское военное командование предъявило ультиматум о разоружении Каспийской флотилии. Это послужило сигналом к тому, чтобы флотилия, по решению Бакинского комитета партии, снялась с якорей и направилась из Бакинского порта в сторону Астрахани. Вместе с флотилией выехал и товарищ Гогоберидзе как представитель Бакинского партийного комитета.

Но лед в дельте Волги еще не растаял, и доступа к Астрахани не было. Флотилия вернулась обратно в Баку. Тут-то и началось разоружение военных судов, массовое увольнение моряков, аресты «ненадежных», большевистски настроенных матросов и командиров. Бакинские коммунисты старались через Рабочую конференцию всячески помочь морякам флотилии, не допускать увольнений и преследований матросов. Но в большинстве случаев это не давало нужных результатов.

Вернувшись в Баку, я, естественно, спросил остававшихся товарищей из Бакинского комитета, поче-

му они отправили военную флотилию в Астрахань, когда путь к ней был еще закрыт льдами в дельте Волги. Ответ был маловразумителен. Ссылались на то, что в условиях предъявленного англичанами ультиматума необходимо было что-то предпринять. «Другого выхода не было», — говорили мне. Видимо, погорячились и принимали решение наспех.

С большим трудом некоторым из наших товарищей-моряков удалось вырваться из рук англичан. Вскоре мы приняли решение: через Президиум Рабочей конференции предъявить англичанам ультиматум об освобождении военных моряков. Англичане долго упорствовали, но все же вынуждены были уступить. Моряки — их было около семидесяти — вышли из тюрьмы. Этот успех ободрил нас и укрепил наши позиции.

Между тем деникинская контрреволюция все усиливалась. Белогвардейцы стали укреплять свои позиции в Дагестане и создавать базу на Каспийском море. По всему было видно: план этот выдвинут англичанами, которые во что бы то ни стало хотят иметь надежную опору на Каспии.

Англичане вооружили ряд торговых и наливных пароходов, таких, как «Эммануил Нобель», «Шмидт» и другие, дальнобойными орудиями и поставили на них свои команды. Одновременно оккупанты приступили к организации деникинского военного флота под своим общим командованием. С этой целью они передали Деникину некоторое количество вооруженных торговых судов для несения сторожевой охраны и патрулирования северной части Каспийского моря. Они подготавливали передачу Деникину всей Каспийской военной флотилии, а также всего военного снаряжения, оставшегося в Баку.

Видя все это, Президиум Рабочей конференции выступил с таким примерно дипломатическим заявлением: ввиду того, что военные суда и военное снаряжение являются имуществом Российского государства, а это государство еще не на всей своей территории восстановлено, мы считаем недопустимой передачу этого имущества кому бы то ни было. Требуем интернирования всех военных судов и военного снаряжения впредь до полного восстановления Российского государства в его границах.

Хотя успех такого демарша в тех условиях казался сомнительным, нам все же удалось при поддержке большинства личного состава Каспийской флотилии добиться, чтобы военные суда были поставлены на прикол. Правда, некоторая часть военного снаряжения все же попала в руки деникинцев.

Не будучи уверены, что нам удастся долго удерживать военные суда на приколе, мы решили: через своих товарищей — бывших матросов этих судов — вытащить с кораблей самые ценные части машин и спрятать в надежных местах. Операция, как нам сказали, была проведена успешно. Это было очень важно; знающие люди утверждали, что такие части машин можно было найти или изготовить только в Петрограде, а Петроград был городом советским. Таким образом, для контрреволюции эти суда оказались выведенными из строя.

Вспоминая то время, не могу не рассказать о том, как мы помогли тогда вызволить из тюрем оккупантов большую группу рабочих-революционеров.

Когда большевикам, находившимся в Закаспии на нелегальном положении, стало известно, что после нашего возвращения в Баку коммунисты стали у руководства Рабочей конференции, они прислали в Баку своих представителей.

На одном из заседаний Рабочей конференции мы

предоставили им слово. Они приветствовали конференцию, выражая свое восхищение героической борьбой бакинских пролетариев, и заявили о солидарности закаспийских рабочих с этой борьбой. Вместе с тем они высказали просьбу, чтобы Рабочая конференция, используя свое влияние, обратилась к английским оккупационным властям с требованием об освобождении из закаспийских тюрем содержащихся там рабочих-революционеров.

Эту просьбу Рабочая конференция встретила бурными аплодисментами. От имени конференции мне было поручено выступить с ответным словом. При полном одобрении Рабочей конференции примет все меры к освобождению своих закаспийских товарищей.

Вскоре мы направили английскому командованию письменное требование освободить всех политических арестованных, содержащихся в тюрьмах Красноводска, Кизил-Арвата, Ашхабада и Энзели, и направить их в распоряжение Рабочей конференции. (Оставление наших товарищей после освобождения на месте все равно не дало бы толку, так как они могли вновь стать жертвами террора.)

В подкрепление своего требования мы выставили угрозу всеобщей политической забастовки.

Около двух недель шли упорные переговоры. В конце концов английское командование было вынуждено уступить. Все политические заключенные были освобождены из тюрем и переданы Бакинской Рабочей конференции.

Нашего полку все прибывало!

БАКИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ПОЕЗДКА В ТИФЛИС

В середине марта 1919 года нам удалось провести Бакинскую партийную конференцию — первую конференцию после гибели бакинских комиссаров. Действовавший до марта Бакинский комитет партии не избирался, как обычно, на партийной конференции, а был образован путем так называемой кооптации. Так не раз случалось в нашей партии, когда в создавшихся тяжелых условиях не представлялось возможным провести ни партийного съезда, ни конференции.

Помню, на эту конференцию собралось около тридцати делегатов со всех районов Баку. Мы слушали краткие сообщения о политическом положении и состоянии партийной организации в районах.

Из докладов было видно, что почти в каждом промышленном районе Баку организовалось крепкое ядро коммунистов. Ими руководили Анашкин, Гогоберидзе, Давлатов, Касумов, Мамедяров, Мирзоян, Пляшаков, Родионов, Саркис, Чикарев, Якубов и другие товарищи. На Баилове, Бибизейбате, Балаханах, Сураханах, Забрате, в Черном и Белом городе, Завокзальном, городском и портовом районах Баку, на ряде промыслов и предприятий действовали партийные ячейки, которые после этой конференции были объединены в районные организации во главе с районными комитетами партии.

Однако состояние партийной работы все еще не соответствовало общему подъему рабочего движения. На многих предприятиях насчитывалось по одному-два коммуниста. Немало было и таких предприятий, особенно мелких, где вообще не было ни одного члена нашей партии. И хотя те коммунисты, которые остались после всех событий в Баку, были активными партийными работниками, они не были

вполне подготовлены для выполнения новых, более ответственных задач, которые выдвигала жизнь. Они не были так же хорошо известны рабочим, как, например, представители меньшевиков или эсеров, которых в большинстве не коснулись аресты, казни и высылки.

Выступавшие на конференции приводили много фактов, свидетельствующих, что избранные в фабрично-заводские комитеты и на рабочие конференции беспартийные рабочие и бывшие левые эсеры вели себя очень хорошо. Стала активизироваться работа в профессиональных союзах. На конференции определилась и наша тактическая линия: поддерживать активно выступающих беспартийных рабочих, больше на них влиять в идейном отношении, оказывать им доверие и всяческую поддержку, подготавливая их для вступления в нашу партию.

Конференция приняла решение: в течение ближайшей недели провести районные партийные конференции, избрать райкомы и немедленно взяться за восстановление партийных ячеек на предприятиях. Было решено принять в партию тех беспартийных, которые во время тяжелых событий последних месяцев хорошо себя проявили: это было лучшей формой проверки вступающих, чем обычный кандидатский стаж.

Много внимания конференция уделила вопросу о работе среди мусульманских рабочих (так обычно называли рабочих — азербайджанцев, дагестанцев, а также персидских рабочих — в большинстве своем азербайджанцев по национальности). Работа среди них была поставлена плохо. Несколько лучше обстояло дело с азербайджанцами — выходцами из Персии: у них была своя коммунистическая организация «Адалет». Из руководителей этой организации я хорошо помню трех талантливых рабочих — братьев Агаевых. Эти братья хотя и не имели должного образования, зато были от природы даровитыми вожаками, обладали политическим опытом и были страстно преданы делу коммунизма, беззаветно, я бы даже сказал, фанатически верили в идеи партии. Они активно участвовали во всех заводских собраниях и дружно действовали вместе с коммунистами.

Работу среди азербайджанских рабочих вела организация «Гуммет». Но это был не тот «Гуммет», который состоял при Бакинском комитете нашей партии. Может быть, в связи с этим следует напомнить, что представитель этого «Гуммета» участвовал на 6-м съезде Коммунистической партии. Это был Юсуф-заде. Заканчивая свою речь на 6-м партийном съезде, он сказал: «...надеюсь, что партия окажет нам всякую поддержку в нашем трудном и ответственном деле».

После этого председательствующий на съезде Ногин заявил: «Я позволю себе, товарищи, от имени съезда приветствовать товарищей мусульман, входящих в нашу партию, и делегата, впервые появившегося на нашем съезде. Я работал в 1905—1906 годах в Баку и знаю, какую работу приходилось вести товарищам гумметистам и какие услуги оказали они партии...»

Я предлагаю съезду выразить пожелание, чтобы ЦК оказал и материальную и всякую другую поддержку «Гуммету».

Джапаридзе всецело присоединился к этому предложению Ногина, и оно единогласно было принято съездом.

Как известно, после временного падения Советской власти в Баку руководители и видные деятели коммунистической организации «Гуммет» выехали в Советскую Россию. Оставшиеся в Баку гумметисты-большевики работали в подполье. Когда Бакинская

организация РКП(б) стала развертывать свою деятельность, они принимали в ней самое активное участие. В это время из Тифлиса в Баку переехало руководство гумметистов-меньшевиков. Это были главным образом члены социалистической фракции бывшего закавказского сейма, а затем мусаватского парламента. Они начали свою деятельность в Баку так же, как и в Тифлисе, под названием РСДРП — «Гуммет».

После весенних бакинских событий 1919 года в руководстве «Гуммета» стало заметно усиливаться влияние большевиков и развернулась обостренная борьба между ними и правыми гумметистами.

Перед нами встал вопрос: как усилить политическую работу с азербайджанцами, используя для этого и организацию «Адалет» и особенно «Гуммет»? В связи с этим было решено провести совещание с руководителями гумметистов-большевиков и «Адалета».

На конференции не было специального доклада о политике и тактике нашей большевистской организации, хотя об этом много говорилось в речах делегатов. По этому вопросу у нас не было никаких разногласий, потому что в основном линия нашего поведения определилась еще на последней Рабочей конференции.

В этот период очень остро стоял вопрос о необходимости установления регулярных связей с Кавказским краевым комитетом партии, который находился в Тифлисе. Дело в том, что осенью 1918 года в связи с преследованием большевиков Грузии меньшевистским правительством большинство членов крайкома и сам крайком перебрались во Владикавказ (ныне Орджоникидзе), где тогда была Советская власть. В Тифлисе осталась группа членов крайкома, которая выполняла роль Центра для Закавказья. После разгрома Советской власти во Владикавказе руководящие работники крайкома нелегально перебрались обратно в Тифлис и постепенно стали налаживать работу в районах Грузии и Армении, но до Баку они не добрались.

В связи с этим конференция поручила Бакинскому комитету партии послать своих представителей в Тифлис для обсуждения с крайкомом всех текущих вопросов и в том числе о созыве в ближайшее время Общекавказской партийной конференции, но не в Тифлисе, а в Баку. Это мотивировалось тем, что политическая жизнь тогда бурлила именно в Баку; в Грузии же и в Армении было затишье. Серьезным аргументом в пользу проведения конференции в Баку было и то, что нашим руководящим партийным работникам в тогдашних условиях нельзя было одновременно покидать Баку. Бакинская конференция избрала тогда даже и делегатов на Общекавказскую партийную конференцию — Гогобзридзе, Ависа, Анашкина, Ольгу Корнееву, Лидака, Саркиса и меня. (Однако съезд этот не состоялся. Он был плохо подготовлен, и крайком отменил его проведение.)

Я не помню, чтобы Бакинская конференция принимала какие-либо специальные резолюции о политике и тактике наших организаций. Она одобрила политику, проводимую Бакинским комитетом партии, и поручила ему безотлагательно приступить к развертыванию массовой работы среди азербайджанских рабочих во всех районах, возлекая активных рабочих, влиятельных среди азербайджанцев, в составы фабрично-заводских и промысловых комитетов, в президиумы рабочих районных конференций, обратив главное внимание на работу организации «Гуммет».

На следующий же день мы устроили встречу с представителями «Гуммета» — членом Президиума Рабочей конференции Али Гейдар Караевым и Мирза Давуд Гусейновым. На эту встречу был приглашен и один из руководителей «Адалета» — Бахрам Агаев. От нас в этой встрече приняли участие Гогоберидзе, Саркис, Анашкин и я. Мы изложили свои взгляды на общее положение в Баку, сказали, что считаем необходимым сосредоточить внимание на работе среди азербайджанских рабочих участвует в революционной борьбе, а некоторые все еще находятся под прямым влиянием мусаватистов. Согласились и с тем, что «Гуммет» очень слабо работает среди этих рабочих. Мы обратили внимание товарищей на то, что нельзя дальше терпеть положение, когда в ряде районов гумметисты выступают против нашей линии. В этом с нами полностью согласился Агаев. Он рассказал о планах «Адалета» и заверил, что персидские рабочие будут поддерживать все наши мероприятия и пойдут вместе с русскими и армянскими рабочими. Он правильно поставил вопрос о том, чтобы на собраниях коммунистических ячеек могли бы присутствовать члены «Адалета», тем более что фактически это во многих местах уже происходило. Мы обещали дать по этому вопросу строгие указания нашим районным организациям.

Было видно по всему, что и Караев и Гусейнов правильно нас поняли. Но они говорили о трудностях, которые стояли перед ними. Сами они лично были целиком с нами и говорили, что мы на них можем положиться, как на настоящих большевиков. Они называли также Мирфатага Мусеви и Ашума Алиева, на которых тоже можно было вполне положиться. (Ряд членов руководства «Гуммета» придерживался взглядов правых социалистов.)

Тогда мы поставили вопрос о том, что пришла пора большевикам «Гуммета» отколоться от меньшевиков. «При нынешнем подъеме рабочего движения и значительном общем оживлении рабочих масс», говорили мы, — существование объединенного «Гуммета» идет на пользу только меньшевикам из «Гуммета» и вредит нам, коммунистам».

Караев в силу своего мягкого характера сразу не мог согласиться на раскол: для него это был очень крутой и резкий поворот. Но он обещал выяснить у своих товарищей по руководству «Гумметом» и их отношение к этому вопросу и предложил развернуть работу по привлечению на сторону коммунистов возможно большего их числа, чтобы развернуть подготовку к конференции «Гуммета» и избрать на ней в руководство этой организации как можно больше сторонников большевиков.

Гусейнов также считал раскол преждевременным и предлагал сперва как следует поработать над привлечением на свою сторону побольше активных работников «Гуммета», чтобы потом провести конференцию и попытаться получить большинство в правлении «Гуммета».

Мы согласились с ними. Тем более что нужно было известное время, чтобы массы сами на своем опыте убедились бы в соглашательской и предательской сущности гумметистов-меньшевиков, ловко заигрывающих с национальными чувствами отсталых масс трудящихся мусульман.

Мы были единодушны в том, что большевикам-гумметистам следует оставаться в парламенте для использования его трибуны в интересах защиты трудящихся и для разоблачения антинародной политики правительства.

(25 апреля 1919 года в Рабочем клубе состоялась

конференция «Гуммета», на которой развернулась острая борьба между меньшевиками и большевиками. В руководство организации, состоящее из 11 человек, вошло семь большевиков: Караев, Гусейнов, Мусеви, Алиев, Ага-заде и другие.

Через некоторое время перед Бакинской организацией РКП(б) практически встал вопрос о расколе «Гуммета» и о создании коммунистической организации «Гуммет». Вскоре это и было осуществлено.)

Через день-два после нашей встречи с представителями «Гуммета» и «Адалета» Гогоберидзе, Анашкин и я выехали в Тифлис для участия в заседании краевого комитета партии и выполнении решений, принятых Бакинским комитетом партии.

Предлагая созыв краевого Общекавказского партийного съезда и даже избирая на него своих делегатов, мы были уверены, что наше предложение о проведении этого съезда в Баку не встретит возражений в крайкоме. Дело в том, что еще в декабре 1918 года старый состав крайкома, который в то время находился во Владикавказе, обратился с призывом к парторганизациям Северного Кавказа прислать в январе 1919 года своих делегатов на созываемый во Владикавказе краевой съезд партии. В то время в Баку, да и в остальном Азербайджане, еще не были восстановлены партийные организации. Подверглись разгрому партийные организации Армении и Грузии: как я уже говорил, часть коммунистов сидела в тюрьмах, часть — пряталась, а очень многие уехали на Северный Кавказ, где участвовали в гражданской войне, в борьбе за Советскую власть. Поэтому на краевой съезд, который все же состоялся в январе 1919 года во Владикавказе, не было направлено ни одного делегата из Азербайджана, как, впрочем, и из Армении и Грузии. Учитывая, однако, особую сложность создавшегося тогда положения, съезд объявил себя правомочным. На этом съезде и был избран крайком партии.

Теперь, когда обстановка изменилась, созыв **полномочного** партийного съезда стал делом не только вполне реальным, но и безотлагательным. Назрело много неразрешенных принципиальных вопросов, связанных с дальнейшим развитием революционного рабочего движения; очень остро встала проблема сплочения и сосредоточения сил всех партийных организаций, выработки единой тактики с учетом общего состояния дел в Советской России. Мы нуждались в тесной повседневной связи с краевым комитетом партии, а ее не могло быть хотя бы потому, что в составе крайкома не было ни одного представителя Баку.

ВСТРЕЧИ С ДРУЗЬЯМИ

В Тифлисе я остановился в доме семьи Туманянов. Жена Лазаря Туманяна — Вергиния — была двоюродной сестрой моей матери. В свои ученические годы я прожил у них несколько лет.

Связавшись — по явкам — с товарищами из крайкома, мы договорились с ними провести обстоятельную беседу. На наше счастье, почти все члены крайкома были в ту пору в Тифлисе, кое-кто в Кутаисе, но и они приехали на встречу с нами.

Заседание крайкома было созвано по всем правилам конспирации. Мы все давно не виделись, поэтому встреча была радостной и теплой. По-братски обнялись, вспомнили общих друзей. Тифлиссские товарищи с большим интересом ждали от нас подроб-

ной информации о положении дел в Баку: слухов о наших делах у них было очень много и в основном хороших, но достоверными сведениями они почти не располагали.

Я подробно рассказал о всех наших событиях, рассказал о них так, как они проходили на самом деле, не преувеличивая успехов и не скрывая недостатков. Товарищи Гогоберидзе и Анашкин дополнили мое сообщение.

Наш рассказ вызвал большой интерес. Товарищи из крайкома искренне радовались тому, как быстро происходило фактическое возрождение Бакинской партийной организации, и особенно — резкому повышению ее руководящего влияния на рабочее движение в Баку.

В свою очередь, мы попросили членов крайкома рассказать нам, что происходит в Грузии и Армении, как работает краевой комитет, какими силами располагает здесь партия. Мы, что называется, «в лоб» спросили у них также: почему краевой комитет не проявляет необходимой активности в установлении связи с Баку, почему не помогает нам руководящими кадрами, которых здесь, в Тифлисе, много, а у нас в Баку так остро сейчас не хватает?

Из сообщений тифлисских товарищей, а также Орахелашвили о Кутаисе и Мравяна об Армении вырисовывалась довольно неприглядная картина. Многие коммунисты — в тюрьмах. Некоторые члены партии фактически не работают: опасаются репрессий. Но активная часть коммунистов продолжает нелегально работать, и подпольные организации существуют. Однако крайкому только недавно удалось восстановить регулярную связь с местными организациями. Теперь есть условия для более активного развертывания партийной работы в Грузии и Армении.

Затем, по нашему предложению, был обсужден вопрос о созыве Общекавказской партийной конференции. Товарищи из крайкома не были согласны созвать эту конференцию так скоро, как мы предлагали. Они стали говорить, что не готовы к ней, да и местные организации, работая в трудных условиях подполья, не могут так быстро провести выборы делегатов. Поэтому, обстоятельно все взвесив, мы договорились провести конференцию после майских праздников — 5 мая, причем все члены крайкома согласились с нашим предложением о проведении Общекавказской партийной конференции в Баку.

Выполняя поручение Бакинского комитета партии, мы поставили также вопрос о необходимости объединить действия рабочего класса всего Закавказья. В частности, мы предложили обсудить вопрос о возможности проведения Общекавказского съезда профсоюзов. Формально в Тифлисе существовал краевой Кавказский совет профессиональных союзов, однако о его работе в Азербайджане не было ничего известно. Правда, это нас не очень огорчало: совет состоял из меньшевиков, избран он был неизвестно когда и, конечно, никаким руководящим центром краевого профсоюзного движения не являлся. Мы рассказали товарищам, что можем обещать от Баку на предстоящем краевом профсоюзном съезде достаточно высокий процент коммунистов и их сторонников. Мы, конечно, представляли себе, насколько сложнее обстояло дело в профсоюзах Грузии и Армении. Но если хотя бы треть или четверть делегатов от профсоюзов этих двух республик будут составлять коммунисты и их сторонники, то есть реальная возможность обеспечить руководящую роль коммунистов как на самом съезде, так и в избранном им краевом совете профсоюзов.

После обсуждения крайком принял решение о необходимости созыва профсоюзного съезда. В связи

с тем, что наиболее широко и успешно рабочее и профессиональное движение развивалось в то время в Баку, было решено и съезд профсоюзов провести в Баку. Поэтому всю организационную работу по подготовке съезда крайком возложил на нас, бакинцев.

Так, по-деловому, были тогда в крайкоме решены многие вопросы, которые всех нас очень волновали.

Вспоминая, как проходило это обсуждение, мне хочется отметить прежде всего его высокий идейно-партийный уровень. Несмотря на наши довольно резкие критические высказывания в адрес крайкома, проведенные два заседания создали деловую и товарищескую атмосферу. Мы, в частности, были очень довольны тем, что члены крайкома так хорошо, по-партийному приняли нашу критику в свой адрес, старались откровенно объяснить нам как объективные, так и субъективные причины недостатков в работе крайкома. Это обсуждение обогатило нас хорошим знанием общекавказских дел. Более ясными стали перспективы нашего общего движения. В результате этой встречи у всех нас сложились хорошие личные товарищеские отношения.

...Хожу по улицам старого Тифлиса. Смотрю на дома, разглядываю витрины магазинов, всматриваюсь в лица проходящих людей.

Удивительное дело! Все вокруг как будто и не изменилось с тех пор, как я был здесь в последний раз. Ни одного нового дома не построено и не строится. Магазины такие же, какими были и раньше, разве чуть победнее. Жители по-прежнему заняты своими заботами.

Одно только непохоже на прежний Тифлис: по улицам, как и в Баку, беззаботно разгуливают группами и в одиночку английские солдаты и офицеры. Солдаты частенько сворачивают во дворы домов и тут же «с рук» продают населению какое-то барахлишко или продукты из довольно обильного своего пайка: консервы, шоколад, сгущенное молоко и т. п.

Появление на улицах английских солдат в непривычных здесь шотландских юбках обычно становится предметом шуток и издевок окружающих, особенно мальчишек. Однако англичане ведут себя довольно мирно и даже добродушно; население отвечает им тем же. В какой-то мере и эта «дворовая» купля-продажа и эти шотландские наряды стали здесь уже частью каждодневного быта.

По городу мы ходили тогда свободно. Приехав сюда легально, по своим настоящим паспортам, мы были относительно спокойны: постоянно мы тут не жили и не работали, поэтому никто не мог предъявить к нам никаких особых претензий (конечно, другое дело — посещение явок и подпольных квартир; тут мы твердо соблюдали конспирацию).

В этот приезд у меня было много встреч. Особенно приятны встречи с теми тифлисскими товарищами, с которыми я работал здесь еще в 1917 году.

Самым главным — если можно так выразиться — лицом в крайкоме был тогда Филипп Махарадзе, к которому я давно уже питал чувство глубокого уважения. Филипп был старым и образованным марксистом-литератором. Мне было известно, что он входил в марксистские кружки еще задолго до образования нашей партии. В Филиппе было какое-то особое обаяние. Среднего роста, неполный, с красивыми чертами лица, синими глазами и длинной бородой, он производил впечатление библейского пророка, какими их рисовали древние живописцы. Махарадзе был немногословен в беседах, хотя доклады у него получались длинными. Был вежлив в обращении

с людьми. Знакомство с ним доставляло огромное удовольствие.

В ту пору в крайкоме партии работал — и я часто встречался с ним — Дануш Шавердян, близкий мне человек, даже мой дальний родственник. Я знал его — по семейной линии — еще в ученические годы: тогда он очень помог мне в чтении марксистской литературы, оказав решающее влияние на формирование моих политических взглядов и вступление в ряды партии. Он пользовался в партийной организации особенно большим доверием как умелый и опытный конспиратор, хотя находился постоянно на легальном положении, работая в Тифлисе присяжным поверенным. Многие годы Дануш был казначеем и хранителем важнейших секретных архивов подпольного краевого Центра партии. Партийная организация старательно оберегала его от полицейских ищек: никакой легальной, заметной для полиции партийной работы ему не поручалось. Он и сам был предельно осторожен. Дануш пользовался общей любовью и уважением.

Очень приятной была для меня встреча с товарищем Мравяном, на плечах которого лежала тогда основная тяжесть работы по руководству коммунистическими организациями Армении. Я знал его раньше, чем встретился с Махарадзе. Осенью 1915 года, когда я, в свои 20 лет, только что вступил в большевистскую партию, Мравян был уже старым партийцем, революционером-профессионалом. Он много помогал мне в первых шагах моей партийной деятельности. Работал он тогда в легальной газете большевистского направления «Пайкар», в редакции которой я с ним много раз встречался. После победы Советской власти в Армении он стал народным комиссаром просвещения республики, был одним из видных деятелей Коммунистической партии Армении.

Запомнились мне и встречи с товарищем Ладом Думбадзе. Это был тоже старый коммунист-подпольщик, рабочий главных железнодорожных мастерских Тифлиса. Политически хорошо подготовленный, энергичный, бесстрашный, умеющий смело отстаивать свое мнение и тем вызывающий еще большее уважение к себе, он хорошо запомнился мне. Хотя основными заправилами в железнодорожных мастерских были меньшевистские лидеры, сумевшие тогда превратить эти мастерские с их многочисленным рабочим коллективом в свою опору, все же Думбадзе с небольшой группой коммунистов пользовался большим влиянием и авторитетом среди рабочих и не раз вставлял палки в колеса меньшевикам.

Очень тепло прошла у нас встреча с Амаяком Назаретяном, неутраченным руководящим партийным работником и марксистом-литератором. Впервые я с ним встретился в марте 1917 года на первом легальном собрании большевиков в Народном доме Зубалова. Тогда он был в числе трех участников, избранных в президиум собрания. Впоследствии Амаяк был одним из выдающихся деятелей закавказских партийных организаций, затем работал в Москве на ответственных партийных постах.

Я рад был также встрече и с Мамией Орахелашвили, с которым впервые познакомился в октябре 1917 года на заседании Кавказского краевого съезда партии, где он представлял Владикавказскую партийную организацию. Теперь Орахелашвили жил в Кутаисе на легальном положении, занимая должность военного врача в войсках меньшевистского правительства. Врач по образованию, он и в царской армии служил по этой специальности, ведя одновременно большую политическую работу среди солдат.

В состав краевого комитета партии входил в те

времена старый большевик Малакия Торошелидзе. Я хорошо знал его еще по 1917 году. Он считался хорошо подготовленным марксистом. Между прочим, на Кавказском краевом съезде партии он был докладчиком по национальному вопросу. Характер у Торошелидзе был спокойный, он никогда не горячился, был тверд в своих убеждениях, при спорах не обострял отношений, но и не уступал своих позиций. Вообще он производил впечатление серьезного партийного деятеля, хотя не был достаточно активен в политике. В то время он работал членом Центрального правления потребкооперации Грузии (Цекавшири). В составе этого правления он был единственным большевиком, остальные были меньшевиками. Они, конечно, знали, что Торошелидзе является членом крайкома нашей партии, однако его не арестовывали и с занимаемой должности не увольняли. При служебных командировках в провинциальные районы он выполнял отдельные поручения краевого комитета партии по связи с местными организациями.

Вспоминаю курьезное обстоятельство, связанное с Торошелидзе: его жена была меньшевичкой, и, больше того, как активный политический деятель она входила в состав Центрального комитета партии меньшевиков Грузии. Жили они вместе, в одной квартире. Когда я приехал в Тифлис и узнал об этом от моего нового знакомого Бесо Ломинадзе, я был необыкновенно удивлен. Смеясь от души, я спрашивал Ломинадзе: «Неужели они никогда так и не говорят между собой о политике? А если говорят, то как им удастся конспирировать свои партийные дела друг от друга?» Ломинадзе говорил мне, что некоторые члены крайкома в связи с этим высказывают даже сомнения в отношении самого Торошелидзе. И действительно, казалось весьма странным, если не сказать противоестественным, что член подпольного крайкома большевистской партии и активный член ЦК партии меньшевиков живут под одной крышей как муж и жена.

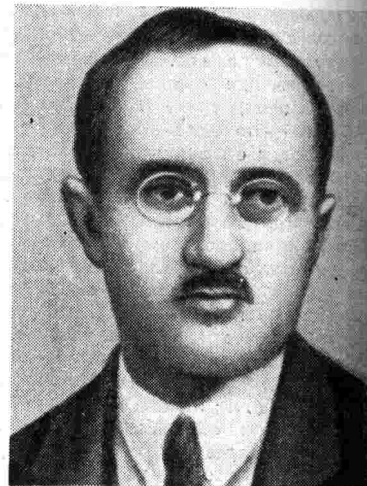
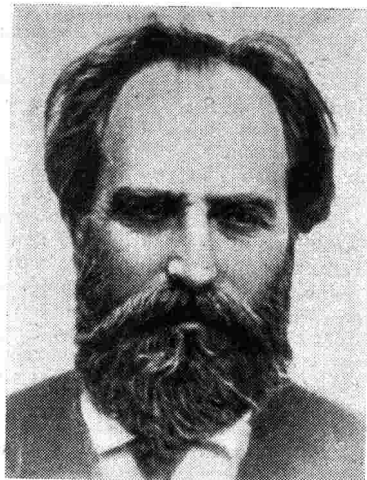
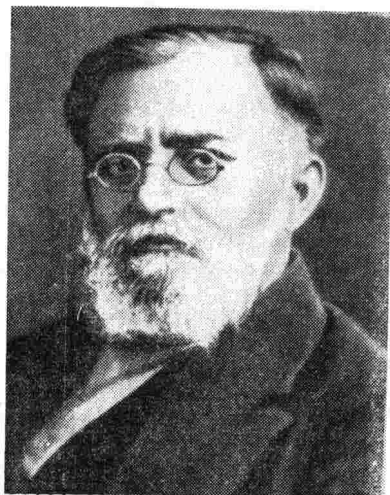
Однако Торошелидзе производил на меня хорошее впечатление как раньше, так и при этой встрече, и я не мог разделить этих сомнений: я доверял ему.

Товарищи, которые брали под сомнение политическую честность Торошелидзе, обычно говорили: «А почему других коммунистов арестовывают, а его нет?» Приводили в качестве примера случаи, когда в Тифлисе шли повальные аресты коммунистов, а Торошелидзе избегал ареста, за два дня до этого уехав в командировку по делам кооперации. «Ему, наверное, вовремя подсказала жена, вот он и уехал», — говорили при этом.

Однако все это были только предположения, вызванные «необычным» семейным положением Торошелидзе. Во всяком случае, ни тогда, ни несколько позже, когда в Грузии уже победила и утвердилась Советская власть, никаких документов, компрометирующих Торошелидзе, в захваченных архивах найдено не было.

После окончательной победы Советской власти в Грузии Торошелидзе продолжал с успехом работать, пользуясь доверием партии.

Когда в 1925 году я вместе с И. В. Сталиным провёл несколько дней в Грузии, где в то время секретарем крайкома партии был Серго Орджоникидзе, Сталин пригласил Торошелидзе, как своего старого, дореволюционного друга, сопровождать нас. Мы пробыли вместе несколько дней, ездили в Кутаис и оттуда в Рачинский уезд, я еще ближе узнал Торошелидзе как человека вполне достойного, заслуживающего доверия.



В ту пору, о которой я веду основной рассказ, в Кутаисской тюрьме сидел арестованный меньшевиками видный член крайкома партии, выдающийся деятель и ветеран партии Миха Цхакая. (После падения самодержавия он вернулся из эмиграции вместе с Лениным в запломбированном вагоне через Германию.) Там сидел также старый большевик Мдивани. Последнего я лично тогда еще не знал.

Говорили, что у Мдивани очень горячий, экспансивный характер: он мог легко вспылить, но довольно быстро отходил — в этом ему помогало чувство юмора, которым он щедро был наделен.

Как-то Ломинадзе очень смешно рассказывал мне об одном факте, связанном с пребыванием Мдивани в Кутаисской тюрьме.

Находясь в камере, он захотел — во что бы то ни стало, — чтобы его услышала тюремная администрация. А надо сказать, что Мдивани обладал громким и очень густым басом. И он начал, буквально как лев, рычать, произнося какие-то гневные слова по адресу меньшевистского правительства. Своего он добился, привлекая всеобщее внимание к камере, в которой сидел.

Звали его Буду. Вскоре почти все окружающие узнали фразу Мдивани, которую он любил повторять, сидя в тюрьме: «Я Буду не буду, если комиссаром не буду».

И действительно, вскоре после установления в Грузии Советской власти (в феврале 1921 года) Мдивани стал председателем Ревкома, а затем — Совета Народных Комиссаров Грузии.

Впервые я встретился с ним позже — в 1920 году, когда 11-я армия по просьбе Азербайджанского ревкома пришла в Азербайджан. Он прибыл вместе с армией как видный политический работник. Помню, что одет он был в военную форму — с маузером в деревянной кобуре и буденновским шлемом на голове: с этими «доспехами» он тогда не расставался. Надо сказать, что они ему, что называется, «шли» и он ими очень гордился. Тогда мы с ним близко познакомились, и он очень понравился мне, как человек откровенный, энергичный и остроумный.

С Бесо Ломинадзе я впервые встретился на заседании крайкома, где он представлял тогда Тифлисский комитет партии. Он был еще моложе меня, поэтому я его раньше не знал: в 1917 году на политической арене его еще не было.

Наше сообщение о кипучей политической жизни в Баку, о стремительном росте влияния коммунистов произвело на него огромное впечатление. После заседания он подошел ко мне, и мы долго бродили по улицам Тифлиса. Все время он расспрашивал меня об обстановке в Баку. Порой даже казалось, что он не совсем верит тому, что я ему рассказывал. Все время он восклицал: «Неужели это верно? Неужели это действительно так? Как вам это удалось? Вот поразительно! А посмотрите, что происходит у нас: в Тифлисе одно болото, никакого движения, никаких забастовок, никаких демонстраций, одни нелегальные кружки. Иногда по различным случаям выпускаем листовки, поддерживаем сидящих в тюрьме товарищей. Вот и вся работа!»

Конечно, Ломинадзе несколько преуменьшал все то, что происходило тогда в Тифлисе, но разница с Баку действительно была велика. С другой стороны, его привлекала общая атмосфера в Баку. Он спрашивал меня: «Возьмете ли вы меня на работу в Баку, если я об этом попрошу крайком?» — на что я ответил: «Конечно, и даже с удовольствием! Вы же сами слышали, как мы просили крайком командировать к нам в Баку несколько опытных, марксистски подготовленных партийных работников. Вы попроситесь, и, если крайком вас отпустит, мы будем вам рады».

Очень сердечной была у меня встреча с Георгием Стурua. Нас так много с ним связывало! Позади была совместная работа в Коммуне и бакинском подполье; была тюрьма; позади были многие испытания, которые обнажают все качества человека. Мы бесконечно друг другу доверяли и любили друг друга, как брат брата. Помню, что я даже выразил обиду, когда он после всех бакинских потрясений остался работать в Грузии, а не вернулся к нам. Он прекрасно знал Баку, а его хорошо знали и любили бакинские рабочие. Георгий тогда дал мне слово, что вернется в Баку.

СРЕДИ РОДНЫХ

Кроме встреч с руководящими партийными деятелями в Тифлисе, я виделся тогда со многими своими бывшими одноклассниками. В подавляющем большинстве они стали уже за это время коммунистами. Я был рад этим встречам. Помимо приятного дружеского общения, беседы с ними по-



На фотографиях — слева направо: Мика Цхакая, Филипп Махарадзе, Асканаз Мравян, Дануш Шавердян, Вергиния Туманян.

могли мне сразу же правильно ориентироваться в обстановке.

Надо ли говорить, как рада была моя тетя Вергиния Туманян, а также ее муж и дети, что я вернулся живой и здоровый! Меня окружили большой заботой, купили кое-что из одежды, старательно кормили, словом, сделали все, чтобы, несмотря на очень большую работу, которую мне приходилось тогда вести, три дня, проведенные в Тифлисе, стали в каком-то смысле днями отдыха.

Моя собственная семья жила в деревне Санаин, километрах в девяносто от Тифлиса. Очень хотелось поехать туда и повидаться с матерью, братьями и сестрами. Однако от такой поездки пришлось отказаться: для нее потребовалось бы дня два, а дела в Баку не терпели нашей задержки.

Не удалось повидать и мою невесту Ашхен. Ее не было в Тифлисе: она находилась недалеко от Сухума, в небольшой армянской деревне, где работала учительницей. Я отправил письмо, в котором просил ее после окончания учебного года вернуться в Тифлис и известить меня об этом, чтобы я смог приехать и повидаться с ней. «Это мне будет нетрудно, — сообщал я в письме, — так как по роду службы мне придется не менее раза в месяц приезжать в Тифлис по своим делам».

Вспоминая те давние времена, хочу несколько подробнее рассказать о семье Туманянов.

Моя тетя Вергиния Туманян хотя нигде и не училась, но умела писать и читать. В политическом же отношении она была человеком достаточно развитым. Конечно, она не все еще хорошо понимала и не разбиралась в тонкостях политики, но всей душой была за революцию и за большевиков.

Муж ее, Лазарь (по паспорту — Габриел) Туманян, был человеком более грамотным. Он работал приказчиком, мечтал стать хозяином лавки, берег каждую копейку и в конце концов приобрел небольшую лавочку, в которой работал без помощников и продавцов. Однако его «бизнес» продолжался недолго. Однажды в его лавке произошел пожар. Вместе с лавкой прогорели и все вложенные в нее средства. Лазарь Туманян снова стал приказчиком. Зарабатывал он недостаточно, чтобы надеяться вновь обзавестись лавкой, но вполне прилично. Жили они в собственном доме, расположенном, правда, в одном из самых заброшенных районов Тифлиса — в Сурпарпетском овраге. К этому дому ни с одной сто-

роны не было подъездных дорог, можно было только идти пешком по тропинке, которую проложил сам хозяин дома. Хотя эта тропинка обслуживала несколько домов, никто из соседей не принимал участия в его работах по «благоустройству».

Лазарь Туманян был трудолюбив, добропорядочен, честен; наверное, это и было главной причиной его неуспеха в «бизнесе». В отличие от жены революцией и социализмом он не интересовался. Зато от корки до корки ежедневно прочитывал армянскую консервативную газету «Мшак». Более того, он собирал все номера этой газеты и аккуратно переплетал все номера за год в одну книгу — у него уже было несколько таких переплетенных больших томов. Политически он был ограничен, верил только в то, что писалось в этой газетенке. Жена его, вообще волевая женщина, и в духовном отношении была намного сильнее его. В доме фактически господствовала тетя Вергиния. Муж любил ее и противоречить ей избегал.

Когда я на этот раз приехал в Тифлис, я рассказал тете Вергинии о всех злоключениях в моей жизни за последние полтора года, а также, насколько можно было ей знать, о том, как разворачиваются революционные события в Баку. Она радовалась тому, что во всех этих делах я играю активную роль, что меня «признают» и в Тифлисе, и, когда я ей сообщил, что здесь у нас происходят тайные заседания, она отнеслась к этому одобрительно.

Как-то Филипп Махарадзе рассказал мне, что меньшевики стали настойчиво за ним следить, а в последнее время просто охотились за ним, чтобы арестовать. Он непрерывно менял свои нелегальные квартиры, но все же опасался, как бы не попасть в меньшевистскую тюрьму. Я решил поговорить с Вергинией. Расположение их дома и далекие от политики соседи делали по тем условиям ее жилье идеальным для организации конспиративной квартиры. Я спросил тетю, согласится ли она приютить у себя на квартире одного видного грузинского коммуниста, очень хорошего товарища, которого преследуют меньшевики. Без всяких колебаний она согласилась. Осторожности ради я сказал ей: «Имей в виду — дело это опасное. Если он провалится, то и вам всем может здорово попасть». Она ответила, что ничего не боится и готова на все. Тогда я спросил: «А как посмотрит на это твой муж?» «Не беспокойся, — сказала она, — я с ним поговорю, можешь не сомневаться, он возражать не будет».

В следующую ночь я привез с собой Махарадзе, познакомил с семьей. Тетя показала комнату, которая была для него предназначена, и угостила вкусным ужином. Филипп остался доволен радушием, с которым его встретили.

Жил он здесь довольно долго. В город почти не выходил. Когда ему были нужны встречи с товарищами, они по одному или по двое заходили к нему сами. На заседания крайкома партии он выходил обычно поздно вечером, с соблюдением всех правил конспирации, и так же возвращался обратно.

Впоследствии в каждый свой приезд в Тифлис я останавливался на этой квартире и всегда подолгу беседовал с Махарадзе. Мы еще лучше узнали друг друга и еще больше сблизились.

Вспоминается один веселый случай, имевший место значительно позже. Касается этот случай и Махарадзе и Миши Цакая — нашего старейшего революционера, о котором я уже немного говорил.

Приехав в Москву на XI съезд партии, мы накануне встретились с Махарадзе в 3-м Доме Советов, где работала мандатная комиссия съезда. Все мы, как полагается, записывали свои анкеты и получали делегатские удостоверения.

Был среди нас и старик Миша Цакая. Чтобы не затруднять его заполнением анкеты, регистратор решил сам сделать это за него. «С какого года вы в партии?» — спросил он Мишу Цакая. «Пиши: давно», — ответил Миша. Регистратор запротестовал: «Так нельзя. Надо указать год». Миша посмотрел вокруг: «Вот тот комсомолец заполняет свою анкету. — При этом Миша показал на Махарадзе. — Посмотри, какой год он укажет, и напиши мне на десять лет раньше». Мы все, окружающие, разинули рты: нам было известно, что Махарадзе принимает участие в революционном движении с 1891 года. Как же давно вступил на революционный путь наш Миша Цакая!

До декабря 1919 года Филипп Махарадзе все еще продолжал благополучно проживать в семье Туманянов. Он вел кипучую революционную работу.

Впоследствии я узнал, что Филипп в годы подполья, как-то в конце ноября, пренебрег правилами конспирации, вышел в дневное время из дома. Его сразу же узнали на улице и арестовали. С его бордой (он не мог расстаться с нею даже в интересах конспирации!) не узнать Махарадзе было невозможно человеку, который хотя бы раз видел его раньше. Филипп поступил неосторожно, не только выйдя в дневное время на улицу, но и взяв с собой паспорт Лазаря Туманяна. Это привело к тому, что не только он сам оказался арестованным, но — по паспорту Туманяна — полиция раскрыла нелегальную квартиру крайкома, произвела в ней обыск, нашла и изъяла ряд важных партийных документов. Хозяин квартиры и его 17-летний сын-гимназист, исполнявший отдельные поручения Филиппа и мои, были арестованы.

Однако Вергиния Туманян и после этого продолжала заботиться о Филиппе. Через моего 13-летнего брата-школьника, ныне авиаконструктора, который в то время тоже жил у них, она посылала в тюрьму передачи для своего мужа и сына, а также и для Филиппа.

Возможно, представляет интерес документ, который недавно раскопал в архиве и привез мне один армянский товарищ. Оказывается, после ареста мужа и сына Туманянов Вергиния обратилась в армянское консульство в Тифлисе с просьбой вмешаться в это дело и добиться их освобождения.

Как видно из этого документа, Вергиния проявила в этом вопросе тонкую дипломатию, ни слова не

сказав о Махарадзе. Зная, что он сам ничего не скажет о проживании в их доме, она все найденные в ее доме большевистские документы отнесла на мой счет, так как в это время я был далеко, вне пределов досягаемости меньшевистского правительства.

Привожу этот документ:

«Советнику дипломатической миссии князю М. Туманяну»

Настоящим имею честь сообщить, что два дня тому назад ко мне пришла жительница села Дсег (Армения. — А. М.) г-жа Вергиния Туманян и заявила, что во главе с начальником особого отряда 1-го декабря в ее доме произведен обыск, который положительных результатов не дал. В том же часу обыскали комнату ее соседа и нашли различные листовки и книги большевистского направления. В этой комнате проживал 13-летний ученик Анушаван Микоян со своим братом Анастасом Микояном. Последний приехал из Баку на несколько дней. Особый отряд, не найдя Анастаса Микояна, кому принадлежала запрещенная литература, арестовал мужа г-жи Туманян — Габриэла Туманяна, которому 60 лет, и его сына — Гайка, 17 лет, ученика 7-го класса гимназии. Сообщая об этом, г-жа Туманян покорно просит Вашего содействия в освобождении своего мужа и сына. В настоящее время арестованные находятся в Метехской крепости.

Заведующий консульским отделом (подпись).

29 декабря 1919 г.»

Мой брат вспоминает подробности обыска в доме тети Вергуш: «В тот день я был болен, лежал на тахте около окна. Готовились к обеду. Вдруг услышали топот сапог по булыжникам во дворе — дом окружали...»

Тетя быстро засунула под мой тюфяк какие-то бумаги, другие — бросила на горящий примус, и в это время ворвались жандармы. Они бросились к примусу, схватили то, что не успело сгореть, и начали обыск.

Меня сбросили с тахты. В это время тетя закричала: «Не трогайте больного мальчика!» Но это не помогло: из-под тюфяка уже извлекали бумаги, а меня побили. Меня побили еще раз за то, что я не сказал, где мой брат Анастас.

В это же время в другой комнате били и допрашивали Лазаря и его сына Гайка. Потом их увезли в тюрьму.

Отыскивая тайник, стражники начали ломать перегородку комнаты. Они так и не нашли его, так как тайник был ловко замаскирован шкафом с посудой. (Шкафом служила ниша в стене. Это был запасной подземный выход в сад на случай необходимого побега конспираторов во время тайных заседаний.)

Передачи, которые я носил в тюрьму, тетя Вергуш ловко маскировала пловом: на дно глубокой посуды — опускалось письмо, а сверху накладывался плод. Стражник ковырял ложкой, проверяя, нет ли незволенных вложений, но то ли ложка была коротка, то ли посуда глубока — письма все же доходили до адресатов.

В той же камере сидел старый большевик Аветик Абовян — брат моей матери».

Вергиния Туманян была не только умным, передовым человеком, но и отличной матерью. Она родила семерых детей. Трое из них умерли в детстве от инфекционных болезней; три дочери и сын вступили в Коммунистическую партию. Гай Туманян по окончании Коммунистического университета имени Свердлова начал свою службу в Красной Армии. Окончил Военную академию. Был в Испании, когда там шла гражданская война. Всю Отечественную войну провел на фронтах в качестве члена Военного Совета танковой армии и на Дальнем Востоке — в боях за освобождение Маньчжурии от Квантунской армии.

Он продолжает и сейчас служить в Советской Армии в звании генерал-лейтенанта.

Когда я стал работать в Москве, Вергиния Туманян и ее муж вместе с ее двоюродной сестрой — моей матерью подолгу жили у меня. Муж Вергинии умер в возрасте 80 лет. Сама она и моя мать жили дружно, как родные сестры, и умерли в одну неделю, когда Вергинии было 85, а матери 93 года. Все трое похоронены рядом на Новодевичьем кладбище.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В БАКУ. СЪЕЗД ПРОФСОЮЗОВ

Мы вернулись в Баку и доложили комитету партии об итогах своей поездки. Прделанная нами работа получила одобрение. Теперь надо было выполнять решения, принятые нами совместно с крайкомом, и прежде всего решение о съезде профсоюзов. А кроме того, за время нашей поездки в Тифлис накопилось немало всяких дел.

Коммунистам, работающим в Бакинском совете профсоюзов, без особого труда удалось провести решение о созыве съезда профсоюзов Закавказья, Дагестана и Закаспия. От имени Бакинского совета профсоюзов было принято соответствующее обращение к профсоюзам Грузии, Армении, Дагестана и Закаспия и назначен срок созыва краевого съезда — 5 апреля.

Несмотря на то, что в Грузии и Армении были уже образованы независимые республики, национальные центры профсоюзов в этих республиках созданы еще не были. Как я уже говорил, в Тифлисе продолжал действовать Кавказский совет профсоюзов (избранный еще в конце 1917 года), но фактически у него не было ни особого желания, ни возможностей распространять свое влияние за пределы Грузии. Руководящим центром всех профсоюзов Азербайджана был Бакинский совет профсоюзов. Работавшие здесь меньшевики и эсеры (а они занимали довольно большое количество руководящих постов) согласились на созыв Общекавказского съезда. И на этот раз они преследовали лишь свои собственные цели; они полагали, что при поддержке профсоюзов Грузии и Армении (где их влияние было достаточно сильным) им удастся занять руководящее положение на самом съезде и в тех органах, которые съездом будут избраны.

Мы же приняли необходимые меры для победы нашей партии. Было решено направить все усилия на то, чтобы при выборах делегатов на съезд профсоюзов (прежде всего по Баку) было выдвинуто возможно больше коммунистов, близких к большевикам, гумметистов и адалетистов, большевистски настроенных рабочих, а также азербайджанских левых эсеров, которые тогда вели согласованную с нами политику. Вся эта работа была возложена — по линии Бакинского комитета партии — на товарищей Анашкина, Мирзояна и Полторацкого.

Грузинские меньшевики, которые руководили всеми делами в Кавказском совете профсоюзов, были захвачены врасплох инициативой Бакинского совета профсоюзов. Они не выступили против созыва Общекавказского съезда профсоюзов, но вступили с нами в спор по ряду вопросов, связанных с созывом этого съезда.

Во-первых, они высказались против участия Закаспия и Дагестана, за то, чтобы съезд носил чисто «закавказский» характер. Истинной подоплекой такой позиции было стремление избавиться от делегатов

профсоюзов Закаспия и Дагестана, про которых было известно, что они настроены пробольшевистски.

Во-вторых, меньшевики предлагали проводить съезд не в Баку, а в Тифлисе, — это, мол, центр Закавказья и именно здесь был создан первый съезд профсоюзов.

Большие споры развернули они вокруг вопроса о норме представительства, предлагая, чтобы профсоюзы с числом членов до 150 человек посылали на съезд одного делегата — наравне с профсоюзами, насчитывающими по несколько тысяч членов. Смысл этого был ясен. В Грузии преобладали мелкие профсоюзы, а в Баку, наоборот, крупные, насчитывающие многие тысячи членов. Это было не только несправедливо, но и имело целью умалить роль бакинского пролетариата на профсоюзном съезде.

Наконец, меньшевики потребовали, чтобы на съезде не обсуждались никакие политические вопросы. По их мысли, съезд должен иметь чисто профессиональный характер. Для нас это было неприемлемо.

Обсуждая, как же быть со всеми этими разногласиями, как не дать меньшевикам повода сорвать созыв Общекавказского съезда профсоюзов, мы решили пойти им на уступки и согласиться провести съезд в Тифлисе, но только в том случае, если они снимут все свои другие возражения. Но это не помогло. Насколько меньшевиками было предпрещено их отношение к Общекавказскому съезду, видно хотя бы из того, что они, уже получив обращение бакинских профсоюзов об Общекавказском съезде, назначили на то же самое время съезд профсоюзов Грузии!

Из Тифлиса прибыли только представители отдельных профсоюзов, где большевики и меньшевики-интернационалисты имели большинство в правлениях (союзы кожевников, фармацевтов, металлстов). В числе делегатов из Тифлиса были такие коммунисты, как Ломинадзе и Мжаванадзе, а также меньшевики-интернационалисты: Пирумов и бывший член Государственной думы Аршак Зурабов.

Съезд профсоюзов в Баку открылся 7 апреля, а 11 апреля в Тифлисе открылся съезд профсоюзов Грузии. Несмотря на это, между Баку и Тифлисом все еще продолжались переговоры о созыве Общекавказского съезда профсоюзов.

Собравшийся в Баку съезд решил направить в Тифлис для окончания переговоров своего делегата. Была выдвинута моя кандидатура. (Еще 20 марта на заседании совета профсоюзов я был приглашен для участия в работе комиссии по созыву съезда профсоюзов.)

В начале апреля Бакинским комитетом партии я был направлен в Тифлис для переговоров с крайкомом партии по некоторым важным для нас вопросам и, таким образом, во время работы съезда профсоюзов Грузии находился в Тифлисе.

13 апреля мне было предоставлено слово для выступления на этом съезде.

В сокращенном виде мое выступление так изложено в сохранившихся протокольных записях съезда:

«Слово предоставляется представителю бакинцев тов. Микояну, который призывает пролетариат Грузии выйти из узких рамок своего государства и найти пути для объединения всего рабочего класса.

Пролетариат Баку всеми способами стремится к такому объединению, и если он настаивал на созыве съезда в Баку, то только потому, что не считал возможным оставить в настоящий момент без руководителей бакинский рабочий класс.

Пролетариат и буржуазия Баку представляют собой два враждебных лагеря, находящихся в полной боевой готовности, зорко следящих друг за другом и готовых выступить в благоприятный момент. Отсутствие руководителей рабочего класса может вызвать выступление английского командования и решить по-

беду в пользу последнего. Отсутствие средств также служит большим препятствием для поездок в Тифлис. Несмотря на все эти соображения, бакинцы в интересах единения рабочего класса все же приехали бы в Тифлис, если бы не принципиальные разногласия по вопросу о порядке дня.

Пролетариат Баку полагает, что в настоящий момент не может быть речи о профессиональных вопросах — до разрешения вопросов политических, поэтому он не считает возможным отказаться от включения в порядок дня вопроса о политическом моменте.

Далее оратор говорит о необходимости идти вместе с пролетариатом Тифлиса и Баку, несмотря на принципиальные расхождения во взглядах наших партий, и утверждает, что бакинский рабочий класс, в частности коммунисты, не относится враждебно к независимости Грузии и считает, что, идя врозь, демократия должна вместе бить общих врагов рабочего класса.

Коммунисты Баку стоят на марксистской точке зрения и не собираются нести на штыках Советскую власть в Грузию, но призывают пролетариат Грузии отказаться от своей узко национальной политики и объединиться со всем рабочим классом.

Заканчивает оратор призывом к демократии Грузии — поддерживать пролетариат Баку в его неравной борьбе с врагами, ибо рабочий класс Грузии не должен оставаться простым зрителем, когда идет борьба его классовых братьев не на жизнь, а на смерть».

Поскольку меньшевиками все было уже predetermined заранее, это мое обращение от имени бакинского пролетариата ничего, конечно, изменить уже не могло.

Съезд профсоюзов в Баку продолжался до 15 апреля. На нем тоже развернулась острая политическая борьба между различными течениями в рабочем движении. Моим товарищам пришлось бороться не только против правых эсеров и меньшевиков — это было не ново. Новое внесли на съезде Зурабов и его сторонники — меньшевики-интернационалисты.

В отличие от правых эсеров и меньшевиков Зурабов занял некую промежуточную позицию, во многом приближающуюся к нашей линии. Он поставил перед собой задачу примирить все течения внутри рабочего класса и принять на съезде объединяющую всех резолюцию. Однако эта резолюция получилась политически очень неопределенной. Да иной она и не могла быть при этих условиях.

Большевистская фракция выступала на съезде сплоченно, вместе с гумметистами и адалетистами. Дружно вместе с нами выступали и азербайджанские левые эсеры, лидер которых Рухулла Ахундов в яркой речи сказал: «Теперь в красной Москве провозглашены лозунги коммунизма, Европа охвачена социальной революцией, — а до нас еще не докатилась эта волна. Социалисты всегда звали и зовут к единению весь пролетариат. Этот благовест единения вы должны неустанно проводить на местах.

Но какие бы ни выносились резолюции, они не имеют значения, пока мы не добьемся политической власти — диктатуры пролетариата.

Власть была, но она вырвана из наших рук. Чтобы это не повторилось, надо идти за истинными социалистами, а не за теми, кто звал англичан, а потом турок, общими силами разгромивших Советскую власть. Я призываю вас равняться на красную Москву!»

Нашим товарищам пришлось вести длительную и упорную борьбу на самом съезде, а также в различных комиссиях съезда. Дело в том, что даже некоторые колеблющиеся большевики поддались «слабозначительным» уговорам Зурабова, например, член союза печатников коммунист Хачиев. Для иллюстрации происходившей путаницы в головах таких коммунистов и некоторой характеристики тогдашних настроений на съезде приведу небольшую выдержку из газеты «Набат» — органа профсоюза печатников:

«С большим интересом и скрытой тревогой прислушивается бакинский (не только бакинский) пролетариат к тому, что происходит сейчас на съезде профессиональных союзов Закавказья и Закаспия. Несмотря на то, что докладчики всех трех течений пришли к одному и тому же выводу (если не считать некоторых несущественных и не относящихся к моменту деталей) — доклады вызвали страстные прения, и не по существу своему, а в силу взаимных обвинений за прошлые грехи, ошибки и обиды. И надо отдать справедливость, что застрельщиками этой ненужной и вредной полемики явились товарищи коммунисты, сегодняшнюю психологию которых можно охарактеризовать как упоение чувством победы.

А один из товарищей выдвинул даже такое приблизительно положение: «Знаем мы, мол, ваши меньшевистские, эсеровские уловки — сегодня вы идете к нам, а завтра — если победит контрреволюция — будете бить нас в компании с врагами пролетариата».

Заявление совершенно не продумано и объяснить его можно лишь горячим темпераментом товарищей коммунистов. Однако съезд — в своем большинстве — оказался свободным от «темперамента» и своим голосованием выразил волю к созданию единого революционного фронта. Несмотря на требования товарищей коммунистов взять за основу именно их резолюцию (правда — яркую, точную и определенную), съезд нашел нужным согласиться с предложением т. Зурабова: все три резолюции — ничем по существу друг от друга не отличающиеся — передать в редакционную комиссию для выработки единой резолюции. Все это мы говорим вовсе не для того, чтобы перед кем-то дискредитировать товарищей коммунистов или восхвалять мудрость т. Зурабова — это совершенно непроизводительное занятие. Мы бы желали только одного, чтобы товарищи коммунисты умерили свою горячность и оставили неподходящую для социалистов, взыскующих единого революционного фронта, «позу» неумолимых победителей».

Попытки редакционной комиссии добиться выработки резолюции, объединяющей все представленные на съезде течения, окончились, как и следовало ожидать, провалом. Тогда на голосование были поставлены три резолюции: коммунистов-большевиков, эсеров-меньшевиков и примиренцев (сторонников Зурабова). Мы сумели добиться того, что подавляющим большинством съезд принял резолюцию, предложенную коммунистами.

Призыв газеты «Набат» к единению всех партий в социалистический фронт и прекращению партийной розни был отвергнут. Мы были не против единства действий в конкретных делах политической борьбы с другими партиями и отдельными лицами, к ним принадлежавшими, когда они проявляли готовность бороться за дело революции. Но прекратить идеологическую борьбу с меньшевиками и эсерами, растворить коммунистическую идеологию в неопределенной социалистической фразеологии, затушевать пропасть, лежавшую между коммунистами, правыми эсерами и меньшевиками, перестать критиковать их прошлую предательскую деятельность, как и их соглашательскую политику с буржуазией в настоящее время, мы, естественно, не могли.

Бакинский комитет партии не мог оставаться равнодушным к ошибочной линии газеты профсоюза печатников «Набат» — газета эта выходила раз в неделю с 10 марта 1919 года как «орган независимой социалистической мысли».

Главным заправкой там был член правления союза печатников Аршак Хачиев, который еще до Октября был меньшевиком-интернационалистом («новожизненным»), затем перешел в нашу партию. Теперь у него вновь появились идейные колебания, и он повел за собой других коммунистов из правления союза (а их там было большинство) по линии «независимой социалистической мысли». Этот факт свидетельствовал, что Бакинский комитет еще не охватил должным влиянием всех коммунистов.

Линия поведения газеты стала особенно нетерпимой в апреле, во время проведения в Баку Общекавказского съезда профсоюзов. Газета выступила в

поддержку Зурабова, призывая к объединению всех социалистических партий — от правых меньшевиков и эсеров до коммунистов, «...беспоощадно пригвозждая к столбу всякую партийную рознь, разъяняя рабочим всю гибельность их разьединенности».

Это переполнило нашу чашу терпения. Мы вызвали в Бакинский комитет партии всех коммунистов — членов правления союза печатников и разъяснили им несовместимость линии, занятой их газетой, с партийностью. Мы убеждали их, а потом даже пригрозили, что если линия газеты не будет выправлена, то они поставят себя вне рядов партии.

Председателем союза тогда был рабочий-печатник Полторацкий. Вообще он был хорошим коммунистом, но в руководстве газетой проявил политическую близорукость. Будучи перегружен делами союза, он передоверился Хачиеву, а тот стал воротить всеми делами редакции. Нам удалось убедить товарищей, а Хачиев дал слово, что будет подчиняться партийной дисциплине.

В конце апреля, когда Ломинадзе приехал в Баку, мы направили его фактическим редактором этой газеты. С 1 мая газета «Набат» стала выходить как рабочая газета и орган профессионального союза работников печатного дела. Так появилась у нас своя партийная газета, что было огромной поддержкой в политической работе.

ВОПРОС О СОВЕТАХ

Вскоре после возвращения из Закаспия совершенно неожиданно я узнал одну новость. Оказывается, что стоящие тогда во главе Бакинской Рабочей конференции меньшевики еще в январе 1919 года подняли вопрос о том, чтобы бакинский пролетариат добивался создания демократически-выбранного городского органа самоуправления, который, по их замыслу, в дальнейшем, наряду с профсоюзами, заменил бы Рабочую конференцию.

Надо сказать, что вообще в меньшевистской схеме общественного строя (как они его себе представляли) для Рабочей конференции не было места. Они утверждали, что для решения всякого рода «городских» дел должно существовать городское самоуправление, избираемое населением на демократических началах; решение же чисто профессиональных дел должны взять на себя профсоюзы.

Но дело заключалось, конечно, не в абстрактных «схемах», а в их конкретном политическом содержании. Меньшевики всячески стремились поскорее избавиться от Рабочей конференции — новой формы организации бакинского пролетариата, стихийно порожденной революционными массами в условиях оккупационного режима, сильно окрепшей во время всеобщей политической забастовки и превратившейся в могучий руководящий орган рабочей общности Баку.

В противовес предложениям меньшевиков бакинские коммунисты выдвинули тогда лозунг создания Бакинского Совета рабочих и матросских депутатов. Они обратились к рабочим с призывом: «Требуйте немедленного созыва Совета рабочих и матросских депутатов, теснее сплавляйтесь вокруг единственной защитницы ваших интересов — Российской коммунистической партии (большевиков), которая одна только способна вывести бакинский пролетариат на правильный путь борьбы за власть Советов рабочих и матросских депутатов».

Товарищи рассказали мне, что предложение боль-

шевиков о создании Совета рабочих и матросских депутатов было принято 22 января 1919 года на заседании Бакинской Рабочей конференции под аплодисменты подавляющего большинства делегатов.

Узнав эту новость, я, конечно, был обрадован, но в то же время несколько озадачен. Возникли кое-какие опасения и сомнения, но в ту пору я ничего о них не сказал своим друзьям. Надо было самому кое-что обдумать, проверить правильность возникшей у меня точки зрения. А когда у меня сложилось вполне определенное мнение по этому вопросу, я рассказал о нем на одном из заседаний Бакинского комитета. К тому времени руководство Бакинской Рабочей конференции перешло в наши руки, и я воочию убедился, какая огромная сила таится в этой уже сложившейся и всеми признанной организации бакинского рабочего класса. «Зачем нам заменять сейчас эту организацию другой?» — задал я вопрос на заседании Бакинского комитета партии.

Какие плюсы и минусы таились тогда, с моей точки зрения, в замене Бакинской Рабочей конференции — Советом рабочих и матросских депутатов?

Мне казалось, что, если такой Совет будет создан, рабочие могут понять, что мы, получив в нем большинство голосов, сможем в самое ближайшее время захватить власть в свои руки. А между тем общая политическая обстановка в Баку и вокруг него на ближайшее время исключала такую возможность. Нельзя было забывать, что английский генералитет, ханы и беки из азербайджанского правительства неизбежно увидели бы в Совете реальную угрозу существующему строю и не замедлили бы разогнать его.

«Рабочая конференция, — говорил я своим товарищам, — уже реально существует и объединяет вокруг себя широкие массы бакинского пролетариата, являясь крепкой, представительной организацией рабочего класса Баку. Ее фактически уже признали, с ней считаются как английские оккупационные власти, так и местное правительство. Они вынуждены принимать наши письма, ноты, рассматривать и отвечать на них. Если же, — продолжал я развивать свою мысль, — настанет более подходящая общая политическая ситуация, позволяющая реально поставить вопрос о захвате власти, нам не составит большого труда в кратчайший срок реорганизовать Рабочую конференцию в Совет рабочих и матросских депутатов».

Не оспаривая по существу высказанных мною соображений, другие члены партийного комитета выразили недоумение: как же отказаться от решения, принятого Бакинской Рабочей конференцией по их же — коммунистов — предложению о создании Совета, как снять лозунг партии, выдвинутый по этому поводу?

Отвечая на этот вопрос, я сказал, что нет никакой надобности снимать этот лозунг и отказываться от решения Бакинской конференции. Не надо только форсировать события. Не надо настаивать на скорейшей реализации принятого решения. А при возникновении соответствующих вопросов разъяснять, что решение будет выполнено при надлежащих условиях, после необходимой подготовительной работы.

А пока наша главная задача, — говорил я, — состоит в том, чтобы укреплять Рабочую конференцию, в руководстве которой мы состоим, и укреплять рабочие конференции в районах. Я был уверен, что в процессе этой работы вопрос о немедленном создании Совета рабочих и матросских депутатов само собой не будет возникать.

Обсудив мои соображения, товарищи согласились с ними.

(Продолжение следует.)



Олег Спасский

КОМСОРГ СБОРНОЙ

Беседу с тремя известными мастерами нашего спорта: с многократным чемпионом мира борцом Александром Иваницким, рекордсменом страны по тройному прыжку Александром Золотаревым, олимпийским чемпионом хоккеистом, Анатолием Фирсовым. Еще восемь лет назад, когда в сборных командах страны избирались первые комсорги, Иваницкий стал комсомольским вожакom наших борцов. Фирсов и Золотарев — комсорги сборных команд хоккеистов и легкоатлетов.

— Каков круг забот комсорга сборной?

ИВАНИЦКИЙ. Мы, спортсмены, включенные в сборную страны, собираемся вместе не на год и даже не на месяцы, а от случая к случаю. Кончатся тренировочный сбор, опустится флаг чемпионата, и мы снова разведемся по домам — вернемся в свои техникумы или институты, воинские части, в свои спортивные коллективы...

Но два-три раза в году мы — единый коллектив. Во всяком случае, должны им быть. И вот задача комсорга сборной — помочь ребятам сдружиться, сблизиться, почувствовать себя командой. Не просто группой спортсменов, волей судьбы собравшихся вместе, а единой командой.

Но это не так просто. Дорогу в сборную открывает результат. А спортивный результат, как нетрудно понять, еще не дает представления о нравственном облике его автора, о широте его кругозора, интересах, пристрастиях. Сборная Советского Союза по вольной борьбе — это... Десяток, не меньше, национальностей. Колоссальный возрастной разброс: от восемнадцати до тридцати пяти лет. Кандидат наук — и школьник.

А времени комсоргу дано две недели...

ЗОЛОТАРЕВ. Все, что говорил Саша, имеет отношение и к команде легкоатлетов. Только у нас на сбор собираются не тридцать — сорок человек, а сто пятьдесят — двести. Вот почему можно утверждать, что далеко не все традиционные формы принятой в комсомоле политико-воспитательной и культурно-массовой работы приемлемы в наших условиях. Приходится искать что-то новое...

ФИРСОВ. В хоккее, как, впрочем, и в других командных видах спорта — в футболе, баскетболе, волейболе, — с каждым сезоном все большую роль иг-

рает психологический, волевой настрой спортсменов. Совсем не редки случаи, когда более сильная команда проигрывает слабой лишь потому, что аутсайдер смог в отличие от лидера мобилизовать на предстоящий матч все свои силы. Еще более важна волевая подготовка команды тогда, когда соперники достойны друг друга. И именно здесь комсомольская организация команды может задать тон...

Однако не во всех сборных командах комсомольская работа ведется на столь высоком, я бы сказал, по б е д н о м уровне, как, скажем, у хоккеистов.

Просматриваю свои старые записи. Двадцать девятое мая 1966 года. Матч сборной СССР и итальянского клуба «Ланеросси». Наши футболисты в тот вечер выиграли — 4 : 2.

После матча хочу побеседовать с комсоргом команды. Мне сказали, что комсорг футболистов — Г. Хусаинов. Подхожу к нему.

— Вы ошиблись, — говорит Галимзян, — комсорг у нас Валерий Воронин...

Обращаюсь к Валерию, но он утверждает, что комсорга в сборной... вообще нет.

Однако старший тренер команды Николай Петрович Морозов настаивает, что комсорг сборной все же Воронин.

На всякий случай атакую капитана команды Альберта Шестернева.

Альберт лаконичен:

— Комсорга у нас нет...

Прихожу к выводу, что в сборной СССР по футболу комсорга действительно нет, даже если кто-то и «исполняет» его обязанности.

Правда, спустя два месяца, когда наши футболисты отправились в Англию на чемпионат мира, сообщалось, что комсоргом избран Хусаинов.

Сейчас эта функция возложена на Пишеничникова. Я не берусь утверждать, что неудачи нашей футбольной сборной объясняются лишь тем, что комсомольская организация команды слабее, чем следовало бы. Однако вспомните: едва ли не все комментаторы и специалисты, анализирующие игру нашей национальной команды, отмечают, что некоторые футболисты проявили нежелание играть в сборной, не дорожили высокой честью, доверенной им, и так далее...

— Какова главная цель комсорга сборной: победа команды или нравственное, идейное воспитание своих товарищей?

ЗОЛОТАРЕВ. Проще всего ответить на этот вопрос было бы так: важно и то и другое. Но это, мне кажется, неверно.

Каждый мечтает о победе. Тем более, когда ему доверена честь выступать в майке, на которой наш государственный герб или буквы «СССР». Грош цена будет нашей команде, если в ней объединятся умные, интересные люди, неспособные, однако, состязаться с лучшими в мире бегунами, прыгунами или метателями.

И все-таки... Комсорга не зря сравнивают с комиссаром. И ему не может быть безразличен тот, кто вместе с ним борется за победу. Да, мы необычный, очень необычный комсомольский коллектив, но нравственное воспитание и для нас — главная цель.

В конце весны мы вывели из сборной талантливого спринтера Панкрата. Он готовился бежать в эстафете 4×100. Наверное, в мужском спринте — прежде всего в эстафете — мы можем рассчитывать на какой-то успех в Мехико. И все-таки мы распрощались с Федором Панкратовым. Нет, нет, все не так просто: мы старались ему помочь, и я долго беседовал с ним, и на комсомольском собрании мы говорили о нем, но... Находясь за рубежом, Панкратов забыл о достоинстве советского спортсмена.

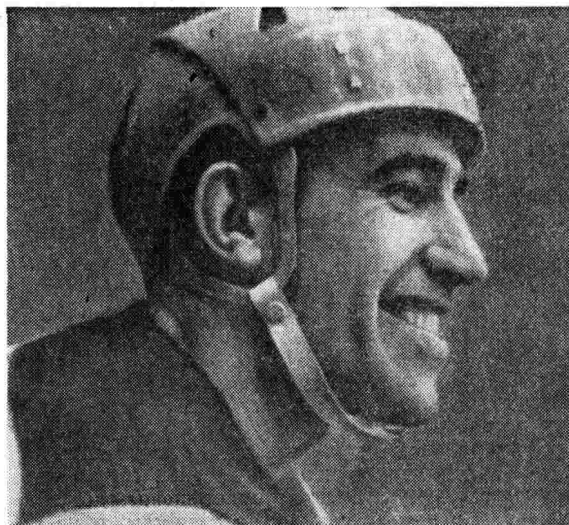
ФИРСОВ. Никому не нужна победа любой ценой. Хоккей сейчас необычайно популярен, и мы знаем, что мальчишки учатся у нас не только искусству тонкого паса или обводки «накоротке». И я думаю, что для воспитания этих мальчишек важно не только то, как Вениамин Александров забрасывал в Гренобле шайбы, но и то, что в матче со сборной Швеции, получив тяжелую травму плеча, он, демонстрируя высочайшее мужество, пытался играть на обезболивающих уколах.

ИВАНИЦКИЙ. Я согласен и с Александром и с Анатолием. Хотел бы лишь добавить, что наши выступления, наши победы имеют не только спортивное значение. Борцы-дзюдоисты побывали, например, в Португалии и в Испании, куда советские люди выезжают крайне редко и где все советское представлено в искаженном свете. Вот почему по нашим спортсменам там судили о всех советских людях.

Когда спортсмен становится чемпионом, знаменитостью, к нему проявляется повышенный интерес. И здесь на первом плане уже не только спортивное мастерство, но и человеческая значимость чемпиона.

— Одним словом, работа комсорга отнюдь не сводится к проведению комсомольского собрания перед решающим матчем...

ФИРСОВ. Конечно, нет. Хотя это собрание перед решающим матчем мне представляется очень важным. Все вроде известно и все-таки... Помню, в Вене, на чемпионате мира, Саша Альметов, обращаясь к моим партнерам Владимиру Викулову и Виктору Полупанову, сказал, что в сборной нет ветеранов и новичков (Витя и Володя дебютировали годом раньше, в Любляне), у всех одинаковая форма команды СССР, и потому спрос со всех равный. Что, Викулов и Полупанов не знали этого раньше? Но вот эти несколько слов на собрании, где отсутствовали тренеры, но были все товарищи по сборной, сыграли для них обоих громадную роль. На льду венского



На снимках: Анатолий Фирсов, Александр Иваницкий, Александр Золотарев.

Фото Ю. Моргулиса и Ю. Сомова.

Штадтхалле моими партнерами были не двадцатилетние «молодые», а мужественные и решительные бойцы.

ИВАНИЦКИЙ. Собрания у нас играют такую же роль, как и в других комсомольских коллективах, но, разумеется, вовсе не являются единственной формой воспитательной работы.

Несколько лет назад перед ответственными соревнованиями борцов «вольников» собрали на десятидневный сбор у моря. И вот однажды под вечер на пляже после тренировки начался любопытный разговор. Восемнадцатилетний борец, весь день настроенный крайне мрачно, вдруг сказал нам, что чувствует себя тунейцем: дескать, да, борьба — его главное увлечение, но вот сегодня, как и вчера, он весь день занимался только борьбой, а теперь у моря лежит, а другие люди в это время работают...

Кто-то сравнил борцов и вообще спортсменов высших разрядов с артистами: ведь мы своим мастерством доставляем людям такое же удовольствие, радость. Посещение стадионов и дворцов спорта стало таким же популярным, как и посещение, допустим, концертов, и потому нам, как и артистам, тоже требуется время и условия для репетиций (тренировок), а следовательно, сборы оправданны, и тогда, в том разговоре на пляже, мы как будто договорились, что спортсмены вовсе не тунейцы.

Нет, не только на собрании я помнил о своей миссии комсорга. Сидим вместе за столом, прилегли отдохнуть после утомительной тренировки, летим где-то за облаками, и сосед твой, дебютант, нервничает, — вот когда всего энергичнее должен работать спортивный комсорг...

ЗОЛОТАРЕВ. Соревнования скоротечны, а тренировочные сборы утомляют не столько физическими нагрузками, сколько своим однообразием. Тренировки, еда, сон — вот, пожалуй, и все. Семья далеко, товарищей, друзей по работе, институту в эти дни тоже не видишь. И потому за две эти недели интересы людей могут резко сузиться, приобрести сугубо профессиональный, ограниченный характер: темы всех разговоров замыкаются на секундах и метрах...

Стало быть, нужно заботиться о том, чтобы как-то разнообразить эти дни, занять спортсменов чем-то иным. Есть два пути, чтобы снять нервную нагрузку: стремиться либо просто «убить» время между тренировками, либо дать пищу для ума. Выбор, я думаю, очевиден. От тебя, комсорга, зависит, какие традиции складываются в коллективе. У нас, легкоатлетов, например, принято, что беседы о международном положении проводят обозреватели центральных газет, и ребята уже ждут этих бесед. У нас принято также, что те, кто не окончил еще института, привозят на сборы учебники, конспекты лекций. В команде легкоатлетов образовательный ценз довольно высок, и наши новобранцы тянутся за ветеранами...

Хотелось бы добавить, что сам Александр Золотарев в двадцать два года получил диплом инженера-конструктора и с тех пор работает ассистентом на кафедре сопротивления материалов Волгоградского политехнического института.

ИВАНИЦКИЙ. Саша говорил о стремлении легкоатлетов учиться, продуктивно использовать свободные часы тренировочных сборов. Наверное, такое стремление есть у спортсменов всех «специальностей». И в этом — сила традиции. Приведу лишь один пример: Али Алиев, пятикратный чемпион мира по вольной борьбе, не расстается на тренировочных сборах со своими медицинскими книгами. Скоро он станет кандидатом медицинских наук...

ФИРСОВ. Наши традиции более известны любителям спорта: о хоккееистах пишут много. Но вот о чем я хочу рассказать. В сборную мы приходим из различных клубов, еще накануне я мог встретиться в жесткой схватке со своими сегодняшними партнерами по сборной, и поэтому наши победы во многом обусловлены неписаным правилом: «В сборной нет динамовцев, спартаковцев, армейцев, в сборной все мы спортсмены одной команды».

Вскоре после беседы с тремя комсоргами я рассказал о ней заслуженному мастеру спорта Юрию Чеснокову, капитану той сборной СССР по волейболу, что завоевала золотые медали на Олимпийских играх в Токио.

Юрий также считает, что задача комсорга — сплочение коллектива, идейное, нравственное и волевое воспитание спортсменов. Чесноков рассказал, что своим олимпийским «золотом» в Токио команда во многом была обязана комсоргу Николаю Буробину: «Он поднял товарищей в трудную минуту. Когда мы проиграли японцам, Николай собрал нас шестерых, бывших на площадке, — тех, кто проиграл, — и попросил всех протянуть ему руки. Получилось впечатляющее рукопожатие, и Николай, не давая нам опустить руки, смотря по очереди в глаза каждому, медленно, растягивая слова, внушал, что еще не все потеряно».

— Должен ли комсоргом избираться сильнейший спортсмен?

ЗОЛОТАРЕВ. Наверное, не обязательно. Сила человека, избираемого комсоргом, его нравственная сила измеряется вовсе не его достижениями: метрами или секундами. Думаю, что самое важное для комсорга — чтобы за ним шли. Чтобы ему верили. Иначе нет морального права быть лидером команды.

ИВАНИЦКИЙ. Я, например, не был сильнейшим, когда восемь лет назад меня впервые избрали комсоргом. Важнее другое — чтобы товарищи в тебя верили.

ФИРСОВ. И я согласен с товарищами, что в данном случае быть сильнейшим — не главное требование. И потом — как можно, например, в легкой атлетике определить, кто сильнее: рекордсмен страны по тройному прыжку или рекордсмен страны в прыжках с шестом? Старайся отдать все силы товарищам, команде — только в этом случае ребята признают твоё право быть комсоргом...

Вот каким требованиям должен отвечать лидер команды (в нашем случае комсорг), по мнению спортивного психолога Б. Новикова: «Проблема взаимоотношений игроков в команде, бесспорно, одна из ключевых. Психология коллектива волнует многих тренеров... Известно, что любая группа людей, объединенных для совместной деятельности и решения одной задачи, должна иметь лидера, организующего группу и управляющего ею... Так, в бывшей олимпийской команде (футбольной) — О. С.) оказалось три лидера: Аничкин — в защите, Мунтян — в полузащите, Еськов — в нападении... Оказалось, что лидер является по двум признакам: по умению проявить себя в игре и по чисто человеческим качествам, проявляющимся в контакте с коллективом».

Каждый из лидеров был не только лучшим организующим игроком в своей линии, но, кроме того, и душой коллектива. Были в команде игроки не менее сильные, но в повседневной жизни коллектива они находились где-то на втором плане. Таким образом, в понятие «лидер» вкладываются обычно не только организаторские игровые способности, но и обяза-

тельно уровень развития социальных качеств, иными словами, психологической совместимости с большинством членов команды».

— Сказалось ли на вашей деятельности, как спортсмена, избрание вас комсоргом?

ЗОЛОТАРЕВ. Конечно! Комсорг — должность «неосвобожденная», он обычный спортсмен, и его распорядок дня на тренировочном сборе, на соревнованиях ничем не должен отличаться от образа жизни других спортсменов. И занятия на стадионе, и отдых, и сон обязательны для подготовки спортсмена, и потому, отрывая какое-то время на выполнение своих общественных обязанностей, комсорг делает это в ущерб своей подготовке. Я вспоминаю одно из наших бурных и слишком темпераментных комсомольских собраний, когда я так разволновался, изнервничался, что просто не смог поехать на тренировку...

ФИРСОВ. В принципе любой хоккеист думает во время игры не только о себе, но о всей команде и, в частности, о действиях своего звена. Тем более не имеет права забывать о товарищах комсорг. Уж если он не поможет другу, не сыграет на партнера, то это будет вдвойне непростительно.

В Вене и Гренобле Фирсова признавали лучшим нападающим чемпионата. А мог ли Анатолий заслужить это признание годом раньше, в Любляне? Наверное, мог. Но в 1966 году Анатолий всю свою игру построил так, что любители спорта видели на поле не столько «суперзвезду», сколько «бабку-наставника» молодых хоккеистов; напомню, что в этот год в национальной команде Советского Союза дебютировали Вилулов и Подпунанов, и потому комсорг сборной, забыв о себе, все силы отдал юным партнерам. Там, где он мог забросить шайбу сам, он отдавал ее Виктору или Володе: лишь бы поверили они в свои силы.

ИВАНИЦКИЙ. Резерва какого-то свободного времени у комсорга нет. И вся его общественная работа проводится в часы, отведенные распорядком сборов на тренировки или отдых. Нам приходится, пожалуй, труднее, чем нашим товарищам. Предположим, я приехал на Олимпийские игры и заметил, как волнуется мой менее опытный товарищ. Естественно, что, стараясь как-то отвлечь его от пагубных размышлений о возможном исходе предстоящего вечернего поединка на ковче, я провожу с ним вместе несколько часов, и мне как будто удастся отвлечь мысли парня от борьбы, но... ведь в это же самое время я «вдвойне» думал о предстоящих схватках.

Если человек много лет избирается комсоргом и работает честно, то не исключено, что затраты его нервной энергии столь велики, что его спортивная карьера сокращается на год-два.

Комсорг, повторяю, не обязательно сильнейший в команде, но выступать он должен, обязан с полной отдачей сил.

В этом году, весной, Центральный Комитет комсомола учредил почетный знак «Спортивная доблесть», которым награждаются лучшие спортсмены страны. В числе первых лауреатов этого знака и два участника нашего круглого стола, два спортивных комсорга: Александр Иваницкий и Анатолий Фирсов.

— Изменились ли ваши отношения с товарищами после того, как вас избрали комсоргом?

ФИРСОВ. Не заметил никаких изменений.

ЗОЛОТАРЕВ. В общем-то, какие-то основания для конфликта, наверное, могут быть. Староста

группы, назначенный деканатом, оставаясь по-прежнему вашим товарищем, становится в какой-то степени и представителем администрации. Сравнение, конечно, неточное: там назначают, а у нас выбирают, однако... У меня в этом отношении все благополучно: уж если продолжать сравнение со старостой, то я чувствую себя представителем команды перед ее руководством, но не наоборот. Да и ребята у нас умные, понимают, что если я о чем-то их прошу, то это нужно сделать. Никаких подозрений относительно того, что я «выслуживаюсь», разумеется, нет. Совершенно очевидно, что, если я плохо прыгну, то в сборную не попаду, даже если организую выпуск сотни прекрасных стенгазет и десятков встреч с интереснейшими людьми...

ИВАНИЦКИЙ. У нас перед Токио случилась такая история. Один из борцов вдруг начал жаловаться, что ест он вроде бы нормально, а вес неуклонно теряет. Мы забеспокоились, и вдруг выяснилось... В весовой категории этого борца выступал спортсмен значительно более сильный, и не было сомнений, что именно он поедет на Олимпийские игры. Наш «герой» это довольно быстро понял и стал умышленно сбрасывать вес, дабы перейти в другую, более легкую категорию. На тренировках он начал бороться с атлетами этого веса, и, поскольку те относились к нему не вполне серьезно и потому боролись не в полную силу, больше думая об отработке тех или иных технических приемов, этот борец побеждал своих новых соперников и тем самым зарабатывал «проходные» баллы в Токио. Он уже хотел объявить, что его вес позволяет ему выступать в новой весовой категории...

Возмущение всей команды было единодушным. Мы прогнали этого борца из сборной за его нечестность. Он должен был поступить иначе: открыто сказать товарищам, что будет бороться с ними за право быть в числе олимпийцев. То наше комсомольское собрание сплотило коллектив. Но, хотя борца осуждала вся команда, он впоследствии не здоровался только со мной: считал, что в его неприятностях повинен не он сам, а комсорг сборной. К счастью, такие случаи — редкость.

Спортсмены, выбирая своего вожак, вручают ему право быть равно требовательным ко всем членам коллектива...

От века, с первых шагов спорта, выбирают команды своего капитана — лидера и вожак. Но вот в последние годы появился во многих спортивных коллективах второй вожак. Особенно удачно работают комсорги в сборных командах страны. И этот опыт должен получить всеобщее распространение. Чтобы задачи, стоящие перед комсоргом команды, стали столь же привычны, как и традиционные функции капитана. Говоря о работе спортивных комсоргов, нельзя не сказать и о той большой помощи, которую оказывают им тренеры. Но это уже — другая тема.

Комсорги есть сейчас, пожалуй, во всех спортивных коллективах. Весной этого года, например, в Сочи проходил специальный семинар комсоргов футбольных команд класса «А», организованный ЦК ВЛКСМ и Федерацией футбола СССР.

Не только футболисты, но и волейболисты, боксеры, конькобежцы, фехтовальщики, пловцы, представители всех спортивных дисциплин выбирают своих комсоргов. Роль комсомола в физкультурном движении возрастает.

Комсорг становится значительной фигурой в сегодняшнем спорте,



ТЫСЯЧА И ОДНА ГАЛКА ГАЛКИНА

«Н»е может быть, — скажет скептик. — Где это вы нашли столько однофамильцев с одинаковым именем? Начнем считать. Во-первых, я — Галка Галкина, хозяйка «Пылесоса». Раз, осталась всего тысяча. Из них на сегодняшний день я могу предъявить 27 Галок с фотографиями и анкетными данными. Мало? Не будем такими придирчивыми, уважаемый товарищ скептик. Ведь в конце концов я посчитала себя за одну, а не за два миллиона Галок Галкиных соответственно тиражу нашего журнала. Так что цифра 1 001 явно занижена.

Ну, а теперь расскажем, как мы нашли остальных 27.

В феврале сотрудники отдела «Пылесос» А. Арканов, Г. Горин и В. Славкин выступали по телевидению и, не посоветовавшись со мной, объявили всесоюзный розыск всех девушек, имя которых Галина, а фамилия Галкина.

И вот я стала получать конверты из разных концов Советского Союза с фотографиями девушек внутри. И все Галки, и все Галкины...

Когда их набралось порядочно, я захотела познакомиться с ними поближе и отослала свою шуточную анкету каждой «Г. Г.» (будем так именовать Галок Галкиных, ведь называют же Брижит Бардо — «Б. Б.», а Клаудиа Кардинале — «К. К.», так чем мы хуже?).

Вот она, эта анкета:

1. Не спрашивала ли ты у родителей, почему тебя назвали Г. Г.?
 2. Если ты не замужем, будешь ли менять фамилию после свадьбы?
 3. Как ты представляешь свою жизнь, когда будешь вдвое старше?
 4. Если бы мы собрали всех Г. Г., какой бы вопрос ты предложила включить в повестку дня такого представительного собрания?
 5. Путали тебя со мной, с Г. Г. из «Юности»?
 6. Какие недостатки твоих сверстников ты бы критиковала в «Пылесосе», если бы стала его хозяйкой?
 7. Что делает Г. Г., когда ей нечего делать?
 8. Какого вопроса, по-твоему, не хватает в этой анкете?
 9. Сама же и ответь на него.
- Итак, сегодня на страницах «Юности» — парад Галок Галкиных!



Г. Г. из с. Халепье —
ученица



Г. Г. из Норильска —
ученица



Г. Г. из Ленинграда —
секретарь суда



Г. Г. из Риги —
парикмахер

Г. Г. из села Халепье (УССР), 17 лет, ученица 10-го класса

1. Мой отец мечтал, чтобы его дочь, когда выйдет замуж, сохранила в своем имени хотя бы половинку своей девичьей фамилии, напоминающую ей далекое детство и родителей. И я очень благодарна маме и папе, что я у них родилась, ведь до этого у нас в семье уже было трое детей.

2. Я очень люблю мое имя и фамилию, они мне кажутся бодрыми, очень молодыми и вполне соответствуют моему характеру. Часто меня зовут Галкой в квадрате. Я думаю, что менять фамилию все же не буду. Но если мой муж обидится, я возьму тогда двойную: его и свою.

3. Тогда мне будет 32 года и 7 месяцев. У меня будет муж, сын по имени Игорь (в честь академика Игоря Курчатова) и еще дочь Галка.

5. Да, меня путали, и не раз, потому что у нас с Галкой из «Юности» много сходств в характере.

6. Я в нашем 10 «Б» староста и думаю, что надо в сатирическом «Пылесосе» пропесочить равнодушное отношение моих сверстников к общественной работе.

7. Когда нечего делать, обязательно иду на днепровские кручи и наблюдаю стрелы кранов Трипольской ГРЭС, которая строится в 3 км от моего села, или распутываю в небе белые перекрестные дороги, которые оставляют после себя самолеты.

8. В твоей анкете не хватает вопроса:

«Какой девиз ты выбрала попутчиком в своей жизни?»

9. «Не бояться буре!»

Г. Г. из Норильска, 17 лет, ученица 10-го класса

1. Моим родителям очень уж понравилось такое сочетание — Галка Галкина.

2. Ну, что ты? Никогда не сменю. Такую фамилию!.. Нет, уж лучше пусть мой избранник к своей фамилии мою присоединит. Например: Иванов-Галкин или Галкин-Иванов, как ему понравится. Пусть гордится, а?! Терешкова, например, гордая женщина, не сменила...

3. Вдвое старше? О, это так далеко!..

4. Включила бы такой вопрос: «Если у тебя такое оригинальное, пусть немного необычное имя и фамилия, что ты сделала, чтобы быть в жизни хоть чуть-чуть оригинальнее и непохожее на других?»

5. Когда знакомлюсь, часто спрашивают: «Ты та Галкина, которая в «Юности»?»

6. У моих сверстников, как у всех семнадцатилетних, куча всяких недостатков, о которых им нужно напоминать: зазнайство и себялюбие, недоверчивость, неумение дружить и пассивность...

7. Нечего делать? Это бывает так редко...

Г. Г. из Ленинграда, 22 года, секретарь районного суда

2. Нет. Мой муж будет только Галкиным.
6. Самым страшным недостатком моих сверстников считаю недостаток юмора.
8. В анкете пропущен вопрос: «Кто получит первую премию на конкурсе Г. Г.?»
9. Ответ: конечно, не я.

Г. Г. из Феодосии, 15 лет, ученица

2. Я не замужем, но сменю фамилию Галкина, если муж будет Сорокин или Воронин.
3. Что изменится, когда буду вдвое старше? Просто тогда меня будут называть не Галка, а Галина Алексеевна. Может быть, стану летчицей, так как все птицы летают, в том числе и галки.
4. В повестку дня съезда Г. Г. надо включить вопрос «Повседневно растить и укреплять ряды всесоюзного общества Г. Г.».
5. Не путали. Но благодаря моей тезке из «Юности» я стала популярнее среди своих знакомых.
6. Надо в «Пылесосе» пропесочить мальчишек, потому что они загордились после выхода в свет песни насчет того, что «на десять девчонок по статистике девять ребят».
7. Считает галок на заборе.
8. Хочу предложить вопрос в анкету «В каком городе Вы предполагаете собирать всех Г. Г.?».
9. И сама же отвечу: «В Москве».

Г. Г. из Братска, 22 года, учительница

2. Я уже замужем. Раньше у меня была другая фамилия...
3. Вместе с моими будущими детьми буду ходить в походы, на каток... Мне кажется, что в моей жизни ничего не изменится, просто я буду вдвое старше.
5. Нет, меня не путают ни с кем.

Г. Г. из Казани, 16 лет, ученица 9-го класса

1. Мама говорила, что когда я родилась, то была черненькая, поэтому и назвала меня Галкой. Только потом спохватились, что получилось Галка Галкина.
2. Фамилию менять не буду. В крайнем случае постараюсь найти мужа с фамилией Галкин.
4. В повестку дня включила бы вопрос об увеличении рядов Г. Г.
6. Знаешь, Галка, ты уже столько пропесочила недостатков, что мне кажется, больше у нас их просто нету.

Г. Г. из Таганрога, 20 лет, студентка пединститута

5. Когда меня спрашивают: «Не ты ли та Галка Галкина, что выступает в «Юности»?», я отвечаю: «Да, это я». А сама улыбаюсь. Тут, конечно, или понимают мою шутку, или с уважением отходят. А один студент даже рукопись принес. «Прочитай, — говорит, — и проверь ошибки».

Г. Г. из Горького, 20 лет, учащаяся профессионально-технического училища

2. Фамилию сменю только тогда, когда она будет более знаменитой. Или уж очень будет настаивать муж.
3. В возрасте вдвое старше жизнь я представляю не очень ясно. Но кажется, что смеяться буду не так громко и не по всякому поводу.
4. Если бы вы собрали всех Галок вместе, я бы спросила: «Для чего?»
7. Когда мне нечего делать, я думаю: «Чем бы заняться?»

В письме, которое я получила с Украины, полтавская Г. Г. пишет:

«И меня известите, сколько нас всего будет».

Вот беда! Точную цифру сообщить не можем. Письма продолжают идти. Оказывается, в Риге есть парикмахер Г. Г., в Куйбышеве Г. Г. учится в кулинарном училище, а Г. Г. из Тбилиси только перешла в четвертый класс, Г. Г. из Новомосковска спрашивает: «А почему Вы интересуетесь именно Галками Галкиными?», а Г. Г. из Архангельска: «В 1966 году я взяла фамилию мужа. Имею ли я право писать Вам?» Интересное известие я получила из села Назарьево, Московской области: «Возможно, Вы думаете, что Г. Г. немного, но в нашей семье их целых три».

И, как всегда в таких случаях, ко мне поступило письмо от солдат.

«У нас в подразделении служит девушка Галка Галкина. О ней можно сказать, что она хорошо несет службу, оберегая мирный труд советских людей, хороший, отзывчивый товарищ, состоит в комсомольском бюро подразделения.

Пожалуйста, не обижайтесь на нее, что не сама она пишет это письмо, просто Галка стесняется написать Вам».

Я думаю, если учесть, что многие Г. Г. не собираются менять свою фамилию после свадьбы и намерены назвать своих дочек Галками, то со временем нас станет очень много, может быть, больше тысячи, и тогда уж мы обязательно соберемся где-нибудь, чтобы поговорить о своих «галкогалкинских» проблемах.

А пока, дорогие тезки, давайте продолжим наше заочное знакомство на страницах «Юности». Пишите нам письма, присылайте свои темы для фельетонов, рассказов, рисунков. Всех вас я приглашаю к себе в соавторы. Лучшие ваши произведения мы будем публиковать в «Пылесосе», как наши общие произведения. Я думаю, это никого не обидит. Ведь подпись все равно будет «Галка Галкина».



Г. Г. из Братска —
учительница



Г. Г. из Казани —
ученица



Г. Г. из Таганрога —
студентка



Г. Г. военнотружашая



Г. Г. из Москвы
(5 лет)

ФУТБОЛ И СТЕПЕНЬ

Рисунок И. Оффенгендена.

Таких радостных дней в жизни бывает немного.

Ученый совет единогласно присудил мне сегодня степень кандидата технических наук. Неожиданно я почувствовал себя одуревшим от радости мальчишкой, и для полного счастья мне необходимо было прямо сейчас, после Ученого совета, выбежать на футбольное поле, сделать быстрый рывок и сильно ударить по тугому мячу.

В детские и студенческие годы я страстно увлекался футболом, имел первый спортивный разряд, но потом работа в научно-исследовательском институте и заочная аспирантура... В общем, прощай, спорт!..

Но сегодня для меня не существовало ничего невозможного, и я смело направился к стадиону машиностроительного завода, на котором до института работал токарем пятого разряда.

— Вам чего? — спросил меня тренер.

— Мне бы поиграть в футбол, — ответил я.

— Вам? — еще раз переспросил тренер, взглянув на мои мокасины.

— Мне!



— С чего это вдруг?

— Понимаете, у меня сегодня большая радость, событие...

— С каких пор радостные события отмечают на стадионе?.. А вы по мячу-то попадете?

— Попаду! — твердо сказал я.

— Пожалуйста, бейте, — усмехнулся тренер, и на его лице появилась улыбка, какая обычно бывает у зрителя перед выступлением Олега Попова.

Хотя я и волновался, но уверенно катнул мяч вперед и, чуть разбежавшись, коронным ударом направил его в правый верхний угол ворот. Вратарь даже не шелохнулся.

— Кто вы такой? — не скрывая удивления, спросил тренер.

— Кандидат технических наук!

В ответ раздался дружный хохот собравшихся вокруг нас футболистов.

— Ничего смешного. Я четыре года диссертацию писал.

— Зачем, — пожал плечами тренер, — когда у вас так хорошо поставлен удар?!

— Наверно, для общего развития... — заметил кто-то из футболистов.

— Ну, с этим делом у нас полный порядок, — сказал другой.

На прошлой неделе в цирке были, вчера Пьеху слушали, а послезавтра экскурсия на родной завод.

— У нас многие учатся,— продолжил тренер.— Недавно лучшего нападающего Филю в институт проводили. Правда, у него другого выхода не было. Ему неудачно мениск оперировали.

...Наконец мне выдали форму, и я занял место центра нападения.

— Bravo, кандидат! — кричал тренер, бегая вокруг поля.—

С такими финтами академиком станешь!

— Сколько тебе лет? — спросил он после тренировки.

— Двадцать восемь.

— Под тридцать... Многовато... Но, пожалуй, года два еще протянешь. А может, и три, если не очень закладывать будешь.

— Очень не буду.

— Тогда берем на место Филю. Условия общие. Весной сборы...

— Но весной у меня симпозиум в Лозанне!

— Не волнуйся, — положил мне руку на плечо тренер, — отпустят. На сборы всех отпускают. За нас директор завода лично болеет. На все пойдет. Из кожи вон вылезет, а кубок области нам вернет. А тебя мы на свой завод оформим. Для начала токарем пятого разряда. А дальше все от тебя зависит.— И он добавил:— Будешь хорошо играть, инженером оформим или даже этим... как там у вас... кандидатом технических наук!

А. Трушкин

ПИШИТЕ НАМ, ПИШИТЕ ПО РАЗНЫМ АДРЕСАМ!



Рисунки М. Марьямова.

СТОЧКИ зрения студентов, целина—это романтика, бездонного неба, тяжелого труда, это земля бородатых друзей, планета подруг с облупившимися носами.

С точки зрения родителей, целина — это пустыня Сахара и Северный полюс одновременно, это символ опасностей, травм, это обитель злых духов.

Если издать сборник родительских писем, получится краткая медицинская энциклопедия и «Книга о вкусной и здоровой пище» одновременно.

Если издать ответы на эти письма, получится вот что...

ПИСЬМО. ...огня у меня мысль в голове гвоздем сидит день-ночь, день-ночь, скорей бы ты приезжала. Сунулась еще в каменички. Уходи с этой работы. Прошу тебя!

ОТВЕТ. ...Милая мамочка, работу обязательно брошу, я с нее только полнею. Перед отрядом неудобно, щеки, как помидоры. Извини, что мало написала, опять зовут на обед.

ПИСЬМО. ...Коленька! Главное, аккуратно переходи дорогу.

ОТВЕТ. ...Дед, здесь сплошные подземные переходы. Я в них путаюсь, но зато нахожусь в полной безопасности.

ПИСЬМО. ...Оленька, я знаю, там у вас много солнечных ударов. Не выходи на работу без зонтика. Береги себя, ты еще такая молодая.

ОТВЕТ. ...Бабушка, мы работаем так: десять минут на солнце, десять минут в тени. Десять на солнце, десять в тени — получается ровный, красивый загар, и никаких ударов.

ПИСЬМО. ...вот ты пишешь, что у вас все как дома. А сколько раз я тебе говорила: не смотри телевизор лежа, не ешь много сладкого, кури только на балконе. Наверное, не выполняешь? Ах, Алешка, Алешка!..

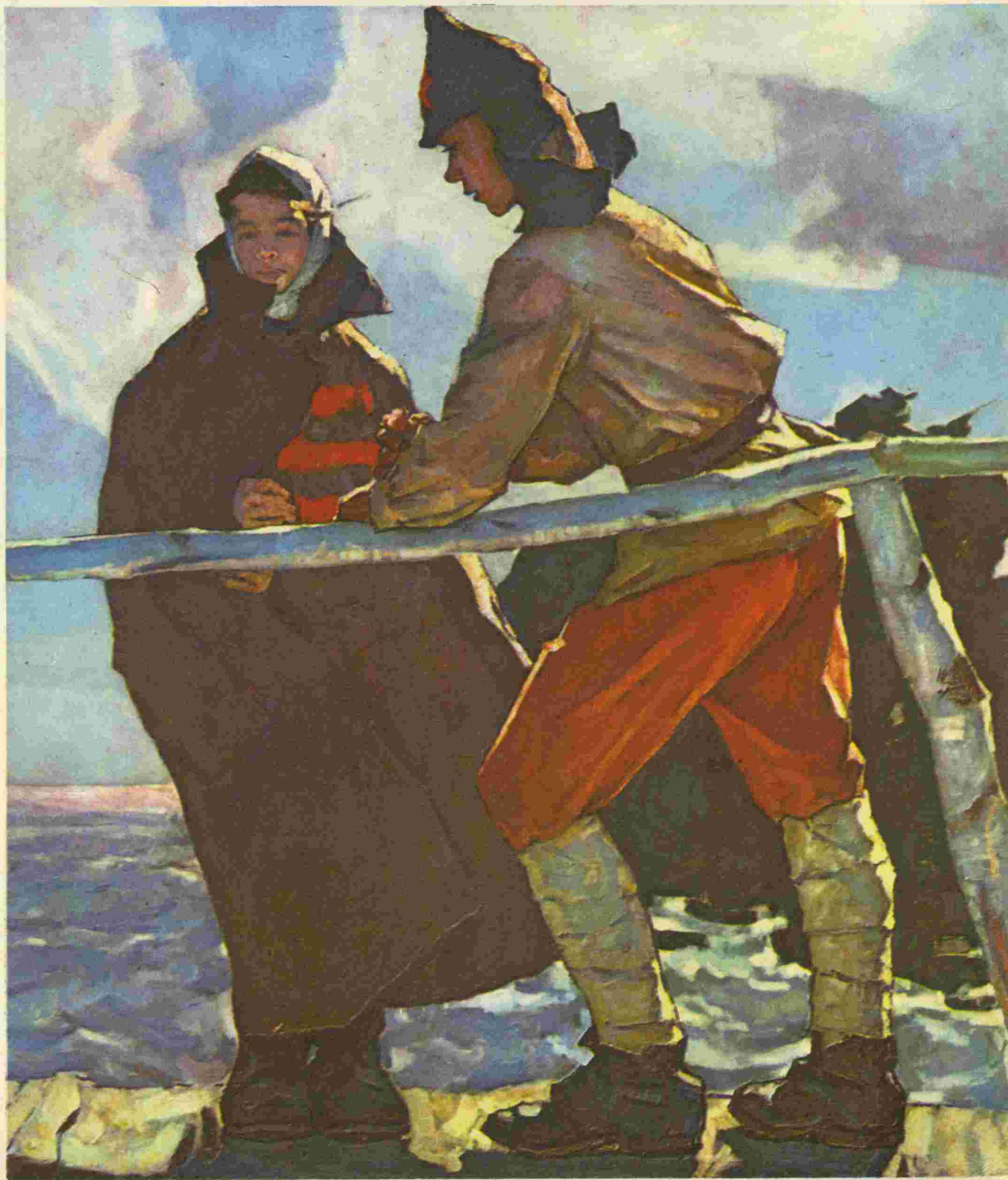
ОТВЕТ. ...мама, все сложилось как нельзя лучше: телевизор стоит на балконе, а сладкое дают только тем, кто не курит.

ПИСЬМО. ...будь осторожен в выборе грузей. Дружи с командиром, комиссаром и кто там у вас еще есть, я не знаю.

ОТВЕТ. ...еще есть начальник штаба, Нас так и зовут «Неразлучная четверка».

ПИСЬМО. ...Мишенька, поздравляю тебя с двадцатичетырехлетием! Как-то ты там живешь? Измучилась я без тебя. Лягу спать, а ты мне маленьким снишься. Ручонки раскинул и смешно, смешно ножками перебираешь.

ОТВЕТ. ...Мама, спи спокойно, я за день так урабатываюсь, что не только смешно-смешно, а, дай бог, еле-еле ножками перебираю.



В. ПУТЕЙКО.

Красная гвоздика.



Цена 40 коп.

Главный редактор Б. Н. ПОЛЕВОЙ.

Первый заместитель главного редактора
С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.

Редакционная коллегия: В. П. АКСЕНОВ, Э. Б. ВИШНЯКОВ,
В. И. ВОРОНОВ (зам. главного редактора), В. Н. ГОРЯЕВ,
Е. А. ЕВТУШЕНКО, Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ (отв. секретарь),
Г. А. МЕДЫНСКИЙ, М. П. ПРИЛЕЖАЕВА, В. С. РОЗОВ.

Индекс
71120